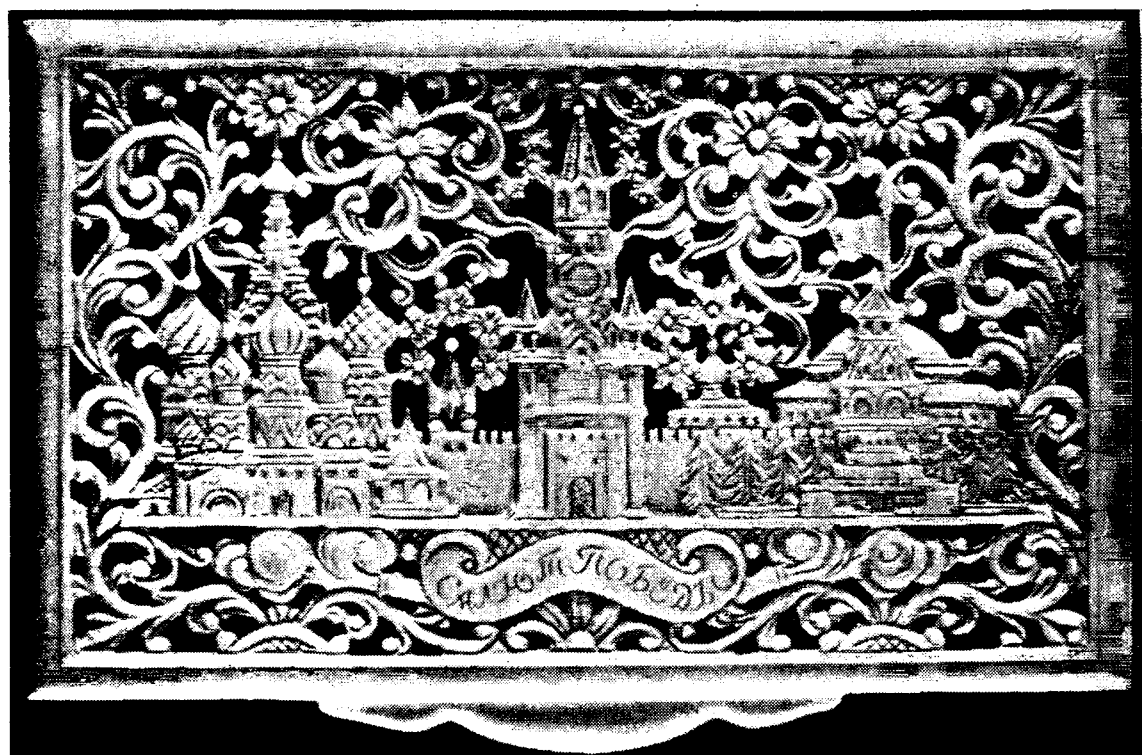


СОВЕТСКАЯ ЭТНОГРАФИЯ



4

1975

ИНСТИТУТ ЭТНОГРАФИИ ИМ. Н. Н. МИКЛУХО-МАКЛАЯ

СОВЕТСКАЯ ЭТНОГРАФИЯ

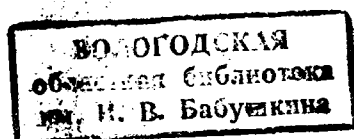
ЖУРНАЛ ОСНОВАН В 1926 ГОДУ

ВЫХОДИТ 6 РАЗ В ГОД

4

Июль — Август

1975



ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУКА»

Москва



Редакционная коллегия:

Ю. П. Петрова-Аверкиева (главный редактор), **В. П. Алексеев**, **С. А. Арутюнов**,
Н. А. Баскаков, **С. И. Брук**, **Л. М. Дробижева**, **Г. Е. Марков**, **Л. Ф. Моногарова**,
А. П. Окладников, **Д. А. Ольдерогге**, **А. И. Першиц**, **Н. С. Полищук**
(зам. главн. редактора), **Ю. И. Семенов**, **В. К. Соколова**, **С. А. Токарев**,
Д. Д. Тумаркин (зам. главн. редактора), **К. В. Чистов**

Ответственный секретарь редакции *Н. С. Соболев*

Адрес редакции: Москва, В-36, ул. Д. Ульянова, 19



30
ЛЕТ
ВЕЛИКОЙ
ПОБЕДЫ

Л. И. Лавров

В ОСАЖДЕННОМ ЛЕНИНГРАДЕ

С первых же дней войны боеспособная часть сотрудников Института этнографии АН СССР ушла на фронт. Их было восемнадцать человек, из которых семь записались добровольцами в Ленинградскую армию народного ополчения. Всем им довелось участвовать в боях не только на Ленинградском, но и на Волховском, Степном, 1-м и 2-м Украинских, Дальневосточном и других фронтах, а также в Краснознаменном Балтийском флоте. Они служили солдатами, матросами, командирами взводов и рот, политработниками, военными топографами и штабными работниками. Многие были ранены и контужены, а десять человек пали смертью храбрых (старшие научные сотрудники — сибиревед Н. П. Никульшин и специалист по немцам Г. Д. Вербов, младшие научные сотрудники — японист А. А. Савинич, специалист по финноугорским народам и народам Индонезии И. М. Лекомцев, специалист по чукчам Н. Б. Шнакенбург, американист и кавказовед А. В. Мачинский, редакционный работник А. М. Кукулевич, кочегар К. Н. Шакуров, рабочий А. Н. Шакуров и дворник М. В. Евстратов¹).

Уже в первые дни войны не ушедшие на фронт сотрудники своими силами переоборудовали институтский подвал под бомбоубежище и упаковали в ящики наиболее ценные коллекции музея, но 8 сентября 1941 г. вокруг Ленинграда сомкнулось кольцо вражеской блокады, и эвакуировать коллекции не удалось. 125 ящиков с музейными вещами передали на хранение в кладовые Государственного Эрмитажа, а остальные вместе с упакованной библиотекой сложили в своем бомбоубежище. Поскольку потом в нем стало сыро, пришлось эти несколько сот ящиков перетаскивать в экспозиционные залы музея. Затем учет направления вражеского артиллерийского огня заставил снова переносить те же ящики в другие, более безопасные места. Чтобы осколки стекол, вылетающие при артобстреле из окон и шкафов, не повредили вещи, оставшиеся неупакованными, шкафы, где они хранились, обложили досками, старыми деревянными ящиками и другими предметами, а окна изнутри заставили щитами, сколоченными из досок. Мягкие музейные вещи в часы затишья периодически проветривали во дворе.

¹ Об участии в боях сотрудников Института этнографии см.: М. Г. Чивилев и др., Магистраль бесстрашных, Л., 1971, стр. 58, 59, 86; «Октябрьская фронтовая. Сборник воспоминаний железнодорожников о работе Октябрьской магистрали в годы Великой Отечественной войны», Л., 1970, стр. 376; П. Ойфа, От имени павших, «Литературная газета», 25 августа 1962 г.; А. В. Карасев, Ленинградцы в годы блокады 1941—1943, М., 1959, стр. 40, 43; Л. И. Лавров, Из записок ополченца, сб. «Ораниенбаумский плацдарм», Л., 1971, стр. 53—66.

Для охраны здания Института этнографии и его музея были установлены посты дежурств сотрудников. Особенно тяжелы были дежурства на чердаке, который на случай пожара засыпали песком, а балки покрыли суперфосфатом. Песок, ведра, лопаты и щипцы для обезвреживания зажигательных бомб находились под рукой в разных местах здания.

Сотрудники Института, оставшиеся в Ленинграде (преимущественно женщины, старики и больные), вносили свой немалый вклад в оборону Ленинграда. В начале войны большинство из них активно участвовало в сооружении окопов, противотанковых рвов, эскарпов, землянок и пр. на подступах к Ленинграду (под Шимском, у ст. Родофиниково, у деревни Девяткино, на Карельском перешейке), а также в самом Ленинграде (на Большом проспекте Васильевского острова, у Фондовой биржи, на острове Голодай и в других местах).

Институт оказывал помощь фронту не только рабочей силой. Автор этих строк помнит, как в августе 1941 г., с разрешения уполномоченного Президиума АН СССР академика И. И. Мещанинова, получил в Институте этнографии для добровольческой воинской части, в которой он служил, два отличных бинокля, теодолит и пачку карт той местности, на которой часть приготовилась к бою. Сотрудники Института со своей стороны передали тогда автору свои личные карты окрестностей Ленинграда и 20 биноклей, а вдова известного этнографа Л. Я. Штернберга — его подзорную трубу.

В архиве Института сохранился следующий документ:

«Акт. Ленинград, 19 сентября 1941 г. Составлен настоящий акт в том, что Институт этнографии Академии наук СССР передал..., а начальник участка Васильеостровского района г. Ленинграда... принял во временное пользование оружие из коллекции музея согласно нижеприведенному списку». И далее перечислены: сабель в ножнах — 8, шашек в ножнах — 4, шпага в ножнах — 1 и кинжалов в ножнах — 4.

Сотрудники Института посылали в действующую армию подарки и письма.

Провал вражеского плана с ходу ворваться в Ленинград в сентябре 1941 г. и переход к позиционным формам борьбы на его окраинах не исключали новых попыток врага проникнуть в город. Поэтому вблизи Института на Университетской набережной выросли дзоты, а Таможенный переулочек между Институтом и соседним зданием Ленинградского административно-хозяйственного управления Академии наук (ЛАХУ) был перегорожен проволочным заграждением.

В 1942 г. здание Института по приказу командования фронта было переоборудовано в опорный пункт обороны. Ряд окон заложили кирпичами и мешками с песком. Оставленные в окнах щели должны были на случай уличных боев превратиться в амбразуры.

Суровым стал в блокаду и быт сотрудников. Часть их, переведенная на казарменное положение, находилась в Институте круглосуточно. Поскольку городской транспорт не работал, а физические силы сотрудников от недоедания были подорваны, почти все они также переселились в Институт. Летом жили в первом и втором этажах, а зимой — в подвале, где установили печку и куда сами провели телефон и радио. В 1942 г. для отопления Института сотрудники разобрали пустовавший двухэтажный дом в Новой Деревне (окраина города) и на саночках перевезли его в Институт. Много сил уходило на уборку снега на улице. То была тяжелая и надоедливая, но необходимая работа.

Враг пытался разрушить историческое здание Института и сосредоточенные в нем музейные сокровища мирового значения. В ночь на 18 октября 1941 г. после очередного налета фашистской авиации дежурный Е. В. Жиров поднял сотрудников для ликвидации пожара на башне, вспыхнувшего от зажигательной бомбы. Принятыми мерами Институт и музей были спасены. Зажигательные бомбы, сброшенные на Институт

4 и 13 ноября того же года, сотрудники своевременно обезвредили. Осколки артиллерийского снаряда 3 или 4 декабря повредили башню со стороны двора. Внешняя и внутренняя отделка стен Института, а также крыша были повреждены осколками при артобстрелах 7, 12, 26 января, 10 февраля 1943 г. и в другие дни. Фугасная бомба, разорвавшаяся на набережной между зданиями ЛАХУ и Институтом этнографии, изувечила стену последнего со стороны Таможенного переулка. Один из снарядов снес паранет на крыше восточного крыла здания. В Институте за время блокады вылетело 90% оконных стекол; их пришлось заменять листами фанеры. Во многих местах крыша оказалась пробита осколками, и сотрудники систематически заделывали пробойны толем и железом. Осколки снарядов и бомб не менее 20 раз попадали в здание через окна, но благодаря принятым мерам пострадали только два экспоната.

Сотрудники, спасавшие музей от гибели и сами рисковавшие жизнью во время обстрелов и бомбежек, постоянно недоедали, а в первую блокадную зиму 1941—1942 гг. прошли через нечеловеческие испытания голодом. В отчете Института говорилось о том времени: «Жизнь Института постепенно замирала. Больные поголовно дистрофией и цингой, сотрудники не имели сил даже перенести со двора в подвал дрова»². В эту зиму голод унес в могилу старших научных сотрудников: слависта К. А. Пушкикаревича, сибиреведов Н. П. Дыренкову и Г. Н. Прокофьева, американистку С. А. Ратнер-Штернберг, специалиста по Океании А. Б. Пиотровского, кавказоведа А. Н. Генко и антрополога Г. И. Петрова; младших научных сотрудников: сибиреведов Н. А. Липскую и К. А. Большеву, русистку Н. Н. Тихоницкую, индолога В. К. Краснодембского, специалистов по Средней Азии А. Н. Кондаурова и В. В. Екимову, антропологов Е. В. Жирова и А. Н. Юзefовича, библиотекаря Е. М. Кубиш, аспиранта-сибироведа А. П. Козловского, научно-технических сотрудников Н. Р. Косниковского, Г. Г. Баевич и О. Н. Дравову, экскурсовода М. В. Гнесину, реставратора А. В. Гушину, фотографа Е. П. Эмме, препараторов А. А. Луканину и В. А. Елкина, счетовода Е. А. Курманаева, вахтеров Е. Ф. Самсоненко, О. К. Кузнецову, А. В. Козлова и В. С. Оверко, дворников И. И. Сафимова и А. Н. Старикову и рабочую Г. Ш. Шакурову. Во время блокады от голода умерло 33 человека. Многие из них скончались в помещении Института. Живые хоронили мертвых и снова становились на вахту. Вместе с убитыми на фронте Институт потерял за войну (не считая умерших от болезней) 43 человека, или 42% сотрудников, состоявших в штате на 1 июня 1941 года.

Величайшего удивления и восхищения достойно то, что в период блокады и даже в самую страшную первую ее зиму сотрудники Института этнографии не забывали о научной работе. В декабре 1941 г. они участвовали в работах пленума Института истории материальной культуры, посвященного памяти академика Н. Я. Марра и только что тогда умершего от голода академика С. А. Жебелева. Младший научный сотрудник А. Н. Кондауров незадолго до смерти защитил в декабре 1941 г. кандидатскую диссертацию. Диссертацию подготовила и младший научный сотрудник Н. Н. Тихоницкая, но умерла, не успев защитить ее. Над докторской диссертацией работал старший научный сотрудник Д. А. Ольдерогге. Весной 1942 г. возобновилась прерванная войной подготовка коллективного труда «Народы мира».

Научная работа не прекратилась и после эвакуации в Среднюю Азию большинства научных сотрудников, переживших зиму 1941—1942 гг. Оставшиеся в Ленинграде 4 научных сотрудника продолжали заниматься исследованиями в часы, свободные от дежурств и физического труда.

² Цит. по кн. А. В. Кольцов, Ученые Ленинграда в годы блокады (1941—1943), М.—Л., 1962, стр. 80.

Еще 1 апреля 1942 г. в Ленинграде был образован Объединенный ученый совет гуманитарных институтов АН СССР. В его работе приняли участие этнографы и антропологи. В сентябре 1943 г. в бомбоубежище Института этнографии стала собираться вновь созданная Группа историков Ленинградских учреждений АН СССР под председательством Ю. П. Францева. Ученым секретарем Группы была избрана этнограф К. В. Вяткина.

С лета 1942 г. по 1944 г. в Ленинграде продолжали нести вахту 14 сотрудников Института: заведующий отделом оформления музея, ставший тогда уполномоченным Президиума АН СССР, архитектор Р. И. Каплан-Ингель, старший научный сотрудник К. В. Вяткина, младшие научные сотрудники В. В. Антропова, В. В. Федоров и М. Д. Торэн, заведующая канцелярией А. Н. Калдыкина, комендант здания Е. А. Максимова, вахтеры А. Н. Макарова, О. П. Карманова и М. Т. Константинова, рабочие З. И. Каплан, П. Н. Артамонова и Н. В. Андросова, дворник М. В. Евстратова. Именно им мы обязаны больше всего спасением здания Петровской Кунсткамеры и сокровищ Музея антропологии и этнографии. Все они, как и воины Ленинградского фронта, были награждены медалью «За оборону Ленинграда», а Р. И. Каплан-Ингель, К. В. Вяткина, В. В. Антропова, Е. А. Максимова и А. Н. Макарова, кроме того, другими орденами и медалями³.

В 1942 г. эвакуированные из Ленинграда этнографы образовали Ташкентскую группу Института этнографии во главе с заместителем директора Н. Н. Степановым. В том же году был назначен новый директор Института С. П. Толстов и создана Московская группа, в которую вошли этнографы, антропологи, фольклористы, ранее не состоявшие в штате Института этнографии. Ташкентская и Московская группы широко развернули научные исследования⁴.

В заключение остается сказать, что среди сотрудников, пришедших в послевоенные годы в Институт этнографии, также немало участников Великой Отечественной войны.

IN LENINGRAD UNDER SIEGE

The author recounts the heroic deeds of those working in the Institute of Ethnography (USSR Academy of Sciences). In the besieged war-time Leningrad they participated in the city's defence, managed to save the priceless collections of the Museum of Anthropology and Ethnography and, despite the hardships of the blockade, continued their research work.

³ О работе Института этнографии в годы блокады см. также: А. В. Кольцов, Указ. раб.; Г. Л. Соболев, Ученые Ленинграда в годы Великой Отечественной войны, М.—Л., 1966; Т. В. Станюкович, Музей антропологии и этнографии за 250 лет, «Сборник Музея антропологии и этнографии», т. XXII, М.—Л., 1964; Н. Н. Степанов, В Институте этнографии АН СССР, «Краткие сообщения Ин-та этнографии АН СССР», вып. 1, М., 1946.

⁴ О научной работе в Ташкентской и Московской группах в годы войны см.: М. Г. Рабинович, Институт этнографии в годы Великой Отечественной войны, «Сов. этнография», 1946, № 1; см. также статью М. Г. Рабиновича и С. А. Токарева «Институт этнографии в период Великой Отечественной войны и в первые послевоенные годы» в настоящем номере журнала.

М. Г. Рабинович, С. А. Токарев

ИНСТИТУТ ЭТНОГРАФИИ В ПЕРИОД ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ И В ПЕРВЫЕ ПОСЛЕВОЕННЫЕ ГОДЫ

Годы Великой Отечественной войны были для Института этнографии АН СССР, как и для всего советского народа, временем тяжелых испытаний и потерь, упорного труда и больших побед.

К началу войны Институт (организованный как головное этнографическое учреждение в 1933 г. на базе Музея антропологии и этнографии) находился в Ленинграде. В Москве основными научными учреждениями этого профиля были Музей народов СССР, Кафедра этнографии, Кафедра и Институт антропологии МГУ и Антирелигиозный музей.

Нападение гитлеровцев на Советский Союз, блокада Ленинграда и наступление немецко-фашистских полчищ на Москву не прекратили научной деятельности советских этнографов. Но многие ученые покинули кабинеты, чтобы занять свои места в Красной Армии, Народном ополчении, истребительных и рабочих батальонах¹. Вся страна глубоко чтит память павших смертью храбрых в боях с врагом мужественных защитников Ленинграда, Москвы, всей Советской земли. Среди них — и сотрудники Института этнографии, павшие в боях за Родину: Г. Д. Вербов, М. В. Евстратов, А. М. Кукулевич, И. М. Лекомцев, А. В. Мачинский, Н. П. Никульшин, А. А. Савинич, А. Н. Шакуров, К. Н. Шакуров, Н. Б. Шнакенбург. Во время блокады погибли: М. А. Бабкин, Г. Г. Баевич, К. А. Большева, А. Н. Генко, М. В. Гнесина, А. В. Гущина, О. Н. Драмova, Н. П. Дыренкова, В. В. Екимова, В. А. Елкин, Е. В. Жиров, А. Н. Кондауров, А. В. Козлов, А. П. Козловский, Н. Р. Косниковский, О. К. Кузнецова, В. К. Краснодембский, Е. М. Кубиш, Е. А. Курманаев, Н. А. Липская, А. А. Луканина, В. С. Оверко, Г. И. Петров, А. Б. Пиотровский, Г. Н. Прокофьев, К. А. Пушкиревич, С. А. Ратнер-Штернберг, И. И. Сафимов, А. Н. Старикова, Е. Ф. Самсоненко, Н. Н. Тихоницкая, Г. Ш. Шакурова, Е. П. Эмме, А. Н. Юзefович. Светлая память о товарищах, отдавших свою жизнь за Родину, навсегда останется в наших сердцах.

Весь коллектив Института участвовал в строительстве оборонительных рубежей, в противовоздушной обороне. Экспозиция музея была демонтирована, богатейшие музейные коллекции были размещены в безопасных местах².

Блокада Ленинграда, эвакуация значительной части сотрудников в Ташкент, гибель одних ученых и оторванность других от Института по условиям военного времени чрезвычайно осложнили работу. К концу 1942 г. Институт этнографии существовал в составе двух групп: Ташкентской и Ленинградской. Сотрудники последней участвовали в оборо-

¹ См. статью Л. И. Лаврова «В осажденном Ленинграде» в настоящем номере журнала.

² См.: Т. В. Станюкович, Музей антропологии и этнографии за 250 лет, «Сб. Музея антропологии и этнографии» (далее — «Сб. МАЭ»), т. XXII, М.—Л., 1964, стр. 127—133.

не города и занимались охраной музея. Ташкентская группа переживала тяжелый организационный период, особенно трудный в связи с условиями эвакуации. Некоторые ведущие сотрудники оказались в других городах и связь с ними была затруднена.

Между тем неотложные нужды военного времени требовали от этнографической науки решения многих важных задач, выполнить которые могло сильное и дееспособное научное учреждение.

Президиум Академии наук СССР специально обсудил состояние Института этнографии и наметил основные мероприятия для перестройки его работы³. Институту было разрешено организовать Московскую группу, во главе которой встал вновь назначенный директор Института, недавно оправившийся после ранения С. П. Толстов. Работа этой группы на многие годы определила не только пути развития Института, но и всей советской этнографической науки. Ко времени ее организации в Москве по существу не было крупных этнографических учреждений. Музей народов СССР и Антирелигиозный музей были свернуты и впоследствии переведены в Ленинград. Университет был эвакуирован, и возвращение его в Москву только начиналось.

Пожалуй, наиболее неотложной была задача восстановления кадров научных работников Института, понесших, как мы видели, во время войны огромные, невосполнимые до конца потери. С. П. Толстову удалось организовать на первых порах небольшую группу, привлечь к работе в Институте опытных ученых-этнографов, рассеянных в ту пору по другим учреждениям. Под их руководством началась интенсивная подготовка кадров этнографов.

При Академии наук СССР существовала в те годы не только аспирантура, но и докторантура. Уже к концу 1943 г. в Московской группе Института насчитывалось 10 докторантов и 13 аспирантов, в Ташкентской группе — 1 аспирант. Среди них были недавние фронтовики, еще не успевшие снять свои военные шинели, и, кроме того, бывшие музейные работники и преподаватели, ранее занимавшиеся этнографией. Через год в Институте было 12 докторантов и 22 аспиранта, а к концу 1945 г. — 13 докторантов и 29 аспирантов (в том числе в Ленинграде 2 докторанта и 7 аспирантов)⁴. Следует сказать, что набранные в те годы (зачастую с нарушением установленных возрастных норм) аспиранты и докторанты в подавляющем большинстве успешно защитили диссертации, внесли большой вклад в развитие этнографической науки и в течение ряда лет составляли основной костяк работников Института; некоторые из них и в настоящее время возглавляют его ведущие сектора⁵. Одним из важнейших условий их успешной подготовки было то, что буквально с первых дней вступления в коллектив Института аспиранты и докторанты, помимо выполнения своей учебной программы, активно

³ Постановление Президиума АН СССР № 11 от 22 декабря 1942 г., Архив АН СССР, ф. 2, оп. 6а, д. 35, л. 170.

⁴ См. Отчеты о работе Института этнографии за 1943, 1944 и 1945 гг., Архив Института этнографии АН СССР, Москва (далее Архив ИЭ), ф. 1, оп. 1, д. 8, л. 4 об; д. 25, л. 6; д. 45, л. 5.

⁵ Из сотрудников, зачисленных в штат или в аспирантуру и в докторантуру в годы войны и в первые послевоенные годы, до настоящего времени работают в Институте Ю. П. Аверкиева, Б. В. Андрианов, В. Н. Белицер, М. Я. Берзина, В. В. Бунак, Г. П. Васильева, Я. Р. Винников, М. Г. Воробьева, С. П. Русаякина, В. К. Гарданов, Б. Г. Гершкович, И. С. Гурвич, Н. Р. Гусева, Т. А. Жданко, Б. А. Калоев, В. Ю. Крупянская, Н. М. Листова, К. В. Малинина, Г. С. Маслова, Л. Ф. Моногарова, А. И. Першиц, Э. В. Померанцева, М. Г. Рабинович, М. Я. Салманович, В. К. Соколова, Я. С. Смирнова, Г. Г. Стратанович, С. А. Токарев, С. П. Толстов, Т. А. Трофимова, Н. Н. Чебоксаров, З. Я. Черняков, М. Н. Шмелева, К. В. Якимова (Москва); Л. П. Потапов и Т. В. Станюкович (Ленинград). С. М. Абрамзон, В. В. Антропова, Г. А. Гловацкий, С. В. Иванов, Л. И. Лавров, Д. А. Ольдерогге, Т. Л. Юзепчук работали в Институте этнографии (Ленинград) и до войны.

включались в те срочные работы, которых требовала от советских этнографов военная обстановка.

Институт этнографии собирал специалистов-этнографов также помимо аспирантуры и докторантуры. Если ко времени реорганизации Института в нем было всего 27 научных сотрудников, то к концу 1943 г. их стало 42, в декабре 1944 г. — 50, а еще через год — 65⁶. Можно сказать, что к концу Великой Отечественной войны подавляющее большинство ведущих ученых-этнографов Москвы и Ленинграда (реэвакуация уже завершилась полностью) сосредоточилось в Институте этнографии АН СССР.

Все эти меры позволили Институту уже в 1943 г. активно включиться в выполнение срочных заданий. На первое место в работах Института выдвинулись проблемы этнического состава населения мира. Если раньше этнографы занимались преимущественно вопросами общей этнографии и изучением народов, находящихся на относительно низких ступенях развития, то теперь в результате разгрома Советской армией гитлеровских захватчиков, в обстановке успешно завершающейся войны и подготовки мирных переговоров потребовалось обратиться к исследованию этнического состава населения стран Европы, Азии, отчасти и Африки.

В Институте был выполнен, в частности, важный цикл работ по изучению этнического состава стран, «представляющих интерес во время войны и после победы над фашизмом» (так эта тематика была сформулирована в плане Института). Особое внимание, разумеется, было уделено западной и юго-восточной частям территории СССР и сопредельных стран. Для выполнения работ создавались специальные бригады этнографов, демографов, картографов, возглавлявшиеся наиболее авторитетными учеными. В частности, П. И. Кушнером была разработана новая для науки методика определения этнографических территорий на основе не только языка и религии, как это делалось раньше, но и целого комплекса признаков чисто этнографических, связанных с веками складывавшейся материальной и духовной культурой народа. Эта методика не потеряла своего значения и до настоящего времени⁷.

В ходе выполнения заданий директивных органов активнее восстанавливались, расширялись и укреплялись нарушенные войной деловые связи и научные контакты между различными этнографическими учреждениями нашей страны. Так, для разработки проблем, связанных с уточнением некоторых этнических границ, были привлечены находившиеся в ту пору в эвакуации этнографы и историки Белоруссии и Литвы: М. Я. Гринблат, Ю. Жюжда, П. Пакарклис и др. В этих совместных работах крепло научное содружество, вылившееся в постоянную тесную связь этнографических учреждений Академий наук союзных республик и Академии наук СССР.

Уже в те трудные военные годы Институт приступил к такому важному обобщающему научному труду, каким явилась известная впоследствии серия этнографических очерков «Народы мира». Еще до войны Институт предполагал издать краткий справочник о народах, населяющих земной шар. Теперь перед коллективом стояли совершенно иные, более обширные и важные задачи — противопоставить устарелым, преимущественно немецким теориям общего народоведения фундаментальное советское издание, содержащее новые материалы по этнографии мира и построенное на основе методологии исторического материализма; дать советскому читателю — этнографу, антропологу, историку, географу, экономисту, педагогу высшей и средней школы, студенту, аспиранту — подробные, опирающиеся на новейшие источники, хорошо проверенные

⁶ Архив ИЭ, ф. 1, оп. 1, д. 8, л. 4 об.; д. 25, л. 6; д. 45, л. 4 об.

⁷ П. И. Кушнер (Кнышев), Этнические территории и этнические границы. М., 1951. Эта работа, как и многие другие, написанные в годы войны, была опубликована уже в послевоенные годы.

сведения об этническом составе стран и культурно-бытовых особенностях отдельных народов. Издание было задумано первоначально как девяти-томник⁸. Первый том предполагалось посвятить общим проблемам (таким, как классификация народов мира, история формирования основных этнических, антропологических и лингвистических групп человечества), а остальные восемь томов — характеристике народов по частям света. Решено было, что эти тома будут включать монографическое описание культуры и быта всех основных этнических групп населения, причем большое место будет уделено проблемам этногенеза, этнических взаимоотношений и культурно-исторической роли каждого из народов. Общеизвестно, что работа над этим огромным обобщающим трудом велась в течение ряда лет, и результатом ее стала восемнадцатитомная серия, высоко оцененная в Советском Союзе и за рубежом. Но не все хорошо знают, что не только программа ее была задумана и разработана, но даже и составление некоторых томов (например, тома «Народы Средней Азии и Казахстана») далеко продвинулось еще в тяжелых условиях войны и эвакуации, — в Москве, Ташкенте и Ленинграде.

Значительное место в работе Института в те годы занимали проблемы происхождения народов. При Институте работала Комиссия АН СССР по этногенезу. Еще в 1943 г. в Москве с успехом прошла сессия, посвященная этногенезу славян, в которой приняли участие этнографы, историки, археологи и антропологи, представляющие многие научные учреждения.

Очень остро стояла в военные годы проблема борьбы с расизмом. В это время, пожалуй, не меньшую важность, чем специальные исследования, приобретала повседневная культурно-просветительная деятельность. Сотрудники Института опубликовали тогда множество научно-популярных статей в различных изданиях, прочли сотни лекций для широкой аудитории.

Разработка проблем этногенеза и напряженная борьба с расизмом как идеологией гитлеровцев настоятельно требовали новых антропологических исследований. Под руководством В. В. Бунака в Москве был создан Отдел антропологии, в который вошли такие крупные исследователи, как Г. Ф. Дебец, М. Г. Левин, Т. А. Трофимова, Н. Н. Чебоксаров, уже зарекомендовавшие себя работами в области этнической антропологии. Позднее под руководством В. В. Гинзбурга возобновилась антропологическая работа Ленинградской части Института, где в Музее антропологии и этнографии были издавна сосредоточены ценнейшие антропологические коллекции.

Условия военного времени не остановили работы по монографическому изучению отдельных (советских и зарубежных) народов. Наиболее типичной темой докторских (а иногда и кандидатских) диссертаций было всестороннее монографическое изучение одного народа, построенное, как правило, на материалах, собранных в прошлом самим автором⁹. Монографии такого рода (в большинстве своем изданные уже в послевоенные годы) заложили прочный фундамент для дальнейшего развития многих аспектов этнографической науки.

⁸ Тогда же была впервые сформирована редакционная коллегия этого труда во главе с С. П. Толстовым. В нее вошли М. О. Косвен, В. В. Бунак, Г. Ф. Дебец, М. Г. Левин, Д. А. Ольдерогге, Н. Н. Степанов, С. А. Токарев. См. М. Г. Рабинович, Институт этнографии в годы Великой Отечественной войны, «Сов. этнография», 1946, № 1, стр. 227.

⁹ Например, в 1944 г. велась работа над следующими монографиями: М. В. Степанов — «Эскимосское население Аляски»; Ю. П. Аверкиева — «Индейцы северо-западной Америки»; Е. М. Шиллинг — «Кубачинцы»; Л. П. Потапов — «Алтайцы»; В. Н. Чернецов — «Обские угры»; О. В. Ионова — «Якуты»; Е. С. Зевакин — «Адыгейцы»; Д. К. Зеленин — «Чехи». Тогда же началась подготовка монографии «Восточные славяне» (авторский коллектив возглавляли С. П. Толстов, Б. А. Рыбаков, В. В. Богданов и П. Г. Богатырев), Архив ИЭ. ф. 1, оп. 1, д. 25, лл. 12—13.

Значительно продвинулось вперед исследование различных аспектов общей этнографии. В частности, работы М. О. Косвена по проблемам матриархата, ранней истории семьи и брака, о которых речь пойдет ниже, создавались в 1943—1948 гг.

Еще в эвакуации развернулась интенсивная работа по этнографическому изучению народов Средней Азии. Несмотря на трудные условия, продолжались полевые исследования, проводились научные заседания и сессии. Этнографы занимались не только коренным населением, но и русскими старожилами (например, Е. Э. Бломквист). Работа велась в тесном контакте со среднеазиатскими этнографами.

Нельзя не упомянуть и еще об одном новом важном направлении в работе Института — фольклорных исследованиях. В военные годы была создана Комиссия по фольклору под руководством П. Г. Богатырева¹⁰.

В последующие годы экспедиционная работа Института постепенно расширилась. Если в 1943 г. в поле выезжали лишь отдельные сотрудники, то в 1944 г. были уже организованы и настоящие этнографические экспедиции на Кавказ, Украину, в Московскую область, а в 1945 г. работала комплексная Чукотская экспедиция, положившая начало многолетнему систематическому изучению этого наиболее отдаленного района нашей страны. В том же году возобновила свои работы комплексная Хорезмская археолого-этнографическая экспедиция (до войны, в 1937—1940 гг., она работала как археологическая). Важные полевые работы проводили также антропологи, получившие возможность широкого исследования многих этнических групп, ранее не изучавшихся¹¹. Весьма важной чертой полевых работ Института стала комплексность — сочетание этнографических, антропологических и археологических исследований¹². Всего в 1945 г. Институтом было организовано 14 экспедиций, охвативших территорию Советского Союза от Западной Украины до Чукотского полуострова и от южных областей Таджикистана до северных районов Коми. В экспедициях участвовало свыше 80 штатных и внештатных научных сотрудников.

Необходимо отметить, что именно в дни Великой Отечественной войны Институт этнографии стал одним из важных центров живого научного общения ученых. В Москве и в Ташкенте регулярно проводились еженедельные заседания Ученого совета Института, секторов и групп с научными докладами и сообщениями, привлекавшими не только сотрудников Института, но и широкую научную общественность. Так, в 1943 г., самом тяжелом для Института, состоялись 164 заседания, на которых было заслушано и обсуждено 152 научных доклада, в 1944 г. — свыше 150 заседаний со 130 докладами, в 1945 г. — 124 доклада¹³. Сохранившиеся протоколы заседаний свидетельствуют об оживленных прениях, развертывавшихся едва ли не по каждому докладу. Многие доклады вошли потом в виде статей в подготовленные Институтом сборники «Советская этнография» (тт. VI—IX) и сборники Музея антропологии и этнографии. Материалы научной сессии, посвященной столетию со дня рождения Д. Н. Анучина, составили первый том новой серии Трудов Института. Когда в 1946 г. возобновилось издание журнала «Советская этнография», его портфель был заполнен на несколько лет вперед.

¹⁰ О деятельности Комиссии см. В. К. Соколова, Из истории изучения фольклора Великой Отечественной войны, «Сов. этнография», 1975, № 3.

¹¹ Дагестанской экспедицией руководил Е. М. Шилинг, Полтавской — Н. Н. Чебоксаров, Подмосковной — В. И. Чичеров и Н. Н. Чебоксаров, Чукотской — Г. Ф. Дебец, Хорезмской — С. П. Толстов. См.: М. Г. Рабинович, Указ. раб., стр. 234—235; «Археологические экспедиции 1919—1956 гг. Указатель», М., 1962, № 308.

¹² М. Г. Левин, Полевые исследования Института этнографии в 1945 г., «Сов. этнография», 1946, № 1.

¹³ Архив ИЭ, ф. 1, оп. 1, д. 8, л. 13; д. 25, л. 24; д. 45, лл. 17—22; д. 50, лл. 1—16.

Ко времени окончания Великой Отечественной войны Институт этнографии снова стал крупным научным учреждением. В нем работали 2 члена-корреспондента Академии наук СССР, 12 докторов и 25 кандидатов наук¹⁴. За время войны 4 сотрудника защитили докторские и 7 — кандидатские диссертации.

Важным событием, последовавшим вскоре после победы в Великой Отечественной войне, было празднование 220-летнего юбилея Академии наук СССР. К этому юбилею открыл свои двери Музей антропологии и этнографии — одно из старейших научных учреждений нашей страны. Устроенная в Музее экспозиция была восторженно принята участниками юбилейных торжеств. Высокую оценку получила и вся работа коллектива Института в годы Великой Отечественной войны. В связи с юбилеем Академии наук СССР 21 сотрудник Института был награжден орденами и медалями¹⁵.

* * *

Победоносное завершение Великой Отечественной войны поставило перед советскими этнографами новые трудные, но почетные задачи. Среди них одной из первоочередных была организационная. Начатое еще в последний период войны собрание научных кадров было — под энергичным руководством С. П. Толстова — продолжено. Уже в первые послевоенные годы Московская группа Института этнографии выросла в центр этнографической работы: в него постепенно вливались демобилизованные из армии и вернувшиеся из эвакуации этнографы. Пополнялось и Ленинградское отделение Института. Уже в 1948 г. Московское и Ленинградское отделения Института этнографии насчитывали свыше 80 научных работников (в том числе 15 докторов и 36 кандидатов наук).

Самые неотложные задачи диктовала жизнь — послевоенная международная обстановка. Решались в международном масштабе большие политические вопросы: восстановление в Европе государственных границ, нарушенных гитлеровской агрессией, удовлетворение справедливых требований наций, наиболее пострадавших от этой агрессии (Польша, Чехословакия, Югославия). Для этого необходимо было серьезно изучить этнический состав населения пограничных территорий и смешанных по национальному составу регионов — прежде всего в Европе. Этнографы должны были помочь своими знаниями этому важному делу. Работа, начатая еще в годы войны, была продолжена и расширена. Разрабатывались статистические, картографические и прочие документальные данные по этническим рубежам; уточнялись польско-украинская, украинско-словацкая, литовско-немецкая, итало-словено-хорватская, венгеро-румынская, болгаро-сербская и другие этнические границы. В период подготовки мирных договоров советские этнографы участвовали в качестве экспертов в деятельности Комиссии четырех держав по установлению новых границ. Но эта работа, неотложная с практической стороны, требовала и углубленного, чисто научного исследования. Следовало теоретически обосновать самые понятия «этническая граница», «этническая территория», «этнический состав населения». Эта задача легла на плечи окрепшего уже коллектива этнографов. Как уже отмечалось, П. И. Кушнер еще во время войны глубоко разработал методологические основы для решения этой задачи¹⁶, позволившие создать методику составления этнических карт. В дальнейшем была составлена целая серия этнических карт — в этом советские этнографы далеко опере-

¹⁴ М. Г. Рабинович, Указ. раб., стр. 233.

¹⁵ Архив ИЭ, ф. 1, оп. 1, д. 45, л. 26 об.

¹⁶ П. И. Кушнер, Указ. раб.

дили своих зарубежных коллег. Так сложилось целое направление в науке — этническая география.

Но все это было только небольшой частью начатой работы. Ведь надо было исправить не только границы: огромный ущерб был нанесен нацистами культурным сокровищам народов. Чтобы восполнить эти потери, опять-таки было необходимо глубоко изучить культурно-бытовые традиции народов и европейских, и внеевропейских стран. Больше всего пострадали от нацистов славянские народы — ведь гитлеровские захватчики отказывали им даже в праве на самостоятельную культурную жизнь, третировали их как людей второго сорта. Поэтому изучение братских западно- и южнославянских народов, их культурных достижений, их вклада в мировую культуру было очень важно и в чисто научном и в общественно-политическом плане. А как раз по славянской этнографии — особенно по славянам, живущим за пределами СССР — специалистов у нас в довоенные годы почти не было; пришлось их срочно готовить. Уже в конце 40-х годов появились первые фольклорно-этнографические публикации по южным и западным славянам; позже этнографическая славистика вырастает у нас в особую область знаний¹⁷. Расширилось изучение материальной и духовной культуры восточнославянских народов — русских, белорусов, украинцев. В этой области работали опытные этнографы: Е. Э. Бломквист, Н. П. Гринкова, Н. И. Лебедева, Г. С. Маслова и другие¹⁸.

Этнографическое изучение народов Европы не могло, однако, ограничиться славянскими народами, — ведь они составляют неотделимую часть европейского культурного единства. Внутренняя логика науки требовала идти дальше — изучать сравнительно-историческим методом и другие — германоязычные, романоязычные и прочие этнические группы Европы. В первые послевоенные годы закладываются у нас основы новой — не существовавшей прежде (ни у нас, ни за рубежом) отрасли знания — этнографической европеистики. Первые плоды ее, однако, появились позже¹⁹.

Аналогичные исследования развертывались, конечно, и по другим регионам: по Передней Азии, Южной Азии, Восточной и Юго-Восточной Азии, Африке, Америке, Океании. Проблематика исследований была чрезвычайно разнообразной — ее даже трудно систематизировать: широкий спектр проблем от этногенеза народов до вопросов современного национального развития, от систем родства до расшифровки древней письменности.

Само собой разумеется, что и этнографическое изучение народов Советского Союза продолжалось нарастающими темпами. Помимо уже упомянутых восточнославянских народов, предметом интенсивного изучения были — и остаются — народы других регионов СССР: Прибалтики, Поволжья, Кавказа, Средней Азии, Сибири, включая Крайний Север. Здесь важно отметить установившееся и все более крепнувшее сотрудничество московских и ленинградских этнографов с местными исследователями, которые сгруппировались вокруг республиканских академических институтов и других научных учреждений (кафедры университетов, музеев). Были организованы десятки совместных экспедиций — зачастую комплексных, с этнографическими, антропологиче-

¹⁷ «Славянский фольклор. Материалы и исследования по исторической и народной поэзии славян», «Труды Ин-та этнографии АН СССР» (далее ТИЭ), т. XIII, М., 1951; «Славянский этнографический сборник», ТИЭ, т. LXII, М., 1960.

¹⁸ «Восточнославянский этнографический сборник. Очерки народной материальной культуры русских, украинцев и белорусов в XIX — нач. XX в.», ТИЭ, т. XXXI, М., 1956; С. А. Токарев, Религиозные верования восточнославянских народов XIX — начала XX в., Л., 1957.

¹⁹ См. «Народы зарубежной Европы» («Серия народы мира. Этнографические очерки»), тт. I—II, М., 1964—1965; этому изданию предшествовал ряд более частных публикаций.

скими, археологическими отрядами: некоторые из них многолетние. Особенно много дала Хорезмская комплексная экспедиция под руководством С. П. Толстова; плодотворными были Киргизская, Таджикская, Северокавказская, Прибалтийская, Мордовская, Северовосточная и ряд других экспедиций.

Уже в первые послевоенные годы начали появляться, помимо многочисленных статей, солидные монографии по разным народам и регионам СССР, с самой разнообразной тематикой: по материальной и духовной культуре народов, по их семейному быту, народному искусству, по вопросам этногенеза и этнической истории и по другим проблемам²⁰.

Остановимся коротко на некоторых из этих проблем.

Вопросы этногенеза — происхождения народов — ставились в этнографической науке испокон веков, но ставились чисто эмпирически — на основе данных только языка или антропологического типа. Первые попытки теоретически обосновать эту проблему были сделаны советскими учеными в годы войны²¹ и в первые послевоенные годы²². Продуманному решению этих проблем мешало, однако, в те годы чрезмерное увлечение идеями Н. Я. Марра в области изучения языков (Марр принципиально отрицал даже законность самой постановки вопроса о происхождении народов); не употреблялись в те годы сами термины «прародина», «праязык». Лишь позднее удалось исследователям этногенеза народов выйти на путь всесторонней разработки этих проблем²³.

В послевоенные годы была впервые поставлена и другая жизненно важная проблема: изучение современных процессов этнического и национального развития. Два пути вели к решению этой проблемы: от изучения этнического состава населения пограничных территорий, и от изучения этногенеза и этнической истории, — ибо тут сам собой рождался вопрос: а куда было направлено и куда сейчас направляется этническое развитие? Но главное — то, что и тут сама жизнь требовала от этнографов ответа на важнейшие вопросы: ведь как раз в первые послевоенные годы расширяется и углубляется национальное движение в колониях и

²⁰ Назовем некоторые исследования: Г. Ф. Дебец, Палеоантропология СССР, М.—Л., 1948; А. А. Попов, Нганасаны, ТИЭ, т. III, М.—Л., 1948; Е. М. Шиллинг, Кубачины и их культура, ТИЭ, т. VIII, М.—Л., 1949; Т. А. Жданко, Очерки исторической этнографии каракалпаков, ТИЭ, т. IX, М.—Л., 1950; В. Н. Белицер, Народная одежда удмуртов, ТИЭ, т. X, М.—Л., 1951; М. А. Сергеев, Некапиталистический путь развития малых народов Севера, ТИЭ, т. XXVII, М.—Л., 1955.

²¹ См., например: С. П. Толстов, Проблема происхождения индоевропейцев и современная этнография и этнографическая лингвистика, «Краткие сообщения Ин-та этнографии» (далее КСИЭ), вып. I, 1946; А. Д. Удадьцов, К вопросу о происхождении индоевропейцев, там же; его же, Основные вопросы этногенеза славян, Сб. «Сов. этнография», т. VI—VII, 1947.

²² С. А. Токарев, К постановке проблем этногенеза, «Сов. этнография», 1949, № 3.

²³ См. работы М. Г. Левина: «О происхождении и типах упряжного собаководства», «Сов. этнография», 1946, № 4; «Антропологические типы Охотского побережья», ТИЭ, т. II, М.—Л., 1947; «К проблеме исторического соотношения хозяйственно-культурных типов Северной Азии», КСИЭ, вып. II, М., 1947; «Антропологический тип якутов», КСИЭ, вып. III, М., 1947; «Краниологические типы чукчей и эскимосов», «Сб. МАЭ», т. X, Л., 1949; «Проблема происхождения *Homo sapiens* в советской антропологии», КСИЭ, вып. IX, М., 1950; «Антропологические типы Сибири и Дальнего Востока (К проблеме этногенеза народов Северной Азии)», «Сов. этнография», 1950, № 2; «К вопросу о древнейшем заселении Сибири», «Сов. этнография», 1950, № 3; «Древние переселения человека в Северной Азии по данным антропологии», сб. «Происхождение человека и древнее расселение человечества», ТИЭ, т. XVI, М.—Л., 1951. См. работы Н. Н. Чебоксарова: «Этногенез коми по данным антропологии», «Сов. этнография», 1946, № 2; «Этническая антропология Германии», КСИЭ, вып. I, М., 1946; «К вопросу о происхождении китайцев», «Сов. этнография», 1947, № 1, «Основные направления расовой дифференциации в Восточной Азии», ТИЭ, т. II, М.—Л., 1947; «Северные китайцы и их соседи», КСИЭ, вып. V, М., 1949; «К вопросу о происхождении народов угро-финской языковой группы», «Сов. этнография», 1952, № 1. См. также работы, опубликованные позднее: М. Г. Левин, Этническая антропология и проблемы этногенеза народов Дальнего Востока, ТИЭ, т. XXXVI, М., 1958; его же, К проблеме этногенеза тунгусов М., 1960.

недавно освободившихся странах. И эти движения (в Индонезии, Индии, в Индокитае, в Африке и пр.) неминуемо упирались в задачи национальной консолидации, преодоления племенной розни, трибализма, языковой пестроты. Конечно, не случайно данная проблема была поставлена прежде всего на материале народов Африки — региона, где национально-освободительное движение приняло в те годы наиболее массовые формы²⁴.

Работы советских этнографов по изучению культуры, быта и этнического развития народов колониальных стран, — еще недавно казавшихся столь далекими, — столкнули нас с параллельными исследованиями буржуазных зарубежных этнографов и тем самым с иными, чуждыми нам теоретическими построениями. Потребовалось определить свое к ним отношение. А эти теоретические построения оказались тесно связанными с режимом колониального управления: в колониях бывшей Британской империи теоретической базой системы управления был «функционализм», на подопечных территориях США — «этно-психологическая школа», а местами и замаскированный расизм, казалось бы, разгромленный в антифашистской освободительной борьбе европейских народов.

В связи с этим перед советскими учеными встала задача прямой и принципиальной критики этих теоретических концепций буржуазной науки, идейно и организационно связанных с системой колониализма. Предметом критики стал прежде всего функционализм (Б. Малиновский) и этно-психологическая школа (А. Кардинер и др.). Острые критические выступления Ю. П. Аверкиевой, Н. А. Бутинова, Д. А. Ольдерогге, И. И. Потехина и др. обнажали реакционную политическую сущность теоретических основ колониализма. Правда, в пылу полемики оставались незамеченными положительные стороны деятельности и взглядов некоторых зарубежных ученых. Но исправление допущенных полемических «перегибов» было делом будущего.

Задача критического размежевания с зарубежными этнографическими школами вызвала необходимость критического пересмотра того идейного наследства, которое досталось нам, советским этнографам, от наших дореволюционных предшественников. В довоенные годы к этому наследству не особенно присматривались: научные заслуги прогрессивных русских ученых были мало кому известны. В первые послевоенные годы появились в печати исторнографические очерки, статьи и целые книги о деятельности и научных взглядах крупных русских ученых прошлого: С. П. Крашенинникова, К. Э. Бэра, Д. Н. Анучина, В. В. Богданова и др. Большое научное значение имела солидная публикация трудов выдающегося путешественника и прогрессивного ученого Н. Н. Миклухо-Маклая (имя которого было в 1947 г. присвоено Институту этнографии)²⁵.

Продолжалась в те годы и работа над проблемами первобытнообщинного строя, — но эти проблемы в довоенные годы занимавшие чуть ли не первое место в этнографической тематике, теперь отступили на задний план, что и понятно ввиду чрезвычайной важности и актуальности других, указанных выше вопросов. В эти годы вышли в свет труды видного специалиста по истории и этнографии первобытного общества

²⁴ См., напр.: Д. А. Ольдерогге, Хамитская проблема в африканистане, «Сов. этнография», 1949, № 3; его же, Происхождение народов Центрального Судана (из древнейшей истории языков группы хауса-котоко), «Сов. этнография», 1952, № 2; С. Р. Смирнов, Восстание махдистов в Судане, ТИЭ, т. VI, М.—Л., 1950; его же, Английская политика косвенного управления в юго-восточной Нигерии, «Сов. этнография», 1950, № 3, а также соответствующие разделы в кн.: «Народы Африки», М., 1954. В первые послевоенные годы началась подготовка капитальных трудов, увидевших свет позднее, см.: И. И. Потехин, Формирование национальной общности южноафриканских банту, ТИЭ, т. XXIX, М., 1955; Д. А. Ольдерогге, Западный Судан в XV—XIX веках. Очерки по истории и истории культуры, ТИЭ, т. LIII, М.—Л., 1960.

²⁵ Н. Н. Миклухо-Маклай, Собр. соч., тт. I—V, М.—Л., 1950—1954.

М. О. Косвена²⁶. Можно назвать также ряд работ С. П. Толстова, Ю. М. Лихтенберг, Д. А. Ольдерогге, Н. А. Кислякова, Н. А. Бутинова и других.

С большими и разнообразными задачами, поставленными перед этнографами, нельзя было соразмерить относительно малочисленность в те годы обученных кадров. По некоторым жизненно важным специальностям их совсем не было: не было этнографов-европеистов, не было специалистов по Ближнему Востоку (арабские, иранские и другие народы), почти не было по Индии, по Советской Прибалтике, по республикам Закавказья. Противоречие пытались разрешить или смягчить временной мерой: срочной переквалификацией части старых этнографов на новые специальности. Но это не решало проблему. Поэтому было принято другое решение: срочная и широкая подготовка молодых кадров.

В 1943 г. возобновилась деятельность (также под руководством С. П. Толстова) Кафедры этнографии на Историческом факультете МГУ; открылась Кафедра этнографии и в Ленинградском университете. За 1944—1953 гг. кафедра этнографии МГУ выпустила около 120 молодых специалистов, из которых значительная часть осталась работать в области этнографии. Особенно много молодых ученых втянулось в научную деятельность через аспирантуру. Никогда, ни раньше, ни позже, не имел Институт этнографии столько аспирантов (а также докторантов), как в эти первые послевоенные годы. В 1946 г. аспирантуру при Институте закончило 10 человек, вновь принято в аспирантуру 15 человек; к началу 1947 г. числилось 34 аспиранта и 10 докторантов. В 1949 г. в Институте было уже 37 аспирантов (в том числе в основной аспирантуре — 24). Это была буквально массовая подготовка молодых кадров этнографов по широкому спектру специальностей, — и она была необходима.

Сразу же после войны были предприняты попытки восстановить научные связи советских этнографов с зарубежными коллегами. И не только восстановить, но и расширить их. Эта задача стала особенно актуальной благодаря победе народно-демократического, социалистического строя в ряде стран Юго-Восточной и Центральной Европы. Этнографы в СССР считали делом чести оказание идейной помощи ученым социалистических стран. Совершались поездки в ряд социалистических стран для чтения лекций и докладов, обмена опытом, участия в конференциях. Ученые из братских стран приезжали к нам.

* * *

В начале 1951 г. был подведен некий итог развитию советской этнографии в военные и первые послевоенные годы; в Москве состоялось Всесоюзное этнографическое совещание²⁷. Это был первый, очень представительный, массовый послевоенный форум этнографов. В нем участвовали ученые всех союзных республик, принадлежавшие к 23 национальностям; представлены были 10 Академий наук союзных республик, 9 филиалов Академий наук СССР, 7 университетов, 23 музея. В установочном докладе С. П. Толстова и в некоторых других докладах были подытожены достижения протекших лет, отмечены заслуги этнографов

²⁶ См. работы М. А. Косвена: «Из истории проблемы матриархата», «Сов. этнография», 1946, № 1; «К проблеме группового брака», КСИЭ, вып. 1, М., 1946; «Амазонки (история легенды)», «Сов. этнография», 1947, № 2—3; «Семейная община (к истории вопроса)», «Изв. АН СССР. Серия истории и философии», т. III, № 4, 1948; «Матриархат. История проблемы», М.—Л., 1948; «Очерки истории первобытной культуры», М., 1953.

²⁷ См. Т. А. Жданко, Этнографическое совещание 1951 года, «Сов. этнография», 1951, № 2, стр. 221.

в изучении актуальных проблем, а также выдвинуты новые проблемы, до тех пор почти не привлекавшие внимания этнографов: прежде всего проблемы изучения нового колхозного быта, этнографического изучения городского населения и в особенности — рабочих.

Советская этнографическая наука вступала в новый период.

**THE INSTITUTE OF ETHNOGRAPHY (USSR ACADEMY OF SCIENCES)
DURING THE GREAT PATRIOTIC WAR
AND IN THE FIRST POST-WAR YEARS**

The article deals with the reorganization of the Institute's work in the difficult war years, with the measures taken for restoring war losses, for training specialists in ethnographical research. The basic research fields of the Institute are reviewed. These were: studying the ethnic composition of the population of the world; compiling wide-scope ethnographical studies (it was at that time that work on the «Peoples of the World» series was started); combating racist theories; investigating problems of ethnogenesis, etc. These and other important works were begun (and some of them completed) in those years.

С. И. Брук, М. Н. Губогло

ДВУЯЗЫЧИЕ И СБЛИЖЕНИЕ НАЦИЙ В СССР

(ПО МАТЕРИАЛАМ ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ 1970 г.)

В эпоху развитого социалистического общества со всей силой встает вопрос о расширении исследований национальных отношений и этнических процессов в многонациональном советском обществе. Этот вопрос приобретает особую значимость в свете формирования и функционирования в СССР новой исторической общности — советского народа.

Как известно, эта новая историческая общность многонациональна; но для нее характерны социально-политическое единство, общая территория, единая социалистическая экономика, общие черты духовного облика, единый для всех наций и народностей советский образ жизни. Одна из важных задач советской этнографии — изучение особенностей этой общности, выявление этнических аспектов в ее историческом развитии.

История многонационального советского общества демонстрирует всему миру величие социалистической революции, обеспечившей возможность бурного развития всех национальных культур и языков нашей страны, открывшей дорогу для формирования единой общесоветской культуры и появления единого языка межнационального общения. «За полвека существования СССР, — подчеркивал Л. И. Брежнев, — у нас сложилась и расцвела единая по духу и по своему принципиальному содержанию советская социалистическая культура. Эта культура включает в себя наиболее ценные черты и традиции культуры и быта каждого из народов нашей Родины»¹.

Уровень развития национальной культуры как определенного социального явления зависит от исторически конкретной формы материального производства и обусловленного ею определенного характера общественных отношений. Культурное развитие народов нашей страны в период развитого социализма происходит на основе дальнейшего выравнивания уровней культуры всех наций и народностей СССР, преодоления различий в степени их духовной зрелости. По мере расцвета советских наций и народностей и развития их самобытных культур все большее значение приобретают те вертикальные каналы, по которым воспринимается ценнейший национальный опыт, накопленный предшествующими поколениями. Не менее важная роль принадлежит и горизонтальным каналам, по которым в культурный фонд каждой нации и народности вливается опыт и достижения других народов СССР. Именно здесь, в этих «горизонтальных срезах» и осуществляются те взаимовлияния, из которых складывается все многообразие процесса интернационализации культурно-общественной жизни советских народов. Процессы интернационализации культуры не могут свободно развиваться в обществах, разделенных на антагонистические классы; только социализм открывает этим процессам широкую дорогу. На это обстоятельство неоднократно указывал В. И. Ленин, отмечавший, в частности, что «... вся хозяйст-

¹ Л. И. Брежнев, О пятидесятилетии Союза Советских Социалистических Республик, М., 1972, стр. 21.

венная, политическая и духовная жизнь человечества все более интернационализируется уже при капитализме. Социализм целиком интернационализирует ее². Исключая насильственные методы ломки национальных барьеров, социализм вместе с тем усиливает дружественные межнациональные экономические и культурные связи, утверждает общность экономической жизни, территории, культуры, формирует общие интернациональные черты в быту, психологии, активно стимулирует развитие общественных функций языка межнационального общения и т. д.

В период развитого социализма для этнической ситуации в нашей стране характерны две основные тенденции: с одной стороны, все большая консолидация наций и народностей, развитие национальных культур и языков, с другой — сближение всех народов СССР, распространение элементов общесоветской культуры, широкое распространение русского языка как языка межнационального общения. Усилились процессы этнокультурного взаимодействия между народами исторически сложившихся крупных историко-этнографических областей — Средней Азии, Кавказа, Прибалтики, Поволжья и др.³

В результате индустриализации и все расширяющейся урбанизации усиливаются процессы территориальных передвижений народов и социальных перемещений внутри каждого народа⁴, расширяются границы и сферы человеческой деятельности, увеличивается разнообразие ее форм во всех областях — в производстве, досуге, семейном общении и т. п., растет число смешанных в национальном отношении браков, все более ускоряются темпы культурно-бытового сближения народов СССР. Это сближение сопровождается развитием двуязычия и возрастанием роли русского языка как языка межнационального общения и элементов общесоветской культуры. Вместе с тем не вызывает никакого сомнения, что языковые, культурные и другие различия у народов СССР будут сохраняться еще длительное время.

У различных народов существуют неодинаковые условия приобщения к инонациональному языку, уровень знания и степень употребления второго языка, а также разные реальные потребности в нем. Более того, по степени распространения двуязычия, по формам его существования, по жизненным сферам, где оно реализуется, а также по социально-этническим последствиям этого явления обнаруживаются серьезные различия у одного и того же народа — между сельским и городским населением, между людьми разного пола и разных поколений, между различными социально-профессиональными группами. Отсюда возникает потребность самого тщательного изучения важнейших тенденций развития двуязычия в советском обществе, роли двуязычия в процессах сближения наций и народностей СССР.

Исследование процессов двуязычия прежде всего требует пояснения смысловой нагрузки самого этого термина. Окончательно установившегося взгляда на этот счет в науке не существует, так как авторы, как правило, исходят из различных, порой несопоставимых методологических предпосылок. Чаще всего в лингвистической литературе под двуязычием подразумевается «более или менее одинаковое владение двумя языками», или «знание в совершенстве как исконого, родного, так и второго языка», «пользование двумя языками» и т. д. Для теоретических и практических задач изучения этнических процессов наиболее приемлемой представляется точка зрения, согласно которой за объективную основу принимается сам факт общения и обмена мыслями между людьми разных национальностей. При этом степени владения вторым языком, на

² В. И. Ленин, Полн. собр. соч., т. 23, стр. 318.

³ С. И. Брук, Национальность и язык в переписи населения 1970 г., «Вестник статистики», 1972, № 5, стр. 42.

⁴ См. об этом подробнее: М. Н. Руткевич, Ф. Р. Филиппов, Социальные перемещения, М., 1970.

котором осуществляется коммуникативный акт, не придается решающего значения. Речь идет о таком знании второго языка, которое достаточно для установления контакта с лицом другой национальности и согласования действий в различных сферах жизни⁵.

Среди многочисленных аспектов двуязычия, понимаемого здесь прежде всего как двуязычие массовое, этносоциологический является одним из наиболее важных по той причине, что общественная функция языка проявляется особенно ярко как в речевом поведении отдельного человека, так и во всех сферах жизни любой этнической общности. Такой подход к изучению двуязычия и процессов языкового развития и взаимодействия получает широкое распространение в советских этнографических исследованиях⁶, что объясняется тремя основными причинами: во-первых, постоянным расширяющимся изучением современных этнических процессов, исследуемых как в масштабах всей страны, так и отдельных регионов, во-вторых последовательным совершенствованием методов социологических обследований и методов количественного анализа массовых этнографических источников, и, в-третьих, широким вовлечением в поле зрения этнографической науки сравнительно нового объекта изучения — речевого поведения человека. Фактически на наших глазах создается новая, относительно автономная область исследований, включающая изучение языковой структуры, общественных функций взаимодействующих языков, а также исследование речевого поведения представителей различных народов.

Важным источником, позволяющим изучать этнолингвистические процессы, служат материалы переписей населения. Все переписи населения СССР включали в число своих основных задач определение национального и языкового состава страны. Программа же последней переписи (1970 г.) была дополнена еще и вопросом о свободном владении вторым языком народов СССР. Надежность получаемых при проведении переписей сведений обуславливается тем, что определение национальной и языковой принадлежности населения основывается на самосознании опрашиваемых.

Материалы переписи населения 1926 г. характеризуют прежде всего итоги этнолингвистических процессов в дореволюционный период, развивавшихся, как известно, в двух качественно различных формах. В основе одной из них было приобщение нерусских народов к русскому языку естественным путем, по своей доброй воле; в основе другой лежала шовинистическая национальная политика царизма, с помощью которой правящая верхушка пыталась искусственно распространять русский язык среди представителей нерусских народов. Материалы этой же переписи дают представление и о тех языковых процессах, которые имели место в нашей стране в первые годы Советской власти.

Из-за отсутствия в переписи 1926 года данных о распространении двуязычия, воспользуемся ее материалами о признании родным языка другой национальности, имея в виду, что оба указанных явления — переход на другой язык и знание второго языка — тесно связаны между собой. Народы, у которых высок удельный вес лиц, перешедших на дру-

⁵ Изучение степени владения другим языком предполагает разработку критериев определения знания первого и второго языка лицами разных национальностей. Для такого изучения необходимы специальные лингвистические исследования (анализ магнитофонных записей беглой речи, сопоставление фонетических, орфографических и синтаксических ошибок в изложениях и диктантах и т. д.). Это, конечно, важная и необходимая работа, но она входит в предметную область лингвистики. При общей слабой изученности двуязычия пока еще нет возможности совместить узко лингвистический аспект данного явления с исследованием его более широких социологических параметров. Следовательно, смещая акцент со степени владения вторым языком в плоскость использования языка, мы тем самым выносим на передний план практические задачи изучения двуязычия в связи с проблемами развития и сближения наций в СССР.

⁶ См. подробнее: «Социальное и национальное», М., 1973, гл. IV.

гой язык, имеют, как правило, также и высокий удельный вес лиц, знающих другой язык⁷.

Среди горожан — представителей коренных национальностей союзных и автономных республик — в 1926 г. наибольшая доля лиц, указавших русский своим родным языком, была у белорусов (60,5%), мордвы (35,3%), украинцев (34,4%), карел (27,6%), чувашей (17,1%), удмуртов (13,9%), марийцев (12,0%). И в сельской местности некоторые из перечисленных народов по этому показателю также выделялись (хотя там доля перешедших на другой язык была несравненно меньше: у белорусов — 23,8%, украинцев — 10,0%, мордвы — 6,8%, карел — 3,7%)⁸. Наименьшей доля лиц, сменивших язык своей национальности на русский язык, была у таджиков, узбеков, туркмен, казахов, киргизов, азербайджанцев, балкарцев. В целом же у большинства коренных народов Средней Азии, Кавказа, Сибири знание русского языка было ничтожно малым⁹. Об этом косвенно свидетельствует тот факт, что русский язык стал родным только для двух человек из 830 тыс. сельских таджиков и для 39 человек из 3,2 млн. сельских узбеков.

Октябрьская революция, утвердив равноправие языков, создала принципиально новые условия для действительно свободного распространения двуязычия. И сейчас уже можно констатировать, что одним из важных факторов формирования советского народа как новой исторической общности было и остается становление и развитие двуязычия. Первостепенную роль в этом процессе играет широкое распространение русского языка среди нерусских народов и расширение его общественных функций. Исторически прогрессивный характер распространения русского языка и развития двуязычия были подчеркнуты в новой Программе КПСС: «Происходящий в жизни процесс добровольного изучения, наряду с родным языком, русского языка имеет положительное значение, так как это содействует взаимному обмену опытом и приобщению каждой нации и народности к культурным достижениям всех других народов СССР и к мировой культуре. Русский язык фактически стал общим языком межнационального общения и сотрудничества всех народов СССР»¹⁰.

За 32 года, истекшие между переписями 1926 и 1959 гг.¹¹, число лиц нерусской национальности, указавших русский язык своим родным языком, увеличилось на 3,3 млн. чел., а за 11 лет между переписями 1959 и 1970 гг. — на 2,8 млн. чел. Это свидетельствует о том, что процесс перехода значительных групп различных народов на русский язык развивается все более интенсивно.

В табл. 1 приведены данные, по которым можно судить о степени несовпадения показателей национальности и родного языка у разных групп населения в 1970 г. Если же не учитывать русских, среди которых лишь 203,8 тыс. указали родным язык не своей национальности (т. е. всего 0,16% их общей численности), то масштабы перехода на язык другой национальности у остальных народов СССР значительно возрастут.

В городах население переходит на язык другой национальности несравненно быстрее, чем в сельской местности. Более правильное представление об этом дает табл. 2, где учтено только нерусское население, на долю которого падает подавляющая часть перешедших на другой

⁷ С. И. Брук, Этнодемографические процессы в СССР (по материалам переписи 1970 г.), «Сов. этнография», 1971, № 4, стр. 30; М. Н. Губогло, Социально-этнические последствия двуязычия, «Сов. этнография», 1972, № 2, стр. 26—30.

⁸ «Всеобщая перепись населения 1926 г.», т. XVII, М., 1929, стр. 14—24.

⁹ М. Н. Губогло, Взаимодействие языков и межнациональные отношения в советском обществе, «История СССР», 1970, № 6, стр. 26—27.

¹⁰ «Программа Коммунистической партии Советского Союза», М., 1962, стр. 247—248.

¹¹ Перепись 1926 г. проводилась в декабре, а перепись 1959 г. — в январе.

Таблица 1

Число и доля лиц, считающих родным язык не своей национальности *

Население по категориям	Общая численность	В том числе считают родным язык не своей национальности					
		русский	другой	итого	русский	другой	итого
		в тыс. человек			в процентах		
Все население	241 720,1	13 019,2	1819,2	14 838,4	5,4	0,7	6,1
в том числе:							
горожане	135 991,5	10 645,2	656,8	11 302,0	7,8	0,5	8,3
сельские жители	105 728,6	2 374,0	1162,4	3 536,4	2,2	1,1	3,3
мужчины	111 399,4	6 497,0	837,3	7 334,3	5,8	0,8	6,6
женщины	130 320,7	6 522,2	981,9	7 504,1	5,0	0,8	5,8

* Таблица составлена по: «ЦСУ СССР. Итоги Всесоюзной переписи населения 1970 года», т. IV, М., 1973, стр. 20—42.

Таблица 2

Число и доля лиц (среди нерусского населения), считающих родным язык не своей национальности *

Нерусское население по категориям	Общая численность	В том числе считают родным язык не своей национальности					
		русский	другой	итого	русский	другой	итого
		в тыс. человек			в процентах		
Все нерусское население	112 705,0	13 019,2	1615,4	14 634,6	11,6	1,4	13,0
в том числе:							
горожане	48 271,3	10 645,2	535,3	11 180,5	22,1	1,1	23,2
сельские жители	64 433,7	2 374,0	1080,1	3 454,1	3,7	1,7	5,4
мужчины	53 075,9	6 497,0	741,5	7 238,5	12,2	1,4	13,6
женщины	59 629,1	6 522,2	873,9	7 396,1	10,9	1,5	12,4

* Составлена по: «ЦСУ СССР. Итоги...» стр. 20—42.

Таблица 3

Доля лиц, указавших родным язык своей национальности (в %)*

Народ	В пределах своей республики	Вне пределов своей республики	Народ	В пределах своей республики	Вне пределов своей республики
Украинцы	91,4	48,4	Эстонцы	99,2	53,5
Белорусы	90,1	40,8	Татары	98,4	85,9
Армяне	99,8	77,8	Чуваши	94,5	79,1
Молдаване	97,7	79,0	Мордва	96,2	70,4
Литовцы	99,5	72,0	Удмурты	87,7	71,4
Латыши	98,1	51,4			

* Составлена по: «ЦСУ СССР. Итоги...», стр. 43—320.

Доля лиц, указавших родным язык своей национальности (по типам государственного устройства) (в %) *

Народы (по типу государственного устройства)	В целом по стране	В пределах своих республик и автономных областей	За пределами своих республик и автономных областей
Народы, образующие союзные республики	95,9	97,8	86,2
То же, без русских	90,2	94,6	65,7
Народы, образующие автономные республики и автономные области	79,4	92,3	68,1
Народы, не образующие своих автономий	60,7	—	—
В среднем по стране	93,9	97,5	82,1
То же, без русских	87,0	94,3	66,7

* Составлена по: «ЦСУ СССР. Итоги...», стр. 43—320.

язык. Горожан среди нерусского населения — всего 42,8% ¹² (среди русских — 68,0%), но на их долю приходится 76,4% всех лиц, считающих родным язык не своей национальности. В целом же в городах почти четверть всего нерусского населения указало родным язык не своей национальности (главным образом русский), а в сельской местности лишь немногим более двадцатой части. Бросается в глаза и то, что среди этой категории сельского населения (т. е. лиц, указавших родным язык не своей национальности) высока доля лиц с нерусским родным языком ¹³.

Мужчины несколько чаще признают родным язык другой национальности, чем женщины, хотя особенно большого различия здесь не обнаруживается.

Сильно колеблются эти показатели по отдельным народам. Если среди белорусов насчитывается 19,4% и среди украинцев — 14,3% лиц, перешедших на другой язык ¹⁴, то среди коренных народов Средней Азии и Казахстана, Грузии и Азербайджана их менее 2,0%. Еще большие колебания характерны для народов, не образующих союзные республики. Ниже приводится численность (в тыс. человек) наиболее крупных групп нерусской национальности, назвавших родным языком русский: украинцы — 5817,3, белорусы — 1718,4, евреи — 1682,8, татары — 607,6, немцы — 604,2, мордва — 278,9, армяне — 268,8, поляки — 241,8, чуваша — 219,7, греки — 166,6, удмурты — 121,3, молдаване — 113,4, корейцы — 111,9 и т. д.; кроме того, назвали родным язык не своей национальности и не русским 546,3 тыс. поляков (гл. образом белорусский и украинский языки), 363,0 тыс. башкир (татарский), 203,8 тыс. русских (украинский) и т. д.

Наибольшие расхождения между национальностью и родным языком наблюдаются у групп, живущих за пределами своих республик или

¹² Этот средний процент также не отражает действительного положения вещей. Колебания по отдельным народам очень велики. Если армян среди городских жителей 64,8%, эстонцев 55,1, татар — 55,0, осетин — 53,3, латышей — 52,7, то среди киргизов горожан — только 14,6, молдаван — 20,4, марийцев — 20,5, чеченцев — 21,8, узбеков — 24,9% и т. д. Понятно, что и доля перешедших со своего родного языка на язык других национальностей и доля двуязычных (как это мы увидим ниже) в значительной мере зависит от степени урбанизованности того или иного народа.

¹³ Из числа нерусского населения, указавшего родным язык не своей национальности, русский язык считает родным в городах — 95,3%, а в сельской местности — только 68,5%.

¹⁴ Уменьшение доли с 1926 по 1970 г. указавших в качестве родного язык не своей национальности у белорусов (с 28,1 до 19,4%) и весьма незначительный рост этой доли у украинцев (с 12,9 до 14,3%) объясняется воссоединением в 1939 г. западнобелорусских и западноукраинских земель (подавляющее большинство белорусов и украинцев этих регионов указало в 1970 г. своим родным языком соответственно белорусский и украинский).

автономных областей. Это ясно видно из табл. 3; в ней приведены данные о доле лиц, назвавших родным язык своей национальности, по отдельным крупным народам, у которых за пределами своих республик расцелены значительные группы.

Довольно сильно разнится и доля лиц, указавших родным язык своей национальности (в пределах своих республик и автономных областей и за их пределами) в зависимости от типа государственного устройства (см. табл. 4).

В целом же жизнь в инациональной среде, в отрыве от своего основного этнического массива, является важнейшим фактором постепенного перехода различных групп на языки других народов и признания их родными; особенно быстро этот переход, главным образом на русский язык, происходит в городах. Нельзя не отметить и тот факт, что наиболее высок процент лиц, указавших родным язык другой национальности, у народов, расселенных дисперсно и (вследствие этого) не образующих своих автономий. Чем больше превышает инациональная среда численность лиц данной национальности, тем скорее последние приобщаются ко второму языку и указывают его своим родным языком¹⁵.

* * *

Как уже было сказано, перепись населения 1970 г. впервые дала возможность определить масштабы приобщения народов СССР ко второму языку и особенно к русскому. Общее число свободно владеющих русским языком в СССР составляет 183 768,6 тыс. чел. (в том числе родным он является для 141 830,6 тыс. и вторым — для 41 938,0 тыс. чел.)¹⁶ или 76,0% всего населения. Если же взять только нерусское население, то русским языком свободно владеют 54 845,2 тыс. чел., т. е. 48,7% его общей численности. Об основных показателях двуязычия у разных групп населения можно судить по табл. 5 и 6.

Как и в случае со сменой родного языка, более наглядное представление о масштабах распространения двуязычия дают показатели по нерусским народам, поскольку среди русских двуязычие составляет всего 3,1% (см. табл. 6).

Свободное владение вторым языком особенно характерно для городских жителей и несколько шире распространено среди мужчин, чем среди женщин.

Наибольшее развитие в нашей стране получило двуязычие такого типа, когда вторым языком является русский. Вместе с тем, в отдельных районах население хорошо знает и языки других народов СССР. В табл. 7 приводятся данные о том, насколько широко используются различные языки в качестве «вторых».

Интересно отметить, что разные типы двуязычия не замыкаются в пределах соответствующих республик. Так, из 5618,8 тыс. чел., указавших на свободное владение украинским языком в качестве второго языка, на УССР приходится 4430,7 тыс., РСФСР — 908,0 тыс., Казахскую ССР — 98,0 тыс., Молдавскую — 59,0 тыс., Белорусскую — 45,4 тыс., Узбекскую — 19,8 тыс. и т. д. В качестве второго на Украине довольно широко распространены молдавский и белорусский, в Узбекистане — таджикский, татарский, казахский, в Грузии — армянский и азербайджанский языки и т. д.

Общая небольшая доля двуязычных может создать неправильное представление о слабом распространении второго языка у всех групп русских. На самом деле картина иная. В РСФСР, где они живут компактными группами и в большинстве районов мало контактируют с представителями других народов, двуязычие у русских действительно

¹⁵ См. М. Н. Губогло, О влиянии расселения на языковые процессы, «Сов. этнография», 1969, № 5, стр. 16—29.

¹⁶ «ЦСУ СССР. Итоги...», стр. 331.

Число и доля лиц, свободно владеющих вторым языком народов СССР *

Население по категориям	Общая численность	Свободно владеют вторым языком народов СССР							
		русским	своей национальности	другим	и т о г о	русским	своей национальности	другим	и т о г о
		тыс. чел.				в %			
Все население	241 720,1	41 815,9	4 007,4	6 353,5	52 176,8	17,3	1,7	2,6	21,6
в том числе:									
горожане	135 991,5	22 651,9	3 488,2	4 446,2	30 586,3	16,7	2,6	3,3	22,6
сельские жители	105 728,6	19 164,0	519,2	1 907,3	21 590,5	18,1	0,5	1,8	20,4
мужчины	111 399,4	21 659,1	1 988,1	3 084,4	26 731,6	19,4	1,8	2,8	24,0
женщины	130 320,7	20 156,8	2 019,3	3 269,1	25 445,2	15,5	1,5	2,5	19,5

* Составлена по: «ЦСУ СССР. Итоги...», стр. 20—42.

Таблица 6

Число и доля лиц (среди нерусского населения), свободно владеющих вторым языком народов СССР *

Нерусское население по категориям	Общая численность	Свободно владеют вторым языком народов СССР							
		русским	своей национальности	другим	и т о г о	русским	своей национальности	другим	и т о г о
		в тыс. чел.				в %			
Все нерусское население	112 705,0	41 816,0	3 885,3	2 476,8	48 178,1	37,1	3,4	2,2	42,7
в том числе:									
горожане	48 271,3	22 652,0	3 408,5	1 250,8	27 311,3	46,9	7,1	2,6	56,6
сельские жители	64 433,7	19 164,0	476,8	1 226,0	20 866,8	29,7	0,7	1,9	32,3
мужчины	53 075,9	21 659,2	1 932,2	1 202,7	24 794,1	40,8	3,6	2,3	46,7
женщины	59 629,1	20 156,8	1 953,1	1 274,1	23 384,0	33,8	3,3	2,1	39,2

* Составлена по: «ЦСУ СССР. Итоги...», стр. 20—42.

Таблица 7

Число лиц, указавших данный язык вторым языком народов СССР, которым они свободно владеют *

Язык	В тыс. чел.	Язык	В тыс. чел.
Русский	41 938,0	Армянский	147,7
Украинский	5 618,8	Казахский	146,1
Белорусский	903,0	Мордовский	94,0
Узбекский	543,0	Чувашский	76,9
Татарский	344,4	Эстонский	69,5
Молдавский	283,4	Удмуртский	51,3
Азербайджанский	263,2	Туркменский	51,0
Таджикский	261,2	Киргизский	41,5
Латышский	215,4	Другие языки	785,8
Грузинский	190,1		
Литовский	152,5	И т о г о	52 176,8

* Составлена по: «ЦСУ СССР. Итоги...», стр. 331—359.

редкое явление (в среднем по республике — 0,6%, главным образом в пределах автономных республик и автономных областей). В то же время за пределами РСФСР процент русских, указавших на свободное владение другим языком народов СССР, достигает 15,8, а в Литве, на Украине, Белоруссии и Армении — от 25 до 30% всех живущих там русских. Лишь в республиках Средней Азии и в Казахстане их доля снова резко уменьшается — до 2—5%; одна из причин этого — сравнительно низкий процент городского населения среди основных народов,

Свободное владение вторым языком народов СССР (в процентах от общей численности народа) *

Народы	Языками		Всего	Народы	Языками		Всего
	русским	другим			русским	другим	
I. Народы, образующие союзные республики							
Русские	0,1 **	3,0	3,1	Молдаване	36,1	3,6	39,7
Украинцы	36,3	6,0	42,3	Литовцы	35,9	1,9	37,8
Узбеки	14,5	3,3	17,8	Таджики	15,4	12,0	27,4
Белорусы	49,0	7,3	56,3	Туркмены	15,4	1,3	16,7
Казахи	41,8	1,8	43,6	Киргизы	19,1	3,3	22,4
Азербайджанцы	16,6	2,5	19,1	Латыши	45,2	2,4	47,6
Армяне	30,1	6,0	36,1	Эстонцы	29,0	2,0	31,0
Грузины	21,3	1,0	22,3	В среднем	13,3	3,6	16,9
				То же, без русских	32,8	5,0	37,8
II. Народы, образующие автономные республики, автономные области и национальные округа							
Татары	62,5	5,3	67,8	Каракалпаки	10,4	3,6	14,0
Евреи	16,3	28,8	45,1	Ингуши	71,2	0,9	72,1
Чуваши	58,4	5,5	63,9	Народности Сибири, Севера и Дальнего Востока	52,5	7,1	59,6
Народности Дагестана	41,7	8,9	50,6	Карелы	59,1	15,1	74,2
Мордва	65,7	8,1	73,8	Тувинцы	38,9	0,4	39,3
Башкиры	53,3	2,6	55,9	Калмыки	81,1	1,5	82,6
Удмурты	63,3	6,9	70,2	Карачаевцы	67,6	1,2	68,8
Чеченцы	66,7	1,0	67,7	Адыгейцы	67,9	1,4	69,3
Марийцы	62,4	6,2	68,6	Абхазы	59,2	2,8	62,0
Осетины	58,6	10,7	69,3	Хакасы	65,5	3,4	68,9
Коми	64,8	5,2	70,0	Балкарцы	71,5	2,5	74,0
и коми-пермяки	66,7	2,7	69,4	Алтайцы	54,9	3,2	58,1
Буряты	41,7	1,1	42,8	Черкесы	70,0	2,5	72,5
Якуты	71,4	0,8	72,2	В среднем	54,3	8,0	62,3
Кабардинцы							
III. Народы, не образующие своих автономий							
Немцы	59,6	1,1	60,7	Гагаузы	63,3	8,6	71,9
Поляки	37,0	12,7	49,7	Румыны	28,5	16,3	44,8
Корейцы	50,3	1,7	52,0	Курды	19,9	36,2	56,1
Болгары	58,8	7,9	66,7	Финны	47,0	8,5	55,5
Греки	35,4	14,5	49,9	Дунгане	48,0	5,7	53,7
Цыгане	53,0	16,4	69,4	Удины	36,4	32,6	69,0
Уйгуры	35,6	9,5	45,1	Караймы	11,3	21,4	32,7
Венгры	25,8	9,8	35,6	Эскимосы	50,5	3,4	53,9
Иранцы (персы)	33,9	12,7	46,6	Ижорцы	24,5	32,0	56,5
Абазины	69,5	6,1	75,6	Тофы	48,7	4,5	53,2
Ассирийцы	46,2	14,7	60,9	Алеуты	18,8	1,8	20,6
Таты	57,7	15,3	73,0	В среднем	48,2	7,9	56,1
Шорцы	59,8	5,9	65,7	В среднем у народов СССР	17,3	4,3	21,6
Белуджи	2,9	40,4	43,3				
Словаки	39,3	31,3	70,6				
Вепсы	32,8	16,4	49,2				

* Составлено по: «ЦСУ СССР. Итоги...», стр. 9—11.

** Для этой группы русских родной язык — нерусский.

образующих эти республики (в среднем — 25,2%). Особенно велика доля двуязычных у русских, живущих небольшими группами в районах с резким преобладанием какой-либо другой национальности. В этих случаях доля русских, знающих язык основной национальности, почти равна доле представителей этой национальности, знающих русский

язык (см. табл. 10). Таким образом, двуязычие в советских условиях — это не только приобщение к русскому языку. Русские, живущие в интонациональной среде, также активно участвуют в этом процессе. Это лишний раз подтверждает добровольный характер приобщения одних народов к языкам других народов и формирования взаимного двуязычия в широких масштабах.

Данные о свободном владении вторым языком среди различных народов приводятся в табл. 8.

Обнаруживается достаточно тесная связь между масштабами развития двуязычия и формой национально-государственного устройства. Среди коренных народов союзных республик доля лиц, свободно владеющих русским языком, в целом значительно меньше, чем у народов, образующих иную форму национальной государственности или вообще ее не образующих. Например, у двух третей коренных народов автономных республик, у четырех пятых коренных народов автономных областей и национальных округов, а также у большинства народов, не образующих своих автономий, доля двуязычного населения с русским языком в качестве второго языка превышает половину численности всего народа (у калмыков, балкарцев, кабардинцев, ингушей она достигает более 70% общей численности народа, у черкесов, абазин, адыгейцев, карачаевцев, чеченцев, бурят, мордвы, коми, хакасов, удмуртов, гагаузов, татар, марийцев — составляет 60—70%). В то же время среди коренных национальностей союзных республик только у белорусов доля лиц с указанной языковой характеристикой составляет 49,0%; у всех остальных народов этих республик свободное владение вторым языком распространено меньше.

По формам и масштабам двуязычия и его функциональной роли в жизни народа крупные нации заметно отличаются от малочисленных народностей. У последних, в частности, широко распространено двуязычие с использованием в качестве второго какого-либо другого (т. е. не русского) языка народов СССР. Так, у курдов свободно владеют русским языком 19,9, а каким-либо другим языком — 36,2%; у лезгин соответственно 31,6 и 22,3, у цыган — 53,0 и 16,4, у греков — 35,4 и 14,5, у рутульцев — 30,7 и 18,8, у цахуров — 12,2 и 43,5%; среди многих представителей этих народностей распространено трехязычие.

Колебания в распространении двуязычия среди коренных национальностей союзных республик меньше, чем среди остальных народов. Об этом свидетельствует меньший размах вариаций у первых, по сравнению со вторыми. Свободное владение русским языком у национальностей союзных республик варьирует от 14,5 у узбеков до 49,0% у белорусов (размах вариаций равен 34,5%). Среди коренных народов автономных республик вариabельность в два раза выше; она колеблется от 10,4 у каракалпаков до 81,1% у калмыков (размах вариаций — 70,7%). Среди народностей автономных областей и национальных округов, а также среди остальных народов она также весьма значительна. Эти факты говорят о том, что языковая жизнь малочисленных народов и особенно тех из них, которые расселены разбросанно, находится в большей зависимости от их этнолингвистического окружения. Во всех таких случаях соответственно возрастают потребность во втором языке и функциональное значение двуязычия.

Интересно проанализировать структуру группы в 10 360,9 тыс. человек, указавшей на свободное владение вторым языком народов СССР, кроме русского. Почти 40% ее численного состава (4007,4 тыс. человек) — это лица, которые в качестве второго языка указали язык своей собственной национальности¹⁷ (их родной язык уже не совпадает с нацио-

¹⁷ В их числе 2273,5 тыс. украинцев, 571,4 тыс. белорусов, 222,3 тыс. татар, 166,6 тыс. евреев, 122 тыс. русских, 97,7 тыс. мордвы, 80,3 тыс. армян, 68,5 тыс. чувашей и т. д.

нальностью). Ясно, что для всех этих лиц характерна незавершенность этнической трансформации. Остальные, более 60% (6353,5 тыс. человек)¹⁸, — это представители различных народов, длительное время живущие в инонациональной среде за пределами чисто русских областей (например, русские на Украине, таджики в Узбекистане, армяне в Грузии и др.).

Анализ материалов переписи населения позволяет выявить влияние расселения и прежде всего этнической среды на распространение двуязычия. Как и в случае со сменой родного языка, в его распространении наблюдаются значительные различия между основными частями народов, живущими в своих республиках и автономных областях, и группами, расселенными за их пределами. Но в данном случае подобные различия не столь значительны (см. табл. 9).

При переходе к мелким административно-территориальным единицам (в рамках которых чаще всего происходят непосредственные контакты между людьми различных национальностей) отчетливо вырисовывается воздействие микросреды на распространение двуязычия. Для анализа такого воздействия целесообразно выбрать республику с достаточно сложным национальным составом населения, где, однако, основная национальность в значительном числе районов расселена компактно. Таким требованиям соответствует Молдавская ССР, где молдаване составляют 64,6% всего населения, украинцы — 14,2, русские — 11,6, гагаузы — 3,5, болгары — 2,1%. Доля двуязычных с вторым русским языком среди молдаван — 33,9%, украинцев — 39,5, гагаузов — 62,0, болгар — 70,3%, с вторым молдавским языком среди русских — 13,3%; украинцев — 15,9, гагаузов — 8,2, болгар — 7,6%. Путем группировки административных районов Молдавии по удельному весу той или иной национальности, в республике выделено семь типов этнических сред (см. табл. 10).

Данные табл. 10 неоспоримо свидетельствуют о большом влиянии микросреды на распространение двуязычия. Общие закономерности развития двуязычия у молдаван заключаются в том, что в «своей» этнической среде масштабы овладения русским языком в целом меньше, чем в остальных типах этнических сред. Овладение молдаванами русским языком и русскими — молдавским в молдавской этнической среде происходит в относительно одинаковых масштабах. Сравнительно небольшая разница между долей двуязычных русских и молдаван (5,5% в I группе районов и 11,7% — во II) дает основание сделать вывод о «взаимном» характере масштабов двуязычия¹⁹.

Отсутствие сведений о динамике двуязычия (лишь перепись населения 1970 г. впервые учитывала это явление) в какой-то мере затрудняет анализ причин, оказывающих решающее влияние на его распространение. Однако, располагая данными о распространении двуязычия в различных возрастных группах, мы имеем возможность ретроспективно установить основную тенденцию развития этого явления. В обобщенном виде эти данные представлены в табл. 11.

В табл. 11 отражены процессы все большего распространения двуязычия в СССР. Свободно владеющие вторым языком народов СССР среди лиц, родившихся до Октябрьской революции, составляют менее трети всего нерусского населения страны; в возрасте же 20—29 лет их доля в два раза выше. В распространении двуязычия, наряду со школой, важную роль играет общение на производстве и служба в армии, о чем свидетельствует довольно резкое возрастание доли двуязычных

¹⁸ В их числе 3876,7 тыс. русских, 452,6 тыс. евреев, 281,1 тыс. узбеков, 249,7 тыс. таджиков, 179,1 тыс. украинцев, 147,7 тыс. поляков, 132,7 тыс. армян и т. д.

¹⁹ Разумеется, эту тенденцию не следует абсолютизировать. Высокая доля русских, овладевших молдавским языком, объясняется тем, что их численность здесь невелика (в I группе районов русских в 20 раз и во II группе — в 12 раз меньше, чем молдаван).

Доля двуязычного населения (в %) *

Народы (по типам государственного устройства)	В пределах своих республик и автономных областей	За пределами своих республик и автономных областей
Народы, образующие союзные республики	14,9	29,3
То же, без русских	35,4	50,8
Народы, образующие автономные республики и автономные области	58,2	67,2
В среднем по стране	16,9	37,6
То же, без русских	37,8	57,4

* Составлена по: «ЦСУ СССР. Итоги...», стр. 43 — 320.

Таблица 10

Двуязычие у молдавского и русского населения Молдавской ССР в различных типах этнических сред (в %) *

Районы	Удельный вес основной национальности	Молдаване, свободно владеющие русским языком	Русские, свободно владеющие молдавским языком	Районы	Удельный вес основной национальности	Молдаване, свободно владеющие русским языком	Русские, свободно владеющие молдавским языком
I. Молдавская этнически однородная среда				Каменский	62,8	37,1	9,3
Ниспоренский	96,0	21,8	37,8	Кагульский	62,7	36,1	22,9
Теленештский	93,0	19,2	36,0	Средний %	71,0	31,0	19,3
Резинский	90,6	22,2	24,9	III. Молдавская этнически смешанная среда			
Страшенский	90,3	30,7	17,1	Дубоссарский	58,3	52,4	14,1
Каларашский	88,2	23,5	22,4	Тираспольский			
Криулянский	88,1	30,4	17,2	(Слободзейский)	51,2	59,8	16,8
Котовский	87,5	23,8	26,8	Средний %	54,0	56,7	16,0
Оргеевский	87,3	28,8	24,2	IV. Молдавско-гагаузская этническая среда			
Суворовский	86,8	30,5	28,6	Вулканештский	49,7	31,6	14,7
Ново-Анненский	83,8	29,4	16,7	V. Гагаузско-молдавская этническая среда			
Унгенский	81,5	29,5	19,4	Комратский	55,0 (гагаузы)	26,3	8,2
Сорокский	81,0	31,3	17,7	VI. Гагаузско-болгарская этническая среда			
Каушанский	81,0	29,8	17,7	Чадыр-Лунгский	53,7 (гагаузы)	61,8	5,7
Средний %	87,4	26,9	21,4	VII. Украинско-молдавская этническая среда			
II. Молдавская этнически неоднородная среда				Рыбницкий	48,4 (украинцы)	59,2	4,1
Леовский	78,1	28,9	23,6				
Флорештский	78,1	28,1	16,2				
Лазовский	76,1	26,1	12,0				
Дрокиевский	76,1	26,5	18,6				
Фалештский	74,9	32,3	20,0				
Рышканский	74,5	25,8	24,5				
Чимишлийский	72,7	25,9	25,3				
Глодянский	70,0	30,3	22,5				
Бричанский	66,8	32,8	18,1				
Дондюшанский	65,8	40,9	15,4				
Единецкий	65,3	34,3	20,4				

* См.: М. Н. Губогло, В. С. Кондратьев, В. С. Зеленчук, Опыт выделения этнических сред и построение выборки в этносоциологическом исследовании (по материалам Молдавской ССР), «Изв. АН МССР. Серия общественных наук», 1974, № 1, стр. 31 — 37.

Таблица 11

Распространение двуязычия в различных возрастных группах (в %) *

Народы (по типам государственного устройства)	Возраст						
	до 10 лет	11—19 лет	20—29 лет	30—39 лет	40—49 лет	50—59 лет	60 лет и старше
Народы, образующие союзные республики	4,9	21,1	27,8	22,9	19,4	14,7	10,8
То же, без русских	9,3	47,5	64,5	54,1	46,6	35,1	23,2
Народы, образующие автономные республики и автономные области	30,7	75,3	82,8	80,4	77,0	63,8	49,0
В среднем по стране	6,8	24,9	30,9	26,5	22,6	17,4	13,0
То же, без русских	12,5	52,0	66,9	58,1	50,7	39,0	26,4

* При составлении таблицы учтено примерно 87% всего населения СССР. В ней отсутствуют данные: 1) по народам, не образующим каких-либо национальных автономий; 2) по группам народов, образующих автономные республики и области, но живущих за пределами своих союзных республик (например, татары в республиках Средней Азии, или народы Дагестана в Азербайджане); 3) по категории населения, которая при определении двуязычия не была распределена по возрасту (свыше 1,5 млн. чел.). Таблица составлена по: «ЦСУ СССР. Итоги . . .», стр. 360—382.

Таблица 12

Распространение двуязычия в различных возрастных группах по народам, образующим союзные республики. (в %) *

Народы	Возраст						
	до 10 лет	11—19 лет	20—29 лет	30—39 лет	40—49 лет	50—59 лет	60 лет и старше
Русские	0,9	4,2	4,8	3,6	3,46	2,9	1,9
Украинцы	10,2	57,8	69,4	57,1	48,4	35,4	22,9
Белорусы	18,0	75,6	80,1	71,8	66,3	53,6	35,1
Узбеки	4,4	23,2	39,9	31,1	26,6	18,3	8,3
Казахи	19,7	62,6	74,6	67,0	58,7	39,7	19,7
Грузины	3,7	17,1	34,8	32,0	30,4	26,0	15,9
Азербайджанцы	4,8	20,6	38,7	30,9	31,6	23,3	10,4
Литовцы	4,2	39,8	72,2	58,4	43,1	28,2	23,6
Молдаване	7,5	43,8	67,6	56,9	45,0	32,4	29,8
Латыши	9,6	49,0	75,3	68,5	52,6	40,0	41,1
Киргизы	6,3	32,8	52,1	37,6	30,7	17,8	6,8
Таджики	6,0	35,3	53,1	48,4	44,7	35,0	27,3
Армяне	9,3	30,7	56,0	51,7	52,5	46,0	33,6
Туркмены	3,5	20,6	37,2	29,7	25,0	14,8	5,4
Эстонцы	3,4	25,2	59,9	46,5	28,5	17,7	23,6

* Составлена по: «ЦСУ СССР. Итоги . . .», стр. 360—382. Данные по русским, украинцам и белорусам приводятся по всей территории СССР. По остальным народам — по территории соответствующей союзной республики и другим районам, где они проживают крупными группами (по этим народам разработкой охвачено от 93 до 99% населения).

при переходе из возрастной группы 11—19 лет в следующую возрастную группу.

В целом та же тенденция выявляется и при анализе распространения двуязычия у каждого народа в отдельности. Для примера рассмотрим народы, образующие союзные республики (см. табл. 12).

В возрасте до 10 лет двуязычие, как и следовало ожидать, распространено слабо почти у всех народов. Исключение составляют лишь казахи (для которых более всего характерно смешанное расселение с русскими в сельских местностях) и белорусы. Нетрудно объяснить и резко пониженную долю двуязычных среди людей старше 60 лет (т. е. родившихся до Октябрьской революции) у народов Средней Азии и Азербайджана; немаловажную роль сыграла здесь почти поголовная

неграмотность этих народов до революции, низкий процент городского населения в соответствующих районах, слабая территориальная мобильность, расселение компактными этническими массивами (даже крупные города в этих районах были в основном однопациональны, или же разные национальности занимали отдельные кварталы и мало общались друг с другом).

О том, как влияет школа (средняя и частично высшая) на развитие процессов двуязычия, можно судить по возрастной группе 11—19 лет. Доля двуязычных здесь в среднем возрастает (по сравнению с предыдущей возрастной группой) более чем в 5 раз и, хотя не достигает максимума, все же охватывает почти половину юношей и девушек среди нерусских народов союзных республик.

Как уже было сказано выше, следующая группа (20—29 лет), где, кроме школы, на знание второго языка начинают влиять и другие факторы, показывает наивысшую долю двуязычных. Однако это относится в полной мере лишь к народам, образующим союзные республики. Если же мы возьмем народы, образующие автономные республики и области, где двуязычие начало распространяться раньше и охватило больший процент населения (что связано с длительностью смешанного расселения этих народов с русскими и другими народами и широко распространенным обучением в школах на двух языках), то максимальную долю двуязычных здесь мы увидим у лиц более зрелого возраста. Особенно это относится к народам, которые находятся в тесном этническом взаимодействии с русскими и для которых характерен высокий процент лиц, указавших русский своим родным языком. Так, у карел, мордвы, коми и коми-пермяков, удмуртов, калмыков и некоторых других наивысший процент двуязычных наблюдается в возрастной группе 30—39 и даже 40—49 лет²⁰.

Как видно из табл. 11 и 12, в среднем по стране доля двуязычных в возрасте 11—19 лет примерно равна этой доле в возрастных категориях 30—49 лет и, во всяком случае, выше, чем доля двуязычных в целом по всем возрастным группам. Это свидетельствует о все расширяющемся двуязычии и о том, что в настоящее время одна лишь школа дает возможность приобщиться ко второму языку такому же числу людей, которому два-три десятилетия тому назад позволяли приобщиться все факторы, вместе взятые. Пониженная доля двуязычных в возрасте 11—19 лет (по сравнению с возрастными группами 30—49 лет и в целом по всем возрастным группам) у грузин, азербайджанцев, армян, литовцев и эстонцев, возможно, объясняется в известной мере тем, что средняя и высшая школа соответствующих республик предоставляет несколько меньшие возможности для усвоения второго языка (впрочем, причины этого явления требуют дальнейшего изучения).

Масштабы статьи не позволяют провести анализ всех материалов переписи, касающихся двуязычия. В частности, дальнейшей разработки требуют проблемы, связанные с вероятностью неодинакового подхода населения в различных республиках к самому понятию «свободное владение другим языком народов СССР». Может быть, этим частично объясняется тот факт, что процент владеющих русским языком у узбеков, таджиков, туркмен и азербайджанцев заметно ниже, чем у других народов, образующих союзные республики, особенно славянских (вполне вероятно, что взаимопонимаемость украинского, белорусского и русского языков психологически воздействует на положительный ответ о знании соответствующего второго языка). Что же касается того, что доля свободно владеющих русским языком украинцев меньше, чем соответствующая доля среди казахов или латышей, то в данном случае дело, видимо, в значительной мере связано с более быстрыми темпами перехода укра-

²⁰ См. «ЦСУ СССР. Итоги...», стр. 368—375.

инцев от двуязычия на русский язык вплоть до признания его своим родным языком (по переписи 1970 г., 14,3% украинцев указали русский своим родным языком; соответствующие показатели для казахов и латышей — 1,6 и 4,6%) ²¹.

Для более детального выяснения направленности языковых процессов и влияния на них урбанизации, поло-возрастного состава, характера расселения и других факторов необходимо провести анализ обоих языковых показателей переписи населения (свободное владение другим языком народов СССР и соответствие показателей национальности с родным языком) по каждому народу в отдельности.

* * *

Материалы переписи населения, при всей их огромной значимости, дают все же неполное представление о реальных масштабах двуязычия, о его функциональной нагрузке, механизме действия, сферах проявления и других особенностях. Необходимые для этого материалы могут быть получены, как показал опыт, с помощью конкретно-социологических исследований. Этому будет посвящена наша следующая статья.

. BILINGUALISM AND THE DRAWING TOGETHER OF SOVIET NATIONS (ON 1970 CENSUS DATA)

The rate at which Soviet peoples are drawing together in their culture and way of life is continually accelerating. This process is accompanied by an increase in bilingualism and the rising importance of the Russian language and of Union-wide culture elements.

The conditions under which the language of another nationality comes to be adopted, the level at which it is mastered and the degree to which it is actually in use, as well as the practical need of such a language, vary among different peoples. Furthermore, wide differences are observed in the prevalence of bilingualism, the forms it takes, the spheres of life where it occurs, as well as in its social and ethnic consequences, between the rural and the urban population, between people of different age and generation, between social and professional groups even of the same nationality. Thus there arises the need for a most careful study of the main trends in the evolution of bilingualism in Soviet society, its role in the drawing together of nations and nationalities in the USSR.

The paper is based upon an analysis of the 1970 Population Census (an analysis of materials collected in ethnosociological investigations on the same subject will be given in a paper by the same authors in the next issue of our periodical). The factors influencing the inter-ethnic differences in the prevalence of bilingualism are elucidated; particular attention is directed to investigating the influences exerted by differing ethnic (national) environments. Widespread bilingualism results in a gradual shift of part of the population to the language of another people. Much of the paper deals with the decreasing correspondence between national self-identity and mother tongue, as shown by Census figures; this testifies to the intensity of ethnic processes in our country.

²¹ Всего же, если учитывать оба показателя, русским языком свободно владеют или считают родным 50,6% украинцев, 49,4% латышей и 43,4% казахов.

Б. В. Андрианов, Н. Н. Чебоксаров

ОПЫТ ИСТОРИКО-ЭТНОГРАФИЧЕСКОГО РАЙОНИРОВАНИЯ НЕКОТОРЫХ РЕГИОНОВ АФРИКИ И ЗАРУБЕЖНОЙ АЗИИ

Этнографическое изучение народов мира и их традиционно-бытовых культур способствовало накоплению обширного материала для решения сложных задач историко-этнографического или историко-культурного районирования современной ойкумены. Однако перед исследователями стоят немалые трудности, которые в известной мере освещены нами в статье «Историко-этнографические области (проблемы историко-этнографического районирования)»¹. Основываясь на теоретических положениях, развитых в этой статье, ее авторы предприняли попытку районирования и характеристики некоторых крупных географических регионов Тропической Африки и Юго-Восточной, Восточной и Центральной Азии на рубеже XIX и XX вв. Все страны этих регионов в то время были колониями империалистических держав или находились от них в большой экономической зависимости. Единственным исключением на востоке Азии была Япония, которая в конце XIX в. сама вступила на путь интенсивного капиталистического развития. Колониальные или полуколониальные режимы тормозили социально-экономическое развитие азиатских и африканских стран, искусственно консервируя в них многие особенности традиционно-бытовой культуры, восходящей во многих случаях еще к эпохам доклассовых, раннеклассовых или феодальных обществ. Надо также иметь в виду, что большинство рассматриваемых стран расположено в тропической или субтропической зоне Старого Света; это оказывало огромное влияние на развитие хозяйственных и культурных особенностей живших здесь народов; исключением являются только некоторые северные районы Восточной и Центральной Азии, лежащие в умеренном поясе.

Этнографические рассматриваемые нами страны имеют много общего, но и много различий. Своеобразие и культурное единство населения отдельных территорий — результат общности исторических судеб многих народов и многих поколений, связанных между собой и преимущественно языком, и специфическими особенностями материальной и духовной культуры. Ареалы распространения отдельных особенностей культуры и даже их комплексов часто не совпадают с этническими ареалами²; пересекаясь, они образуют на одной территории самые различные сочетания и меняются от эпохи к эпохе. Поэтому установление границ между историко-этнографическими областями и крупными провинциями — дело весьма сложное. И хотя основной единицей историко-этнографической классификации должна быть область, все-таки анализ приходится начинать с более крупных единиц — провинций, охватывающих, как правило, несколько близких между собой областей. Границы областей менее постоянны во времени, чем границы крупных провинций. Их установление и картографирование требует более углубленных и детальных исследований. А это дело будущего.

¹ См. «Сов. этнография», 1975, № 3, стр. 15—25.

² П. И. Кушнер (Кнышѣв), Этнические территории и этнические границы, М., 1951, стр. 5 и сл.; Н. Н. Чебоксаров, И. А. Чебоксарова, Народы, расы, культуры, М., 1971, стр. 168; Ю. В. Бромлей, Этнос и этнография, М., 1973, стр. 63.

На Африканском континенте нами избрана собственно Африканская тропическая провинция, лежащая южнее Сахары, а в Азии — более или менее таксономически равнозначные ей Юго-Восточноазиатская, Восточноазиатская и Центральнаяазиатская провинции. Положенные в основу настоящей статьи конкретные материалы заимствованы из разных работ советских и зарубежных этнографов; подобно тому как это было сделано в нашей статье о хозяйственно-культурных типах³. При подготовке работы были широко использованы также полевые материалы, собранные советскими учеными в разных африканских и азиатских странах.

Хотя характеристика выбранных нами провинций относится в основном к концу XIX и началу XX в., в данной статье нельзя не упомянуть о тех огромных исторических изменениях, которые произошли после Великой Октябрьской социалистической революции, и особенно во второй половине XX в., когда под напором национально-освободительного движения рухнули колониальные империи и угнетенные народы Африки и Азии пришли к независимости. Следует также иметь в виду, что в силу не преодоленной пока экономической отсталости, унаследованной от колониализма, в этих странах основная масса сельского населения еще сохраняет традиционные формы хозяйства и быта, которые складывались на протяжении столетий.

Африканская тропическая историко-этнографическая провинция

Расположенная в жарком поясе Африканская тропическая историко-этнографическая провинция включает часть континента южнее Сахары вместе с островами, из которых самый крупный — Мадагаскар. Здесь среднегодовая температура выше +20°; вблизи экватора выпадает много осадков и распространены влажные экваториальные леса (на Гвинейском побережье, в бассейне Конго), на остальной территории в зависимости от осадков — галерейные леса, редколесья и саванны; животный мир разнообразен и богат. Условия жаркого пояса несомненно влияли как на биологическую адаптацию разных популяций Тропической Африки, так и на хозяйственно-культурную дифференциацию населения этой историко-этнографической провинции.

В Африке многие советские и зарубежные ученые ищут, вслед за Чарлзом Дарвином, прародину человека. Действительно, находки предков древнейших людей приурочены к зоне активного тектогенеза — рифтам Восточной Африки, которые некоторые исследователи рассматривают как своего рода экологическую нишу, где и произошло зарождение человечества⁴.

На востоке Африки обнаружены древнейшие костные остатки непосредственных предков человечества, возраст которых определяется в 4—5 млн. лет, а также каменные орудия труда в культурных слоях, датируемых 2,6 и 2,1 млн. лет назад⁵.

Пока не удастся доказать преемственную связь между этими древнейшими обитателями Африки и расами людей современного вида этой

³ Б. В. Андрианов, Н. Н. Чебоксаров, Хозяйственно-культурные типы и проблема их картографирования, «Сов. этнография», 1972, № 2.

⁴ L. Leakey, P. V. Tobias, J. A. Napier, New species of the genus Homo from Olduvai Gorge, «Nature», 1964, vol. 202, № 4927; R. Leakey, Man and sub-man on Lake Rudolf, «New Scientist», 1972, vol. 56, № 820; М. И. Урысон, Истоки семейства гоминид в свете данных палеоприматологии, в кн.: «Первобытный человек, его материальная культура и природная среда в плейстоцене и голоцене», М., 1974, стр. 87—91; И. К. Иванова, Роль геолого-тектонических и палеогеографических факторов в становлении гоминид, там же, стр. 104—111.

⁵ В. П. Алексеев, Антропологические вопросы в происхождении человека, «Тезисы докладов научно-теоретической конференции „Атеизм и проблемы происхождения человечества“», М., 1974, стр. 7—11.

части света, которые сложились, вероятно, значительно позднее, в конце позднего палеолита, в мезолите и неолите, в процессе крупных передвижений и смешений различных популяций. В настоящее время большая часть Тропической Африки заселена негроидами, многие черты которых сформировались в процессе адаптации к жаркому и влажному климату. В экваториальных дождевых лесах кое-где сохранились группы низкорослых пигмеев, обычно выделяемых в особую негрилльскую или центральноафриканскую расу. На открытых пространствах Южной и отчасти Восточной Африки в условиях более сухого климата издавна расселялись популяции южноафриканской, или койсанской, расы, к которой принадлежат бушмены, а также, вероятно, готтентоты и некоторые другие немногочисленные популяции. Север континента занимали на протяжении всей истории популяции южных европеоидов, а на северо-востоке были распространены переходные европеоидно-негроидные формы (восточноафриканская, или эфиопская, раса). Африканское негроидное население обитало, видимо, и на острове Мадагаскар вплоть до появления там 2000 лет назад переселенцев — монголоидов из Индонезии. Современное население острова смешанного происхождения. Однако в расовом типе преобладают южномонголоидные (малайские) черты⁶.

Особую группу в современном антропологическом составе населения провинции составляют так называемые «цветные», или мулаты ЮАР. Они произошли от смешения европейских поселенцев (буров) с коренными африканскими народами.

Для Тропической Африки характерно большое разнообразие хозяйственно-культурных типов (ХКТ). Здесь еще сохранились архаические формы, основанные на так называемой присваивающей экономике. Однако к началу XX в. всюду преобладали земледельческие ХКТ с использованием ручного труда в земледелии и подсобными занятиями (скотоводством, охотой, собирательством и рыболовством); в зоне саванн были развиты земледельческо-скотоводческие ХКТ оседлых и палочкотыжных земледельцев с тропическим земледелием (экстенсивным переложным, интенсивным орошаемым и т. п.). Встречаются в зоне саванн полуседлые и полукочевые скотоводческие типы, нередко с охотой, собирательством и рыболовством⁷.

Для Тропической Африки была характерна стабильность хозяйственно-культурных традиций «присваивающих» форм хозяйствования на протяжении тысячелетий. Однако ХКТ, базирующиеся на охоте, собирательстве и отчасти рыболовстве, в начале XX в. отмечены лишь у немногих народов в экваториальных лесах Центральной Африки (племена пигмеев), в полупустынных областях Калахари (бушмены и др.)⁸. В то же время охота, собирательство и особенно рыболовство сохраняли вплоть до начала XX в. подсобное значение у многих африканских народов, уже перешедших к скотоводству или возделыванию сельскохозяйственных культур (проса-элевсины, сорго, теффа, фонио, а также риса и ячменя)⁹.

⁶ Я. Я. Рогинский, Антропологический состав населения Африки, «Расы и народы», 4, М., 1974, стр. 94—105; В. П. Алексеев, География человеческих рас, М., 1974, стр. 143—152.

⁷ Б. В. Андрианов, Н. Н. Чебоксаров, Указ. раб., стр. 10, 11.

⁸ «Народы Африки» (серия «Народы мира. Этнографические очерки»), М., 1954; Г. Надь, Охотники и собиратели Восточной Африки, в кн.: «Охотники, собиратели, рыболовы», Л., 1972, стр. 108—126; Е. П. Дятел, Присваивающее хозяйство у пигмеев, бушменов и тиндига: особенности воспроизводства и развития», в кн.: «Африка: возникновение отсталости и пути развития», М., 1974, стр. 46—84; G. P. Murdock, Africa. Its peoples and their culture history, N. Y., 1959, p. 48—63.

⁹ Д. А. Ольдерогге, Западный Судан в XV—XIX вв., «Труды Ин-та этнографии АН СССР», т. LIII, М., 1960, стр. 19—27; Ю. М. Кобищанов, Африканские феодальные общества: воспроизводство и неравномерность развития, в кн.: «Африка: возникновение отсталости и пути развития», М., 1974, стр. 89.

В зоне лесов и редколесий были распространены клубне- и корнеплоды, а также бананы азиатского происхождения. Кукуруза — одна из ведущих современных культур — появилась из Нового Света лишь несколько столетий назад. То же самое относится к кассаве или маниоке.

Относительная «молодость» земледелия Тропической Африки подтверждается также преобладанием экстенсивных форм агротехники (перелог или подсека), почти полным отсутствием плуга, использованием преимущественно женского труда в земледелии, а также слабым развитием скотоводства из-за губительной мухи цеце. Огромную роль в распространении навыков земледелия в тропиках сыграли железные орудия труда. До сих пор самые распространенные сельскохозяйственные орудия — железные мотыги различных форм, колья с наконечником для подъема целины, ножи для очистки полей от кустарников и т. п.¹⁰

Сочетание земледелия со скотоводством мы находим лишь в немногих областях — там, где отсутствует муха цеце. В ряде районов встречаются ХКТ скотоводов-охотников без земледелия (готтентоты, масаи и др.), для которых характерно разведение крупного рогатого скота. Мясо его, как правило, не идет в пищу; используется лишь молоко и кровь скота. Но основу питания большинства африканцев составляют в основном растительные продукты (корнеплоды, бананы), хлеб в виде лепешек, каши из проса и риса. Особая роль принадлежит в Тропической Африке бананам. Их едят сырыми, вареными, жареными или тушеными; готовят из них муку. Важная группа продовольственных культур в зоне лесов Западной и Экваториальной Африки — корнеплоды (ямс и маниока); употребляются также таро, земляной орех, хлебное дерево, ананас, манго и др.¹¹

Почти во всей Тропической Африке в сельской местности распространены небольшие жилища круглой или овальной планировки с конической крышей, низким входом, без окон. Стены хижин делают либо из веток, обмазанных глиной, либо просто из глины, либо из камней. Каждая хижина — часть комплекса построек (жилые помещения, зернохранилища, навесы для очага, кладовые, загоны для скота), обнесенного глинобитной стеной, плетнем или живой изгородью. У скотоводов отдельные куполообразные хижины часто располагаются по кругу. Каркас хижины из гибких жердей покрывают тростником или циновками. У некоторых скотоводческих народов Восточной Африки (масаи, туркана) преобладают эллиптические каркасные постройки высотой не более 1,2—1,5 м, покрытые сухой травой и обмазанные кизяком. Поселения земледельцев нередко располагаются обособленно, но родственники всегда живут по соседству. Часто это большая семья, включающая также братьев главы семьи и его взрослых сыновей с их семьями. В бассейне Конго и в Камеруне хижины прямоугольной постройки с двускатной крышей. В Верхней Вольте встречаются даже многоэтажные дома прямоугольной формы. Наиболее примитивны традиционные постройки бушменов, горных дамара в Южной Африке — в виде ветровых заслонов из веток¹².

В характере одежды народов крупных областей Тропической Африки можно заметить большие различия. В Южной Африке у бантуязычных народов в XIX и начале XX в. мужчины и женщины носили род плаща или накидки из шкуры — каросс, набедренники и передники. Украшениями служили нитки бус, ручные и шейные кольца, браслеты, налобные повязки. Сходная одежда была распространена в прошлом и во внутренних областях Экваториальной Африки. Однако на побережье

¹⁰ И. И. Синягин, Тропическое земледелие, М., 1968, стр. 35—52; И. А. Сванидзе, Сельское хозяйство Тропической Африки, М., 1972, стр. 156—168.

¹¹ П. А. Баранов, В Тропической Африке, М., 1956, стр. 208—244.

¹² «Народы Африки» (серия «Народы мира. Этнографические очерки»), М., 1954, стр. 236, 243, 317, 332 и др.

Индийского океана под влиянием арабов мужчины носят хлопчатобумажные рубахи ниже колен, кусок ткани служит одновременно и поясом, и юбкой, на голове — тюрбан. В женской одежде преобладают рубахи и штаны, а также передники.

В Западной Африке в зоне саванн, где многие народы исповедуют ислам, распространены (например, у хауса) широкая рубаха и шаровары; верхняя женская одежда состоит из куска длинной ткани, которой обертывают нижнюю половину тела. Большим разнообразием во всей Тропической Африке отличаются женские прически, к чему располагают спирально-завитые волосы африканцев. У многих народов практиковалось нанесение рубцов на теле или лице.

В духовной жизни африканских народов архаические религиозные верования и культы нередко тесно переплетаются с развитыми религиями — христианством и исламом¹³. В родо-племенных культах еще недавно важное место занимали обряды, связанные с наиболее значительными моментами жизни (вступление юношей в разряд взрослых, брак и т. п.). В ряде африканских стран сформировались отколовшиеся от западноевропейских церквей различные христианско-африканские церкви и секты. В северных районах Тропической Африки, а также на побережье Индийского океана и островах преобладает ислам.

В народном изобразительном искусстве сохраняются богатые традиции искусства деревянной и бронзовой скульптуры, резьбы по дереву (резные фигуры предков, резные чаши, маски, табуреты и т. п.), изготовления циновок и корзин. Очень высока музыкальная культура народов Тропической Африки¹⁴. Она неотделима от песни и танца, поражает свободными ритмами. Музыка сопровождает и празднества, и различные хозяйственные работы. Большим разнообразием отличаются музыкальные инструменты; мелоритмы говорящих барабанов передают вести из одной местности в другую. Музыкальность африканцев объясняется в известной мере строем языков: многим африканским языкам присуща тональность, когда изменение музыкального тона влечет за собой смысловое изменение слова.

Прочно установившейся классификации языков Тропической Африки еще нет. Среди ученых англоязычных стран распространена классификация Дж. Гринберга, который объединяет все языки Западного Судана и банту в одну конго-кордофанскую семью; он выделяет также языки нило-сахарские (от сонгайского до нилотских) и отдельно койсанские¹⁵. В СССР принята классификация Д. А. Ольдерогге, который считает возможным объединить почти все языки населения к югу от Сахары в одну группу «зиджских» языков; для них характерны общие черты: наличие именных классов и тональность. Он также выделяет в Африке палеоафриканские и готтентотские языки¹⁶.

Наиболее сложен языковый состав населения Западной Африки. В полосе саванн с давних времен интенсивно протекали процессы переселений, этнических и культурных контактов. Еще в древности здесь жили народы, языки которых были близки по своему типу языкам банту. В настоящее время подобные языки сохранились на крайнем западе (языки атлантические), в центральных областях Судана (языки гур) и к югу от оз. Чад (восточные бантоидные). Крайнему разнообразию языковых групп Судана противостоит моногенная группа языков банту, самые древние ареалы которой расположены к югу от экватора — в об-

¹³ Б. И. Шаревская, Старые и новые религии Тропической и Южной Африки, М., 1964; Г. А. Шапжников, Религии стран Африки, М., 1967.

¹⁴ «Очерки музыкальной культуры народов Тропической Африки. Сборник статей», М., 1973, стр. 7 и сл.

¹⁵ J. Greenberg, The languages of Africa, The Hague, 1966.

¹⁶ Д. А. Ольдерогге, О некоторых этнолингвистических проблемах Африки, «Вопросы социальной лингвистики», Л., 1969, стр. 135—157.

ласти Шаба (бывш. Катанга)¹⁷. На о. Мадагаскар давние переселенцы из Индонезии принесли с собой язык австронезийской лингвистической семьи, культурные традиции и расовые особенности народов Юго-Восточной Азии.

Население Тропической Африки отличается огромным многообразием. Яркие контрасты можно заметить во всем: и в расовых различиях — сочетании, например, по соседству самых высоких (тутси) и самых низких (пигмеи) людей на континенте, и в языковом составе — большом количестве отдельных, изолированных языковых семей. Эти контрасты отражаются в глубокой дифференцированности языков, в различии типов этнических общностей и уровней культуры; сосуществованию, например, первобытнообщинных и патриархально-феодалных порядков с зарождающимися капиталистическими отношениями. Для Тропической Африки характерно распространение самых различных религиозных верований — традиционных африканских (культ предков и т. п.), ислама и христианства. В то же время, несмотря на столь значительную историко-культурную пестроту населения, в пределах всей Африканской Тропической провинции довольно четко выделяются несколько крупных областей: 1) Западноафриканская, или Западнотанзанская, область с тремя подобластями — Атлантической, Гвинейской и Центральнотанзанской, 2) Западная тропическо-африканская область, 3) Восточноафриканская область, 4) Южноафриканская область, 5) Мадагаскарская островная область.

Между народами, населяющими эти области, много различий в уровнях социально-экономического развития, расовом, языковом, этническом, религиозном и культурном отношении, но много и общих черт традиционно-бытовой культуры, о которых мы говорили выше; кроме того, почти все эти народы до недавнего времени находились в условиях колониального угнетения. Их объединяет общность исторической судьбы и борьба с колонизаторами. В этих странах колониализм оставил множество проблем, важное место среди которых занимает борьба с экономической отсталостью, этнической и языковой разобщенностью¹⁸. В современной Тропической Африке еще встречаются общественные отношения, соответствующие почти всем стадиям развития человечества, самые различные уровни экономики и культуры: от небольших бродячих групп примитивных собирателей и охотников Калахари, сохраняющих родовой строй, до мелких и более крупных народностей с давно оформившимися классовыми отношениями и, наконец, многомиллионных наций с развитыми капиталистическими отношениями¹⁹. После завоевания независимости в Тропической Африке на первое место выдвинулись процессы сложения больших общностей на основе близких по языку и культуре народов, в то же время активно развиваются и процессы сближения народов в рамках современных государств и формирования более широких национально-политических общностей²⁰. Развитие национальных (этнических) и историко-этнографических процессов в традиционно-бытовой сфере тесно переплетается с общим социально-политическим и экономическим прогрессом африканских государств. Большую роль в этом играет ликвидация последствий колониализма, преодоление экономической и культурной отсталости²¹.

¹⁷ Д. А. Ольдерогге, Указ. раб., стр. 149.

¹⁸ Р. Н. Исмагилова, Этнические проблемы современной Тропической Африки, М., 1973, стр. 351—360.

¹⁹ Б. В. Андрианов, Проблемы формирования народностей и наций в странах Африки, «Вопросы истории», 1967, № 9, стр. 109.

²⁰ С. И. Брук, Н. Н. Чебоксаров, Современный этап национального развития народов Азии и Африки, «Сов. этнография», 1961, № 4.

²¹ См. «Марксистско-ленинская наука о путях преодоления отсталости африканских стран (Материалы ко II Всесоюзной конференции африканистов СССР, М., октябрь, 1974)», М., 1974, ч. I—II.

Юго-Восточноазиатская историко-этнографическая провинция

Юго-Восточноазиатская историко-этнографическая провинция включает Индокитай (в широком смысле — от Бирмы до Вьетнама), Индонезию и Филиппины. До конца I — начала II тысячелетия н. э. в ту же провинцию входила территория современного Китая к югу от Янцзы (дольше всего Юньнань, Гуанси, острова Хайнань и Тайвань), а еще раньше (в неолите) — и более северные приморские районы Восточной Азии. Как показывают палеоантропологические и археологические данные, территория Юго-Восточноазиатской историко-этнографической провинции не входила, по-видимому, в прародину человечества, но была заселена древнейшими людьми (архантропами) с запада уже в нижнем палеолите, миллион лет назад, а может быть, и еще раньше. Различные группы бродячих охотников и собирателей распространялись как в материковой (Индокитай и юг современного Китая), так и в островной (Индонезия, Филиппины) части Юго-Восточной Азии на протяжении всего древнего каменного века. В позднем палеолите и мезолите на островах преобладали, вероятно, австралоидные популяции, представленные черепами из Ниа (Калимантан), Ваджака (Ява) и Аитапе (Новая Гвинея), а на материке наряду с австралоидами уже расселялись, возможно связанные с ними генетически, южные монголоиды, которым принадлежали костные остатки из Люцзяна и Цзяня на юге Китая и из Тампонга в Лаосе²². Взаимодействие австралоидов и южных монголоидов со все возрастающим преобладанием последних проходит как бы красной нитью через всю историю расового состава населения Юго-Восточной Азии и остаётся ее характерной особенностью вплоть до наших дней.

В конце позднего палеолита и в мезолите во многих районах Юго-Восточной Азии, особенно в прибрежных районах и на островах, получает широкое распространение усложненное собирательство, а также рыболовство и сбор съедобных моллюсков, ракообразных, водорослей и других «даров моря». На базе развития этого вида хозяйственной деятельности возможен был переход от бродячего образа жизни к оседлому в разных формах (приморской, озерной, речной). К VII тысячелетию до н. э., по мнению некоторых исследователей, относятся первые шаги экстенсивного ручного земледелия в предгорных районах, связанные вначале с культивированием клубнеплодов и корнеплодов, в первую очередь таро и ямса, а также разных видов гороха, бобов, тыквы-лагенарии, перца и др.²³ С мезолитической хоабиньской культурой, центральный ареал которой находился на территории современного Вьетнама, можно связывать начало формирования Юго-Восточноазиатской историко-этнографической провинции; в пользу этого свидетельствуют находки топоров и других орудий хоабиньского типа на очень широкой территории, включающей многие районы Индокитая, Южного Китая, Индонезии и Филиппин²⁴. По мнению многих ученых, в пригималайских районах Юго-Восточной Азии в III тысячелетии до н. э. началось культивирование риса, который в дальнейшем стал основной продовольственной высокопродуктивной культурой большинства наро-

²² А. М. Решетов, Н. Н. Чебоксаров, Антропология и этнография о происхождении китайцев, «Расы и народы», 3, М., 1973, стр. 90, 91; N. N. Tchiboksarov, Problemes essentiels d'anthropologie ethnique de l'Asie du Sud-East, «XXIX International congress of orientalistes (Paris, July 16—22, 1973)», М., 1973, p. 8, 9.

²³ Я. В. Чеснов, Юго-Восточная Азия — древний культурный центр, «Вопросы истории», 1973, № 1, стр. 186—192; C. F. Gorman, Hoabinhian transformation in Early South-East Asia, «Background data paper presented at the 68th Annual Meeting of the American Anthropological Association, 1969», New Orleans, 1969, p. 7—14.

²⁴ П. И. Борисковский, Первобытное прошлое Вьетнама, М.—Л., 1966, стр. 84, 85.

дов рассматриваемой провинции к западу от Ломбока²⁵. Плуг появился на юго-востоке Азии в эпоху бронзы: в стоянках донгшонской культуры Вьетнама находят бронзовые лемехи. Само название одной из основных групп народов Индокитая — тай — означает «плуг», «плужники». Однако в более южных материковых районах, а также в Индонезии и на Филиппинах распространение плуга относится только к первым векам нашей эры. Распространение это происходило под индийским, а возможно, и под китайским влиянием. В качестве тягловой силы использовались буйволы (гораздо реже быки).²⁶

Для всей дальнейшей истории Юго-Восточноазиатской провинции характерно развитие и взаимодействие различных хозяйственно-культурных типов, сложившихся во влажных тропиках и субтропиках: лесных собирателей и охотников (горный пригималайский вариант), береговых собирателей «даров моря» и рыболовов, мотыжных земледельцев жаркого пояса, наконец пашенных земледельцев, большей частью с развитой ирригацией. Все перечисленные хозяйственно-культурные типы (кроме, быть может, последнего) возникли в пределах Юго-Восточной Азии; плужное же земледелие, ставшее экономической основой высоких цивилизаций Востока, проникло сюда сравнительно поздно, скорее всего двумя путями (из Индии и из Китая), и распространилось далеко не повсеместно, особенно в горных районах на Филиппинах и в Восточной Индонезии²⁷. Несмотря на различный уровень социально-экономического развития народов Индокитая, Индонезии и Филиппин и наличие у них многих хозяйственно-культурных типов, а также несмотря на неоднородность расового и языкового состава, почти у всех этих народов (включая в прошлом и аборигенов Южного Китая и Северо-Восточной Индии) прослеживаются сходные черты материальной и духовной культуры, которые и позволяют говорить о существовании по крайней мере с неолита большой историко-культурной общности в этом регионе.

Народы Юго-Восточной Азии при расчистке леса и других работах употребляли каменные, а позднее железные топоры и большие ножи, которые служили своего рода универсальным оружием и в земледелии. Они широко использовались наряду с «сажальным» колом, когда надо было сделать углубление в почве для посева после пожара.

Очень характерны для большинства народов рассматриваемой провинции свайные постройки, которые стали исчезать только у некоторых крупных этносов с развитым поливным рисоводством (вьетнамцы, яванцы)²⁸. Крыши жилых и хозяйственных построек большей частью высокие из-за большого количества осадков. У некоторых народов бытуют дома без стен в виде перевернутых лодок, что связано, вероятно, с сильными ветрами — тайфунами. В качестве строительного материала наряду с разными деревьями тропического пояса применяются бамбук и пальмовые листья (вай).

Пища преимущественно растительная: разварной рис, реже просо, клубнеплоды и корнеплоды, разные бобовые, капуста и другие овощи, в последнее время также кукуруза, батат, маниока; в тропической зоне —

²⁵ Н. Н. Чебоксаров, Я. В. Чеснов, Некоторые проблемы агроэтнографии Юго-Восточной Азии, «Сов. этнография», 1967, № 3, стр. 62, 63; Я. В. Чеснов, Распространение риса в Южной Азии и некоторые вопросы этногенеза, «Очерки экономической и социальной истории Индии», М., 1973, стр. 28—45; J. B. Avé, Suggestions for a more practical classification of the ethnic groups in the Republic of Indonesia, «Anniversary contributions to anthropology», Twelve essays, Leiden, 1970, p. 111—120.

²⁶ В. Р. Кабо, Н. Н. Чебоксаров, Первоначальное заселение и древнейшая этническая история. «Народы Юго-Восточной Азии», (серия «Народы мира. Этнографические очерки»), М., 1966, стр. 63, 64; Н. Н. Чебоксаров, И. А. Чебоксарова Указ. раб., стр. 210—213.

²⁷ С. А. Семенов, Происхождение земледелия, Л., 1974, стр. 226—236; Н. Н. Чебоксаров, И. А. Чебоксарова, Указ. раб., стр. 221.

²⁸ Я. В. Чеснов, О специфике свайных жилищ Юго-Восточной Азии, «Сов. этнография», 1965, № 3, стр. 59—69.

кокосовые орехи, плоды хлебного дерева и дуриана, местами сердцевина саговой пальмы. Широко распространены блюда из рыбы (часто в квашеном виде) и других «даров моря», мясо едят редко (главным образом свиное и домашней птицы). В большом ходу острые соусы. Молоко и молочные продукты в доколониальный период почти не употребляли. В качестве наркотического средства употребляется бетель (орехи арековой пальмы с известью, завернутые в листья перчаточного растения).

Основу традиционной, первоначально очень скудной, одежды народов Юго-Восточной Азии составляли передники из растительных волокон, которые с распространением прядения и ткачества постепенно сменились набедренными повязками (главным образом у мужчин) и юбками, большей частью несшитыми (как у мужчин, так и у женщин); в ходу были также прямоугольные накидки, иногда с отверстиями для головы, напоминающие южноамериканские пончо. Позднее как у мужчин, так и у женщин распространились распашные куртки; только у вьетов мужчины и женщины стали носить штаны, которые, вероятно, были заимствованы у народов Центральной Азии через Китай. Из головных уборов следует отметить широкополые шляпы из соломы, бамбуковых пластинок или пальмовых листьев (вай). Большая часть населения Юго-Восточной Азии, особенно в деревнях, ходит без обуви, некоторые носят плетеные сандалии²⁹.

Традиционно-бытовая духовная культура народов Юго-Восточной Азии очень разнообразна, особенно со времени распространения в этой части ойкумены с первых веков нашей эры буддизма и индуизма, а позднее ислама (с VII—VIII вв.) и христианства (в XVI—XX вв.). Но под этими сравнительно поздними наслоениями лежат мощные пласты местных народных представлений, племенных религий и культов, изобразительного искусства и фольклора. К таким пластам принадлежат многие обряды и обычаи весенних праздников, связанных с водными культурами (например, гонки на лодках с резными изображениями драконов, взаимное обливание водой на празднествах); сказочные сюжеты о смелом и находчивом зайце, побеждающем тигра или крокодила (в Индонезии заяц заменен маленьким оленем — «канчилом»), о трудолюбивом и терпеливом буйволе — верном помощнике земледельца³⁰.

С политической историей разных стран Юго-Восточной Азии и распространением в них мировых религий связано в известной мере выделение в этой обширной историко-этнографической провинции областей второго порядка. На материке выделились Западноиндокитайская (Бирма, Таиланд) и Восточноиндокитайская (Лаос, Камбоджа, Вьетнам) области. Для первой характерны тесные культурные связи с Индией, господство южного толка буддизма (Тхеравады), преобладание английского влияния в колониальную эпоху; для второй — связи с Китаем (особенно интенсивные во Вьетнаме), взаимодействие Тхеравады (Хиньяна) и Махаяны (во Вьетнаме), отчасти ислама (у чамов), французское влияние в XIX—XX вв. В островной части Юго-Восточной Азии (вместе с Малаккой) сложились Западноиндонезийская (Малайзия, Суматра, Ява, Мадура, Бали, Калимантан и соседние мелкие острова), Восточноиндонезийская (весь остальной Малайский архипелаг) и Филиппинская области³¹. В первой из этих островных областей на индуистско-буддийской

²⁹ Сводку фактических данных по этнографии народов Юго-Восточной Азии, частично основанную на оригинальных полевых материалах, см.: «Народы Юго-Восточной Азии» (серия «Народы мира. Этнографические очерки»), М., 1966; Е. В. Иванова, Тайские народы Таиланда, М., 1970; А. А. Бернова, Население Малых Зондских островов, М., 1972. См. также: Н. Н. Чебоксаров, Сорок дней в Индонезии, «Вестник Академии наук СССР», 1962, № 10, стр. 81—83.

³⁰ Фактические данные см. в работах, указанных в предыдущей сноске.

³¹ Н. Н. Чебоксаров, И. А. Чебоксарова, Указ. раб., стр. 221; Н. Н. Чебоксаров, Историко-этнографическое районирование Дальнего Востока, Сб. «Проблемы истории Дальнего Востока», Владивосток, 1969, стр. 131—146.

основе распространился ислам; во второй области его распространение также имело место, но было менее интенсивным, а в период колониализма с исламом столкнулось христианство (протестантизм и католицизм) при сильном сохранении у многих народов местных племенных культов; в третьей — католицизм, принесенный испанцами в XVI в., стал господствующим, хотя на юге у мورو сохранился ислам, а в горах — местные «языческие» верования³².

Этническая история Юго-Восточной Азии характеризуется, как мы уже говорили, взаимодействием древнего аборигенного населения (принадлежавшего к экваториальным австралоидным расам и говорившего, возможно, на языках, сходных с папуасскими)³³ с более поздними переселенцами из материковой Азии, которые антропологически входили в контактную южноазиатскую группу, а лингвистически относились к индонезийцам и мон-кхмерам, позднее также к вьетам, мяо-яо, тай и тибето-бирманцам. Переселение это, начавшееся в середине II тысячелетия до н. э. из южных районов Китая (входивших тогда в состав той же Юго-Восточноазиатской провинции), продолжается до настоящего времени. В качестве последней миграционной волны можно рассматривать китайскую колонизацию Юго-Восточной Азии, наиболее интенсивную в Малайзии и Сингапуре, в котором в наши дни китайцы составляют уже большинство населения. В XX в. определенное значение в этнической истории Малайзии и Сингапура приобрела также индийская иммиграция, преимущественно тамильская и североиндийская. Главная тенденция современных этнических процессов в странах Юго-Восточной Азии, которые все (кроме Таиланда) были до второй мировой войны колониями, заключается в национально-политической консолидации в рамках исторически сложившихся государств. В странах, где один этнос численно значительно преобладает, именно он образует ядро формирующейся нации, другие народы остаются национальными меньшинствами, хотя во многих случаях и продолжают свое самостоятельное прогрессивное этнокультурное развитие (Вьетнам, Камбоджа, Бирма, Таиланд, отчасти Лаос). В странах, населенных различными, но большей частью родственными по происхождению, культуре и языку народами, процесс национального развития протекает сложнее; здесь возникает несколько очагов консолидации с перспективой их последующей общенациональной интеграции (Индонезия, Филиппины). Наконец, на юго-востоке Азии есть страны с полиэтническим составом населения, включающим неродственные народы, которые еще долго будут развиваться, не сливаясь в рамках одного государства (Малайзия, Сингапур). В ДРВ все этнические процессы определяются общим социалистическим направлением развития³⁴.

Восточноазиатская историко-этнографическая провинция

Восточноазиатская историко-этнографическая провинция (весь восток Китая с Маньчжурией, Корея и Япония), примыкающая с севера к Юго-Восточноазиатской, не входила, по-видимому, в область становления древнейших гоминид, она была освоена ими только за 500—600 тыс. лет

³² С. А. Токарев, Религия в истории народов мира, М., 1964, стр. 74—83, 435—458, 510—526; П. И. Пучков, Современная география религий, М., 1975, стр. 105—127.

³³ Возможно, остатками этих групп являются племена, говорящие на северохальмакских языках, некоторые племена Тимора и других островов Восточной Индонезии.

³⁴ Н. Н. Чебоксаров, Я. В. Чеснов, Заключение к сборнику «Этнические процессы в странах Юго-Восточной Азии», М., 1974, стр. 286—319; S. I. Buguk, N. N. Cheboksarov, Y. V. Chesnov, National processes in Asiatic Countries Outside the USSR, «Races and Peoples. Contemporary Ethnic and Racial Problems», М., 1974, p. 182—211.

до н. э., возможно, двумя путями: с юга, со стороны Индокитая и Тайваня, и с запада — из Центральной Азии. На протяжении всего древнего каменного века на востоке Азии, включая Японию, которая временами соединялась с материком мостами суши, жили многочисленные группы охотников и собирателей. На востоке, где климат был более влажным и находился под постоянным воздействием муссонов, уже в позднем палеолите и мезолите складывались хозяйственно-культурные типы прибрежных охотников, собирателей «даров моря» и рыболовов, а на западе, где было гораздо суше, развивались ХКТ подвижных охотников за степными животными: антилопами, разными оленями, может быть, дикими лошадьми, а из крупных птиц — страусами³⁵. Немногочисленные палеоантропологические материалы показывают, что уже тогда в населении Восточной Азии большую роль играли высокими восточные монголоиды, которым принадлежали, по-видимому, позднепалеолитические черепа из Шаньдиндуна. Преобладание этой северной ветви тихоокеанских монголоидов сохранялось в Восточноазиатской провинции на протяжении всей ее истории, хотя на Японских островах и Тайване они смешивались с более древними австралоидами («протоайнами») и южными монголоидами, проникавшими с юга, а на севере и западе, на границах с Сибирью и Средней Азией, взаимодействовали с северными континентальными монголоидами и различными популяциями европеоидов³⁶.

Ручное земледелие с чумизой в качестве основной сельскохозяйственной культуры возникло, по новейшим археологическим данным, в Восточной Азии раньше всего — в V—IV тысячелетиях до н. э., по-видимому, в среднем течении Хуанхэ и на ее главном притоке Вэйхэ, где сосредоточено большинство памятников неолитической культуры Яншао с крашеной керамикой, изготовлявшейся еще без гончарного круга. Почти одновременно с культурой Яншао в бассейне р. Ханьшуй (левый приток Янцзы) развивалась культура оседлых земледельцев Цюйцзялин, знакомых с выращиванием риса, обугленные зерна которого находят на цюйцзялинских поселениях. Третьей неолитической культурой Северного Китая была земледельческая культура Мацзяо в верховьях Хуанхэ; земледельцы раскрашивали глиняную посуду после обжига. Они убирали урожай плоскими каменными или керамическими ножами с отверстиями для продевания ремешков или веревок; из домашних животных были известны свиньи и собаки, употреблявшиеся в пищу. Значительную роль играли рыболовство и охота.

Жилищами служили глинобитные хижины на каркасно-столбовой основе, часто полуземляночного типа. В конце III тысячелетия до н. э. в среднем и нижнем течении Хуанхэ на смену Яншао пришла культура Луншань с серой и черной керамикой, изготовлявшейся на гончарном круге. Главной земледельческой культурой луншаньцев оставалась чумиза, которую можно было возделывать без ирригации, так как климат тогда был более влажный и теплый, чем в настоящее время. В одной из луншаньских стоянок найдены отпечатки двузубого деревянного орудия для вскапывания земли — «лэй», широко известного у китайцев и других народов Восточной Азии в более поздние исторические эпохи. Среди до-

³⁵ Линь Яо-хуа, Н. Н. Чебоксаров, *Хозяйственно-культурные типы Китая, «Восточноазиатский этнографический сборник», II, «Труды Ин-та этнографии АН СССР», LXIII, М., 1961, стр. 17—21; М. В. Крюков и Н. Н. Чебоксаров, Древнее расселение человека, «Народы Восточной Азии» (серия «Народы мира. Этнографические очерки»), М., 1965, стр. 43—50.*

³⁶ У Жу-кан, Н. Н. Чебоксаров, *О непрерывности развития физического типа, хозяйственной деятельности и культуры людей древнего каменного века на территории Китая, «Сов. этнография», 1959, № 4, стр. 3—25; М. А. Решетов, Н. Н. Чебоксаров, Указ. раб., стр. 89, 90; Chang Kwang-chih, New evidence on fossil man in China, «Science», 1962, vol. 136, № 3518, p. 749—760.*

машных животных наряду с собаками и свиньями появились козы и крупный рогатый скот, распространившиеся, вероятно, с Запада через Центральную Азию³⁷.

Луншаньская культура была связана, по-видимому, с племенами «ся». На смену «ся» пришли родственные им племена «шан», позднее получившие название «инь». У этих племен во II тысячелетии до н. э. сложилось раннеклассовое общество. Иньцы владели техникой бронзолитейного производства, знали шелководство, разводили лошадей, которые использовались для упряжки, в частности в боевые колесницы. К иньским надписям на костях восходят корни китайской иероглифической письменности, в дальнейшем получившей широкое распространение во всей Восточной Азии. Однако традиционно-бытовая культура иньцев сравнительно мало отличалась от культуры яншаосцев и луншаньцев; так, например, основным орудием обработки земли оставался двузубый лэй, изображение которого встречается в надписях на костях. Архаические приемы сохранялись и при постройке зданий, вплоть до крупных дворцов и храмов, в которых опорой всей конструкции служили вертикальные столбы, а материал стен (утрамбованная земля, глина, а позже сырцовый и обожженный кирпич) лишь заполнял пространства между ними³⁸. В более позднее время, когда династию Инь сменила династия Чжоу, а затем Чжоуское государство распалось на несколько независимых царств, развивалась по существу та же традиционно-бытовая культура; началось распространение этой культуры на юг и восток вплоть до берегов Тихого океана. В середине I тысячелетия до н. э. на территории современного Китая распространились навыки изготовления железа, а также пашенное земледелие, проникшие на восток Азии, возможно с Запада из стран Средиземноморья через Среднюю и Центральную Азию. Во всяком случае несомненно, что в рассматриваемое время уже сложились почти все характерные особенности хозяйства и культуры Восточноазиатской историко-этнографической провинции, хотя и не определились окончательно ее границы. Формированию особой Северокитайской области в пределах Восточноазиатской провинции способствовало возникновение в конце III в. до н. э. рабовладельческой Ханьской империи и китайского этноса. В состав этой империи кроме китайцев входили различные племена, которых официальные китайские летописи считали варварами: тунгусо-маньчжурские и монгольские на севере, тюркские, тохарские и иранские на западе, тибето-бирманские на юго-западе, мон-кхмерские (включая древних вьетов и мяо-яо), тайские и индонезийские на юге и отчасти на востоке³⁹.

Формирование Корейской и Японской историко-этнографических областей происходило позднее, чем Северокитайской, и первоначально под ее воздействием (что не исключает обратных влияний, становившихся с течением времени все более и более интенсивными). В Корее навыки земледелия появились позднее, чем в Северном Китае, а в Японии — только в эпоху культуры яёи (IV в. до н. э. — IV в. н. э.). К тому же времени относится распространение бронзы, а затем и железа и образова-

³⁷ Н. Н. Чебоксаров, К вопросу о происхождении китайцев, «Сов. этнография», 1947, № 1, стр. 64—66; А. М. Решетов, Н. Н. Чебоксаров, Указ. раб., стр. 91, 92; М. В. Крюков, Возникновение цивилизации древних китайцев, в кн. «История Китая с древнейших времен до наших дней», М., 1974, стр. 6—10; J. G. Anderson, Children of the Yellow Earth, London, 1934.

³⁸ Н. Н. Чебоксаров, Указ. раб., стр. 57—59; А. М. Решетов, Н. Н. Чебоксаров, Указ. раб., стр. 96, 97; М. В. Крюков, Указ. раб., стр. 10—13.

³⁹ Р. Ф. Итс, М. В. Крюков, А. М. Решетов, Н. Н. Чебоксаров, Исторический очерк, «Народы Восточной Азии» (серия «Народы мира. Этнографические очерки»), М., 1965, стр. 139—143; Л. С. Переломов, Деспотии Цинь и Хань в III—I вв. до н. э., в кн. «История Китая с древнейших времен до наших дней», М., 1974, стр. 33—40.

ние первых государств. Часть Кореи в конце II в. до н. э. была включена в состав Ханьской империи, что способствовало распространению китайского влияния. Как известно, Япония никогда не завоевывалась Китаем, но ее экономические и культурные связи с Ханьским государством были очень интенсивными⁴⁰.

Во всей Восточной Азии с течением времени сложились общие хозяйственно-культурные особенности, позволяющие рассматривать ее большую часть в качестве особой историко-этнографической провинции. В области сельского хозяйства к таким особенностям принадлежит выращивание просяных (просо, чумиза, гаолян и др.), засухоустойчивых сортов пшеницы, в меньшей степени риса (главным образом в Корее и Японии), различных овощей, особенно капусты и редьки, а также всевозможных бобовых; характерна ирригация в условиях недостатка воды, использование отбросов и человеческих фекалий в качестве удобрения; при пахоте как тягловая сила использовался крупный рогатый скот, реже лошади, ослы.

Общими для большинства восточноазиатских народов являются также каркасно-столбовые постройки с различным заполнением стен и бесстропильной конструкцией кровли в засушливых районах, часто плоской или плоскодвускатной. На севере Китая и в Корее распространены отопляемые лежанки («кан», «ондол»). В быту для разных целей используются всевозможные циновки, корзины и другие вещи из тростника, соломы, а в более южных районах — из бамбука.

Одежда большинства народов рассматриваемой провинции включает разные типы набедренных повязок, распашных курток и халатов (в частности, японское кимоно); в средние века из Центральной Азии в Китай распространились куртки и халаты с дополнительной левой полой с запахом направо, а также мужские и женские штаны⁴¹.

В области духовной культуры для Восточной Азии характерен красочный асимметричный орнамент, узорное тканье и вышивка с преобладанием растительных мотивов, изображений насекомых, рыб, птиц и других (часто фантастических) животных, своеобразная пейзажная живопись с особой перспективой типа китайской «гохуа». В фольклоре и литературе распространены большие эпические циклы и романы (китайские «Саньго», или «Троецарствие», «Путешествие на Запад», японские «моноготари»). Чрезвычайно разнообразны народные формы театра. Архаические аграрные культы переплетаются с очень развитым культом предков, который тесно связан с традиционно патриархальными отношениями в семье и обществе, устойчиво сохранявшимися на протяжении всего феодального, а частично и капиталистического периодов. Очень характерен синкретизм развитых морально-этических, и религиозных систем (конфуцианство, даосизм, буддизм, синтоизм). Большинство населения в религиозном отношении довольно индифферентно. Исключение составляют только исламизированные в средние века группы населения (например, хуэй) и последователи некоторых сект. Христианство распространено сравнительно мало, главным образом в городах. Политическая жизнь во всех странах Восточной Азии (Китай, Корея и

⁴⁰ С. А. Арутюнов, Этническая история Японии на рубеже нашей эры. «Восточноазиатский этнографический сборник», II, «Труды Ин-та этнографии АН СССР», LXXXIII, М., 1961, стр. 137—175; Р. Ш. Джарылгасинова, Когурёсцы (историко-этнографическое исследование), там же, стр. 176—216; С. А. Арутюнов, Современный быт японцев, М., 1968; Р. Ш. Джарылгасинова, Древние когурёсцы, М., 1972.

⁴¹ Линь Яо-хуа, Н. Н. Чебоксаров, Указ. раб., стр. 5—46; Н. Н. Чебоксаров, Хозяйственно-культурные типы народов Восточной Азии, в кн. «Народы Восточной Азии» (серия «Народы мира. Этнографические очерки»), М., 1965, стр. 90—112; Н. Н. Чебоксаров, И. А. Чебоксарова, Указ. раб., стр. 220, 221.

Япония) на протяжении всей их истории отличалась высокой активностью⁴².

Этногенетически Восточная Азия — зона формирования тихоокеанских монголоидов и народов китайско-тибетской языковой семьи, а также корейцев и японцев. Постепенно продвигаясь с севера на юг и отчасти с запада на восток, тихоокеанские монголоиды взаимодействовали с монголоидо-австралоидными и австралоидными популяциями, широко распространенными у более южных народов — среди мон-кхмеров, а также среди родственных им предков мяо, яо и вьетов, тайских и индонезийских этносов; следует также отметить, что границы расселения последних в прошлом простирались гораздо дальше на север, с чем связаны многие южные антропологические и хозяйственно-культурные черты современных китайцев, а возможно, и корейцев. В Японии наряду с индонезийцами большую роль в этногенезе играли австралоидные айны, а позднее — близкие к древним корейцам племена, по языку родственные, по-видимому, алтайским народам Центральной Азии⁴³.

В связи с этими этническими процессами внешние границы Восточноазиатской историко-этнографической провинции и ее отдельных областей (кроме морских) долгое время оставались подвижными. Весь юг Китая, как мы видели, первоначально относился к Юго-Восточноазиатской провинции и только с китаизацией этой территории в I—II тысячелетиях н. э. вошел в состав Восточноазиатской провинции в качестве особой южнокитайской области, население которой вплоть до наших дней сохранило многие южные элементы в антропологическом составе и традиционно-бытовой культуре⁴⁴. Весь запад современного Китая, политически вошедший в его состав только в XVIII—XIX вв., с историко-этнографической точки зрения и в настоящее время не относится к Восточной Азии. Маньчжурия (кроме крайнего юга) была заселена китайцами еще позднее — в конце XIX — начале XX столетия.

Очень своеобразными были за последние 100 лет пути развития Японии и Кореи. Япония стала одной из ведущих империалистических держав, в которой высокий промышленный потенциал и накал классовой борьбы сочетаются с сохранением специфической традиционно-бытовой культуры в быту сельского, а в значительной степени и городского населения. Корея после освобождения от японской оккупации оказалась искусственно разделенной на две половины, из которых северная (КНДР) вступила на путь социалистического строительства. В 1949 г. была образована Китайская Народная Республика. Но строительство социализма здесь поставлено под угрозу из-за авантюристической политики маоистов.

⁴² Сводку фактических данных по этнографии народов Восточной Азии, в значительной степени основанных на оригинальных полевых материалах, см.: «Народы Восточной Азии» (серия «Народы мира. Этнографические очерки»), М., 1965; С. А. Арутюнов, Современный быт японцев; С. А. Арутюнов, Г. Е. Светлов, Старые и новые боги Японии, М., 1968; Р. Ш. Джарылгасинова, Корейская национальная одежда в коллекциях МАЭ. Женская одежда, «Культура народов зарубежной Азии и Океании», Сб. МАЭ, XXV, Л., 1969; В. С. Стариков, Материальная культура китаец северо-восточных провинций КНР, М., 1967.

⁴³ Н. Н. Чебоксаров, Основные направления расовой дифференциации Восточной Азии, «Труды Ин-та этнографии АН СССР», т. II, 1947, стр. 24—83; его же, К вопросу о происхождении китайцев; его же, Основные проблемы этнической антропологии Дальнего Востока, в сб. «Вопросы истории Советского Дальнего Востока», Владивосток, 1965, стр. 37—50; А. М. Решетов, Н. Н. Чебоксаров, Указ. раб., стр. 106—110; С. А. Арутюнов, Языки Восточной Азии, «Народы Восточной Азии», стр. 113—124; С. Е. Яхонтов, О классификации языков Юго-Восточной Азии, «Страны и народы Востока», вып. XV, М., 1973, стр. 303—308; Chungshee H. Liu, A tentative classification of the races of China, «Zeitschrift für Rassenkunde», 1973, Bd VI, Hf. 2, S. 129—150.

⁴⁴ Н. Н. Чебоксаров, К этнической антропологии Южного Китая, «Сов. этнография», 1973, № 5, стр. 40—50; Р. Ф. Итс, Этническая история юга Восточной Азии, Л., 1972, стр. 3—56.

Центральноазиатская историко-этнографическая провинция

К Центральноазиатской историко-этнографической провинции должны быть отнесены МНР и некоторые районы КНР (Внутренняя Монголия, большая часть Ганьсу, Цинхай, Тибет и Синьцзян). В отличие от Юго-Восточноазиатской и Восточноазиатской провинций, тяготеющих к океанам и включающих значительное количество больших и малых островов, Центральная Азия чисто материковая территория; значительные районы в ней не имеют стока в океан и представляют собой внутренние замкнутые бассейны. Климат повсеместно выраженно континентальный с огромными суточными и сезонными колебаниями температуры, почти везде сухой. Большие пространства заняты пустынями (Гоби, Такла-Макан и др.), полупустынями, сухими степями и горными ландшафтами, вовсе непригодными или малопригодными для земледелия⁴⁵. Впрочем, в начале и середине плейстоцена, когда древнейшие люди расселялись по поверхности земли, в этой части ойкумены периодически существовали более благоприятные климатические условия. Гипотеза о Центральной Азии как о прародине человечества, в свое время очень популярная, в настоящее время почти оставлена, но появление здесь архантропов в нижнем палеолите не вызывает никаких сомнений. Новейшие археологические материалы позволяют предполагать, что древнейшие бродячие охотники и собиратели могли проникнуть в глубь Азии двумя путями: более ранним — с юга (культуры чопперов и чоппингов) и несколько более поздним — с запада (культуры рубил ашельского типа)⁴⁶. В позднем палеолите люди уже освоили большую часть Азии, включая некоторые районы Тибета. Земледелие появилось в Монголии, Синьцзяне и Цинхае почти одновременно с Северным Китаем и носило примерно такой же характер; крашеная керамика Цинхая относится к среднему периоду Яншао. Как и в бассейне Хуанхэ, неолитические насельники Центральной Азии кроме земледелия занимались разведением свиней и собак, а также охотой, рыболовством и собирательством.

Антропологические данные о древнем населении Центральной Азии почти отсутствуют. Однако, учитывая фрагментарные материалы по соседним территориям (например, Средняя Азия, Сибирь, Маньчжурия) и исследования населения более поздних исторических периодов, можно с высокой долей вероятности предполагать, что рассматриваемая провинция входила в зону формирования широко- и высоколицевых континентальных монголоидов, которые на востоке взаимодействовали с монголоидами тихоокеанскими (восточными и южными), а на западе и северо-западе смешивались, начиная по крайней мере с неолита, с проникшими далеко в глубь Азиатского материка южными европеоидами⁴⁷. Хотя земледелие (преимущественно оазисного типа) существовало во многих районах Центральной Азии с глубокой древности, а искусственное орошение арычного типа достигло местами высокой степени развития, все же для народов этой историко-этнографической провинции наиболее характерны сложившиеся на базе древней степной охоты и собирательства различные скотоводческие хозяйственно-культурные типы: первоначально пастушеские, а позднее, с рубежа II и I тысячелетий до н. э., — кочевнические. Среди последних наибольшую роль играли

⁴⁵ «Физико-географическое районирование Китая. Сб. статей», М., 1957, стр. 70—87.

⁴⁶ А. П. Окладников, Палеолит Монголии (К истории первоначального освоения человеком Центральной Азии), IX Международный конгресс антропологических и этнографических наук (Чикаго, сентябрь, 1973), стр. 1—15.

⁴⁷ Н. Н. Чебоксаров, Антропологический состав населения Восточной Азии, в кн. «Народы Восточной Азии» (серия «Народы мира. Этнографические очерки»), стр. 76—89; Э. Р. Тенишев, Еще раз о происхождении лобнорцев, «Труды VII Международного конгресса антропологических и этнографических наук», т. IX, М., 1970, стр. 355—360; А. М. Решетов, Н. Н. Чебоксаров, Указ. раб., стр. 94, 95.

монголо- и тюркоязычные кочевники степей и полупустынь Монголии, Восточного Туркестана (Синьцзяна), отчасти Цинхая и высокогорные скотоводы Тибета. В составе стада у скотоводов Центральной Азии преобладали овцы и лошади, были распространены также козы и крупный рогатый скот, а в высокогорных районах — яки и их помеси с коровами (сарлыки или цзо); в пустынных районах разводили двугорбых верблюдов. В оазисах и других орошаемых районах выращивали засухоустойчивые злаки (просо, чумиза, джугара (сорго поникшее), некоторые сорта пшеницы), в возвышенных районах — ячмень, овес, гречиху; в последние века широко распространились также кукуруза и картофель. Как и в Восточной Азии, видное место в сельском хозяйстве заняли масличные и бобовые. В Синьцзяне развито овощеводство, бахчеводство, плодоводство и виноградарство.

Для большинства кочевых и полукочевых народов Центральной Азии характерны переносные жилища: круглые юрты с деревянным решетчатым остовом и войлочным покрытием у монголов и тюрков или прямоугольные шатры на жердяном каркасе, покрываемые шкурами животных, кошмами или полотнищами шерстяной ткани у тибетцев. Очаг помещается внутри жилища; он служит как для приготовления пищи, так и для отопления. Утварь и посуда большей частью кожаные или чугунные, керамика почти отсутствует, зато широко распространены кожаные сосуды типа бурдюков.

В пище главная роль принадлежит вареному мясу (прежде всего баранине), жирным мясным супам, разным молочным продуктам, в частности топленому маслу, овечьему сыру и кислому молоку. Хлеб употребляется в виде лепешек — пшеничных, ячменных, гречневых и др. Наиболее распространенный напиток — чай, который многие кочевники пьют подсоленным, с молоком и маслом; кобылье молоко используется для приготовления кумыса.

Главные элементы костюма — шерстяные туникообразные рубахи, суконные халаты или куртки, штаны с широким шагом (как у мужчин, так и у женщин), меховые шубы или овчинные тулупы, кожаные сапоги, меховые шапки или фетровые шляпы разных фасонов.

Для прикладного народного искусства кочевников Центральной Азии характерны инкрустации и аппликации на кожаных изделиях, резьба по кости и дереву, чеканка, изготовление войлочных ковров, вышивка. Очень популярны конно-спортивные состязания, разные виды борьбы, соревнования лучников. С кочевым бытом связан также богатый фольклор народов рассматриваемой провинции, герои которого всегда являются лихими наездниками, меткими стрелками, отважными воинами и охотниками. Широко распространены эпические произведения, в особенности сказания — улишери о Гэсэр-хане и других богатырях⁴⁸.

Конечно, многие особенности традиционно-бытовой культуры, непосредственно связанные с кочевым или полукочевым образом жизни, характерны не для всех народов Центральной Азии, а только для тех из них, у которых этот образ жизни сохранился до нашего времени или сохранялся еще недавно. Наряду с кочевниками в Центральноазиатской историко-этнографической провинции, особенно в Синьцзяне или на юге

⁴⁸ Сводку фактических данных по этнографии Центральной Азии см.: В. В. Очинников, Путешествие в Тибет, М., 1957; Ю. И. Журавлев, Этнический состав Тибетского района КНР и тибетцы других районов страны, «Востоочноазиатский этнографический сборник», II, М., 1961, стр. 79—136; его же, Тибетцы, в кн. «Народы Восточной Азии» (серия «Народы мира. Этнографические очерки»), М.—Л., 1965, стр. 503—522; К. В. Вяткина, Народы МНР, там же, стр. 697—788; ее же, Монгольские народы КНР, там же, стр. 652—671; С. А. Арутюнов, С. М. Абрамзон, И. В. Захарова, Э. Р. Тенишев, Д. И. Тихонов, Тюркские народы, там же, стр. 615—651; «Центральная Азия и Тибет. Материалы к конференции», Новосибирск, 1972.

Тибета (долина Цангпо), расселено немало оседлых земледельцев, традиционно-бытовая культура которых значительно отличается от культуры соседних кочевников, хотя и имеет с ней много общих черт. Эти земледельческие группы строят, например, постоянные глинобитные, деревянные или каменные жилища, в большом количестве употребляют в пищу растительные продукты, в частности мучные изделия, овощи и фрукты; нередко шьют одежду из бумажных, пеньковых или шелковых тканей.

С центральноазиатским животноводством, особенно с коневодством, связано, по-видимому, и возникновение оленеводства, которое до настоящего времени играет известную роль в хозяйстве некоторых групп тувинцев на севере МНР, а также у эвенков, живущих на западных склонах Большого Хингана в пределах Внутренней Монголии. Возможно, что первоначальный очаг оленеводства находился в Саянах, на границе Центральной Азии и Сибири. У центральноазиатских, как и у сибирских таежных, оленеводов-охотников до недавнего времени сохранялись такие характерные особенности материальной культуры, как ступательные лыжи, ручная нарта; использование оленя преимущественно как вьючного и верхового животного, коническое жилище типа чума, одежда из ровдуги (тщательно выделанной, наподобие замши, оленьей шкуры), обувь типа мокасин и т. п.⁴⁹

Этническая история Центральной Азии характеризуется длительным взаимодействием сложившихся здесь народов, говорящих на алтайских языках: тюрков, монголов, и отчасти тунгусо-маньчжуров с народами китайско-тибетской семьи — собственно тибетцами и близкими к ним этническими общностями, а позднее с китайцами (хань) и говорящими по-китайски исламизированными хуэй.

На западных рубежах провинции большую этногенетическую роль играли и индоевропейские, преимущественно ираноязычные, народы, проникавшие далеко на восток, вплоть до Тибета и Северного Китая. Сложное переплетение разных этносов сопровождалось расовой метисацией континентальных и тихоокеанских монголоидов с европеоидами⁵⁰. Неравномерным был издавна и конфессиональный состав населения Центральной Азии, где местные верования и культы с сильно развитым шаманизмом вроде религии «бон» в Тибете скрещивались с буддизмом разных направлений (особенно с ламаизмом), с мусульманством в форме суннизма и шиизма разных толков и в меньшей степени с христианством. Во Внутренней Монголии, Синьцзяне и Тибете тюркские, монгольские и тибетские народы сохранили численное преобладание и хозяйственно-культурную самобытность вплоть до 60-х годов XX в.⁵¹. Народы МНР с помощью СССР пошли по пути национальной консолидации и строительства социализма, оказавшего глубокое преобразующее влияние на всю их материальную и духовную культуру.

⁴⁹ Г. М. Василевич, М. Г. Левин, Типы оленеводства и их происхождение, «Сов. этнография», 1951, № 1, стр. 63—87; С. И. Вайнштейн, Проблема происхождения оленеводства в Евразии, «Сов. этнография», 1970, № 6, стр. 3—14; 1971, № 5, стр. 37—52.

⁵⁰ Линь Яо-хуа, Н. Н. Чебоксаров, Указ. раб., стр. 34; А. М. Решетов, Н. Н. Чебоксаров, Указ. раб., стр. 106—110; Н. Н. Чебоксаров, Некоторые вопросы этнической истории Тибета в свете данных антропологии, в кн. «Центральная Азия и Тибет», Новосибирск, 1972, стр. 29—31; Prince Peter of Greece and Denmark, E. L. Edlberg, Y. Balslev Jørgensen, K. Paludan and H. Siiger, Anthropological researches from the 3rd Danish Expedition to Central Asia, København, 1966.

⁵¹ См. Б. Ширендыб, Великодержавный шовинизм группы Мао Цзе-дуна, в кн. «Маоизм глазами коммунистов», М., 1969, стр. 79—92; Т. Р. Рахимов, Национальный вопрос в КНР, в кн. «Китайская Народная Республика», М., 1970, стр. 169—188.

Почти все народы рассмотренных нами историко-этнографических провинций Африки и Зарубежной Азии в настоящее время сохранили многие характерные особенности своей традиционно-бытовой культуры. Поэтому можно с полной уверенностью считать, что выделенные историко-этнографические или историко-культурные провинции и входящие в их состав области, имеющие длительную и сложную историю (истоки которых восходят к зарождению и распространению «производящих» форм хозяйства), и в наши дни являются этнографической реальностью. Вместе с тем, как было отмечено еще в начале статьи, многие народы этих провинций с конца XIX и начала XX в. претерпели ряд глубоких социально-экономических и культурных преобразований, особенно после второй мировой войны, когда они освободились от колониального ига и завоевали политическую независимость. Только на юге Африканского континента (в ЮАР, Родезии и Намибии) еще сохраняются расистские режимы, основанные на бесправии коренных африканцев. Современные экономические процессы вовлечения в мировой капиталистический рынок многих стран Африки и Азии, неравномерность научно-технического прогресса, рост промышленности и городов — все это увеличивает контрасты экономики и культуры, углубляет различия между отдельными районами, а также между социальными группами населения. В то же время развитие коммуникаций и различных средств связи, а также общие политические и экономические интересы, возникшие в ходе борьбы за освобождение от колониального гнета, объединяют разрозненные прежде народы. Для многих из этих стран характерно сохранение традиционной культуры в сельской местности и в то же время быстрое внедрение многих интернациональных черт в быт городского населения.

Большое влияние на формирование новых форм культуры в развивающихся странах Африки и Азии оказывают прогрессивные процессы роста и укрепления мировой социалистической системы, распространение идей социализма, борьба трудящихся масс за некапиталистический путь развития.

AN ATTEMPT AT AN HISTORICAL-ETHNOGRAPHIC REGIONALIZATION OF CERTAIN AREAS OF AFRICA AND ASIA

The authors have made in their paper an attempt to subdivide into regions and describe certain broad areas in Tropical Africa, South-Eastern, Eastern and Central Asia at the turn of the XXth century. The areas in question have much in common but they also differ in many particulars. The distinctive character and cultural unity of individual territories are a result of common historical destinies through many generations linked by linguistic continuity and many specific features in their material and intellectual culture.

The historical-ethnographic or historical-cultural provinces that have been delineated and the regions into which they are further subdivided have a long and involved history. But in our times they form ethnographic entities, since almost all the peoples inhabiting them have conserved many characteristic traits of their traditional everyday culture. At the same time the population of these provinces have by the mid-XXth century passed through a number of profound social-economic and cultural changes, especially after the Second World War, when they gained emancipation from the colonial yoke and political independence.

Г. Н. Грачева

К МЕТОДИКЕ ИЗУЧЕНИЯ РАННИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О ЧЕЛОВЕКЕ

(НА НГАНАСАНСКОМ МАТЕРИАЛЕ)

В настоящей статье мы не стремимся реконструировать всю систему традиционных представлений нганасан о мире и месте человека в нем, а затрагиваем лишь одну из сторон их мировоззрения в прошлом, а именно их представления о человеке как о живом существе, возможности существования «души» или «душ» человека, их «местопребывании».

Именно вопрос о наличии или отсутствии «души» у человека, у других живых существ и даже у предметов неживой природы обсуждается как один из основных моментов, характеризующих два вида или две последовательные ступени первобытного мировоззрения: аниматизм (все в природе живое и в этом качестве подобно человеку) и анимизм (у каждого предмета есть душа, способная существовать отдельно от предмета). В частности, решение этого вопроса служит основанием для проведения грани между дорелигиозным и религиозным сознанием¹. Проблема происхождения ранних форм религии, непосредственно связанная с проблемой «души», продолжает оставаться дискуссионной, что проявилось в докладах и выступлениях на конференции по религии и атеизму, проходившей в Ленинграде весной 1974 г.

Исследование представлений о человеке и его душе у нганасан, одной из народностей Крайнего Севера нашей страны, особенно интересно, они до недавнего времени сохраняли, по выражению А. А. Попова, «в большой чистоте»² свое мировоззрение, и поэтому изучение их духовной культуры, как и духовной культуры других народов Арктики, играет важную роль в решении общих проблем прогрессивного развития человечества на ранних ступенях его истории»³.

Вопросы, связанные с представлениями о «душе» у близкого нганасанам круга народностей, рассматривали многие отечественные и зарубежные ученые. Среди них Х. Паасонен, Б. Мункачи, К. Карьялайнен,

¹ Л. Я. Штернберг, *Первобытная религия в свете этнографии*, М.—Л., 1936; В. Г. Богораз, *Религиозные идеи первобытного человека*, «Землеведение», кн. 1, М., 1908; И. А. Крывелев, *К критике анимистической теории*, «Вопросы философии», 1956, № 2; Ю. П. Францев, *Истоки религии и свободомыслия*, М.—Л., 1959, стр. 197—204; А. Спиркин, *Происхождение сознания*, М., 1960, стр. 284, 285; А. Д. Сухов, *Социальные и гносеологические корни религии*, М., 1961, стр. 26—30; А. Д. Сухов, *Философские проблемы происхождения религии*, М., 1967, стр. 126—137; «Аниматизм», «Анимизм», «Душа», «Философская энциклопедия», М., 1960—1962; «Аниматизм». БСЭ. М., 1970. Некоторые исследователи отказываются от этих терминов. См., например, С. Geertz, *Religion as a culture system*, «Anthropological Approaches to the Study of Religion», London, 1966, p. 1—46.

² А. А. Попов, *Тавгийцы*, М.—Л., 1936, стр. 3.

³ Б. О. Долгих, *Вступительное слово на симпозиуме «Проблемы этнографии и антропологии Арктической зоны»*, «Труды VII Международного конгресса антропологических и этнографических наук» (МКАЭН), т. 10, М., 1970, стр. 452.

В. Н. Чернецов у угров⁴, А. А. Попов у енисейских ненцев (юраков), долган и собственно у нганасан⁵, Е. Д. Прокофьева у ненцев, энцев и селькупов⁶, Л. В. Хомич у ненцев, В. И. Анучин и Е. А. Алексеев у кетов⁷. Скандинавские ученые У. Харва, Т. Итконен, И. Паульсон, О. Петерсон, Н. Стора и другие при анализе интересующих нас представлений широко привлекали северосибирский материал⁸. В результате сложились определенные варианты решения этой проблемы, построенные на различном подходе к источникам. Ученые считали, что на ранней стадии развития мировоззрения для народов характерны представления о существовании одной души (Мункачи), нескольких душ (Карьялайнен, Чернецов, Прокофьева), множественности душ (Петерсон), дуалистического плюрализма (Паульсон) и др. Л. Я. Штернберг и В. Г. Богораз полагали, что народам на стадии первобытности присущи взгляды о множественности душ⁹.

До настоящего времени не выработался стабильный подход к изучению развития представлений о «душе». В. Н. Чернецов показал это на примере разработки данной темы у обских угров: каждый последующий исследователь возражал против концепций предыдущего. К. Карьялайнен не соглашался с позицией Б. Мункачи и общетеоретическими положениями В. Вундта, В. Н. Чернецов — с позицией К. Карьялайнена. Характерно, что все ученые пользовались приблизительно одинаковым материалом¹⁰.

Все упомянутые исследователи оперируют понятием «душа»; в этом, на наш взгляд, проявляется глубоко традиционный, несомненно, исторически обусловленный подход к теме. Ближе всего к новому решению проблемы подошел советский этнограф-сибиревед А. А. Попов. В статье 1958 г., посвященной долганам, он писал: «Что от крови, дыхания и тени зависела жизнь — это, вероятно, человек осознал очень рано. Полагая, что первобытный человек считал их душой, ученые пришли бы к выводу об извечности представлений о душе. Но в понимании первобытного

⁴ H. Paasonen, Über die ursprünglichen Seelenvorstellungen bei den finnisch-ugrischen Völkern, «Journal de la Société Finno-Ougrienne», Bd XXVI, Helsinki, 1909, S. 1—27; B. Munkaäsi, Seelenglaube und Totenkult der Wogulen, «Keleti Szemle», évf. VI, sz. 1, Budapest, 1905, S. 65—130; K. Karjalainen, Die Religion der Jugra-Völker, Bd 1, «Folklore Fellows Communications», 41, Porvoo, S. 23—49; В. Н. Чернецов, Представления о душе у обских угров, «Труды Ин-та этнографии АН СССР», т. LI, М., 1959, стр. 114—156.

⁵ А. А. Попов, Енисейские ненцы (юраки), «Известия Всесоюзного географического о-ва», т. 76, вып. 2—3, М., 1944, стр. 88, 90; его же, Религия долган, Архив Ленинградского отделения Института этнографии (ЛОИЭ) АН СССР, ф. 14, оп. 2, № 65а, лл. 186—189; его же, Нганасаны. Социальный строй, религия и изобразительное искусство, Архив ЛОИЭ АН СССР, ф. 14, оп. 1, № 34, лл. 138—142 (далее — А. А. Попов, Нганасаны). Документы, хранящиеся в архиве А. А. Попова, на которые мы ссылаемся, представляют собой отдельные монографии, написанные в 1941—1950 гг. и подготовленные к печати.

⁶ Е. Д. Прокофьева, Костюм селькупского (остяко-самоедского) шамана. «Сборник Музея антропологии и этнографии» (далее «Сборник МАЭ»), т. 11, М.—Л., 1949, стр. 335—375; ее же, Материалы по религиозным представлениям энцев, «Сборник МАЭ», т. 14, М.—Л., 1953, стр. 206—222; ее же, Представления селькупских шаманов о мире, «Сборник МАЭ», т. 20, Л., 1961, стр. 57.

⁷ Л. В. Хомич, Ненцы, М.—Л., 1966, стр. 208, 209, 216, 222; В. И. Анучин, Очерк шаманства у енисейских остяков, «Сборник МАЭ», т. 2, СПб., 1914, стр. 10; Е. А. Алексеев, Кеты, Л., 1967, стр. 196, 197.

⁸ U. Harva, Die religiösen Vorstellungen der Altaischen Völker, «Folklore Fellows Communications», 125, Porvoo—Helsinki, 1938, S. 250—278; T. Itkonen, Heidnische Religion und späterer Aberglaube bei den finnischen Lappen, «Mémoires de la Société Finno-ougrienne», 87, Helsinki, 1946; I. Paulson, Die primitiven Seelenvorstellungen der nordeurasischen Völker, Stockholm, 1958, и другие работы этого автора; O. Pettersson, Jabmek and Jabmeaimo, Lund, 1957, p. 41—67; N. Stora, Bureäl customs of the skolt Lapps, «Folklore Fellows Communications», 210, Helsinki, 1971, p. 183—196.

⁹ Л. Я. Штернберг, Указ. раб.; В. Г. Богораз, Указ. раб.

¹⁰ В. Н. Чернецов, Указ. раб., стр. 114—117.

человека не всякая жизненная субстанция есть душа, представление о ней является характерной особенностью позднейшего анимистического мировоззрения»¹¹. О неправомерности употребления термина «душа» по отношению к крови, дыханию, телу писал и С. А. Токарев¹². Богатейшие полевые материалы А. А. Попова, в частности и по нганасанам, послужили отправной точкой для дальнейших исследований в области представлений о «душе». Нет возможности в настоящей статье охватить все обширные теоретические труды по этой теме, отражающие материалы других этнических регионов. Их разбору и оценке с позиций исторического материализма может быть посвящена специальная монография, отсутствие которой очень остро ощущается в настоящее время.

В основу настоящей статьи положены полевые материалы автора (экспедиции к нганасанам 1969—1974 гг.) с привлечением литературных и архивных источников. В частности использована неопубликованная работа А. А. Попова по духовной культуре нганасан¹³. Нами в значительной степени подводятся итоги исследования автором ранних представлений нганасан о человеке¹⁴.

Когда прежде в научной литературе шла речь о «душе» применительно к воззрениям аборигенов Севера Сибири, слово «душа» прибавлялось к важнейшим проявлениям жизнедеятельности человека и к важнейшим элементам его верований. Так появились «душа-тело», «душа-дыхание», «душа-кровь», «душа-двойник», «душа-тень» и т. п. Ни один из нганасан никогда не пользуется подобной терминологией. Эта научная традиция исторически обусловлена тем, что термин «душа» воспринят из высокоразвитых религий, в частности из христианства¹⁵. Ни термин «душа», ни более близкий к взглядам нганасан термин «жизненное начало», который мы встречаем у А. А. Попова¹⁶, не отражают полностью комплекс представлений, который они вкладывают в употребляемые у них соответствующие термины. Мы попытаемся избежать термина «душа», так как он ничего не прибавляет к пониманию сути дела. Оговоримся, что в нашей статье объединены и упорядочены представления нганасан, выявленные на основе разрозненных информационных и лингвистических данных. Во время сбора сведений по погребальному обряду (информация собиралась преимущественно у стариков) попутно был собран материал о традиционных взглядах на человека, его жизнь и посмертное существование. В результате анализа с привлечением данных по некоторым пережиточным обычаям нганасан была сделана попытка реконструировать ранний пласт их мировоззрения. Таким образом, степень углубления в прошлое для целей реконструкции была незначительной. После того, как основной текст статьи был написан, он был прочитан самим нганасанам и не вызвал с их стороны возражений.

На нганасанском материале выявляется, что абсолютно все, связанное с существованием человека (и других существ), его практикой, его творчеством, со всем, что ему присуще, объединяется термином *нилу* — жизнь = жизненность. Чаще употребляют термин *нилымыты* (или *нилы*) — жизнь, далее следуют суффиксы — показатели предельности

¹¹ А. А. Попов, Пережитки древних дорелигиозных воззрений долганов на природу, «Сов. этнография», 1958, № 2, стр. 88.

¹² С. А. Токарев, Ранние формы религии, М., 1964, стр. 98, 99.

¹³ А. А. Попов, Нганасаны.

¹⁴ Г. Н. Грачева, Ранние представления нганасан о человеке, Автореф. канд. дис., Л., 1974.

¹⁵ В употреблении этих двойных названий проступает обычай, ведущий к известному немецкому психологу В. Вундту, который постоянно пользовался такой терминологией. См., например, В. Вундт, Миф и религия, СПб., с. а., стр. 52—158.

¹⁶ А. А. Попов, Нганасаны, л. 92: «Это жизненное начало отделено от тела и способно существовать и после физической смерти самого животного» (по представлениям о животных).

и становления). Таким образом, наиболее точный перевод этого термина — «жизнь продолжающаяся, когда-то установленная, ставшая»¹⁷. Слова *нилымы* (жизнь), *нилыди* (жить), *нилыт'е* (живой) собиратели нганасанского материала относили к понятию «душа»¹⁸.

По представлениям нганасан, жизнь или жизненность (*нилу*) каждого отдельного человека свойственна в первую очередь ему самому. Она в каждой частице его крови и плоти, волосах, ногтях, коже и т. д., в его мыслях, в его «тени». Но, кроме того, она присуща и всем предметам, с которыми он соприкасается. *Нилу* человека в его жилище, одежде, предметах пользования, вещах, которые он сделал, оставив в них часть своей *нилымы*. Таким образом, этот термин объединяет абсолютно все, с чем человек постоянно имеет дело, что ему близко. Если, например, женщина сшила одежду — в ней осталась часть ее *нилу*. Мужчина сделал нарты — в них его *нилу*. Если на этих нартах ездит женщина с детьми — в них уже *нилу* и мужчины-мастера, и женщины-хозяйки нарт и ее детей. В течение своей жизни человек на всем, с чем он близко связан, как бы оставляет по частицам свое *нилу*, свою жизнь. В шесты чума, шкуры, которыми он укрыт, включается еще кроме жизни тех, кто строил чум, *нилу* оленей, *нилу* дерева и т. д. По отношению к предметам, от которых зависит жизнь человека, употребляется термин *нилыпсы*. Оказывается, что чем больше человек прожил, тем больше частиц своей жизни он оставил на земле среди других людей и вещей, тем не менее существующих самостоятельно. Кроме того, в каждой из таких частиц человек оставляет себя целиком вместе со всем, что ему присуще.

Нганасаны выделяют, естественно, несколько наиболее важных элементов, отражающих преимущественно функции живого организма, которые «жизнь держат», часто переводят их по-русски «душа». Среди них наиболее важными считаются сердце (*сэ*), глаза (*сеймы'*), дыхание (*бачй'*), мозг (*диэ*), тень (*сызэңкэ*). А. А. Попов в 1930-х годах обнаружил также и наличие души-крови (*кам*)¹⁹. Видимо, в более отдаленное от нас время нганасаны придавали такое же значение органам слуха, что видно из материалов А. Ф. Миддендорфа, П. И. Третьякова²⁰, наших полевых материалов. Исследователи свидетельствуют о том, что, по представлениям нганасан, умершие слышат разговор живых.

Количество жизненно важных элементов неограниченно. К каждому из них в период их функционирования, равно как и ко всем вместе, приложимо слово *нилымыты*²¹. Особо следует отметить термин, записанный Ю. Б. Симченко в качестве синонима «души» — *тынсэ'а*²². Выяснилось, что он почти аналогичен русскому слову «мысль». По старым представлениям нганасан, *тынсыэ* — это вполне материальная субстанция, в какой-то мере даже способная жить отдельно от человека: «Сам я в чуме сижу, а *тынсыэ* моя возле оленьего стада ходит, туда перекочевала». По-русски нганасаны могут выразить это так: «Моя душа (*тынсыэ*) возле стада».

¹⁷ Консультация по структуре нганасанского языка получена нами у Е. П. Болдыт (г. Томск) — ученицы А. П. Дульзона. См. также Н. М. Терещенко, Нганасанский язык. «Языки народов СССР», т. 3, М., 1966. Записанные нами нганасанские слова даны в транскрипции, употребляемой Н. М. Терещенко, и проверены работающим с Н. М. Терещенко нганасаном А. Ч. Момде.

¹⁸ См.: П. Третьяков, Туруханский край, «Записки Русского географического общества по общей географии», т. II, СПб., 1869, стр. 418 (*нилыты*); А. А. Попов, Тавгийцы, стр. 55 (*нылыт*); его же, Нганасаны, л. 138 (*нилыт*).

¹⁹ А. А. Попов, Нганасаны, л. 150.

²⁰ А. Ф. Миддендорф, Путешествие на север и восток Сибири, ч. II, отд. VI, СПб., 1878, стр. 685; П. Третьяков, Указ. раб., стр. 434.

²¹ В данной статье мы не рассматриваем во всем объеме терминологию, относящуюся к посмертному существованию человека.

²² Ю. Б. Симченко, Праздник Аны'-дэлы у авамских нганасан, «Труды Ин-та этнографии АН СССР», т. 84, М., 1963, стр. 169.

Почему же сами нганасаны переводят термины, означающие жизненно важные явления, русским словом «душа»? ²³ Наиболее вероятное объяснение заключается в том, что само это русское слово пришло к нганасанам через христиан, употреблявших его в совершенно определенном значении; с ними, собственно, и проник сюда русский язык. Аборигены же вложили в это слово содержание, которое, как им показалось, наиболее соответствовало их представлениям. Это явление, вероятно, в какой-то мере косвенно отражает и пути формирования самого понятия «душа». Стоит обратить внимание на то, что при переходе к другому языку вообще в новое слово могло быть вложено старое содержание (в данном случае к самодийскому от досамодийского, возможно юкагирского или одного из тунгусских) ²⁴.

Так как *нилу* существует в каждой частице человеческой плоти (в волосах, ногтях, слюне, коже и т. п.) и во всех вещах, которыми пользуется человек, то, например, старую одежду живого человека нельзя бросать, «надо век возить в санках», иначе ее «затопчут», и человек потеряет часть своей *нилу*, а значит «через недолгое время может умереть». До сих пор этот запрет строго соблюдается по отношению к предметам, принадлежащим детям. Для коллекций невозможно приобрести поддержанную детскую люльку или одежду. В том случае, если ребенок умер, его *нилу*, находившаяся в этих предметах, становилась *нилу* умершего, поэтому эти вещи должны были «отправляться» вместе с ним и оставлялись возле места захоронения.

Все жизненно важные элементы дает человеку Луна-мать, *Кычезанемы*. Полагали, что после того, как девушка выходит замуж, *Кычезанемы* сразу начинает считать месяцы и через некоторое время дает будущему ребенку молодой женщины сердце, затем глаза (последовательность в ответах варьируется), мозг. При появлении ребенка на свет, как только он открывает рот для первого вздоха, Луна-мать сбрасывает ему сверху нить — *мота*, которая через рот попадает в сердце и там как бы прирастает. По другим сведениям, эта нить носит название *быны* ²⁵, букв. «веревка», связывающая людей с Луной-матерью. Нить иногда называют по-русски «душой». Например, когда говорят «мягкая у него была душа», имеют в виду, что нить была непрочной. По другим данным, нити связывают человека с Солнцем-матерью — *Коу-немы*, она же *Дялы-немы*, букв. «День-мать», или с *Дёйба-нуо* (любимый персонаж нганасанского фольклора, сирота-парень, превратившийся в *нуо*) ²⁶. Последнее представление о *Дёйба-нуо* явно позднейшего происхождения. По некоторым данным нити также отождествляются с дыханием *бачй'*. Такое же название *бачй'о* носит и пар, который выходит изо рта человека во время дыхания ²⁷. М. А. Кастрен переводил нганасанское *vaity'* — *Seele* — душа ²⁸.

Более ранним было, по-видимому, представление о «нитях», которые держит в своих руках Солнце-мать. Считалось, что под влиянием Солнца дыхание крепнет. Когда человек плохо себя чувствовал, лежал в чуме, ему предлагали выйти из чума на воздух, чтобы его *бачй'* окрепло, так как покрывка чума препятствовала проникновению сил Солнца-матери

²³ Это отметили при полевой работе по нганасанскому языку лингвисты Е. П. Больдт и А. К. Столярова, Устное сообщение 1973 г.

²⁴ О возможном изменении языка таймырскими предками нганасан см. Б. О. Долгих, Происхождение нганасанов, «Труды Ин-та этнографии АН СССР», т. XVIII, М.—Л., 1952, стр. 11.

²⁵ Б. О. Долгих, Матриархальные черты в верованиях нганасан, «Проблемы антропологии и исторической этнографии Азии», М., 1970, стр. 221.

²⁶ Там же, о термине *нуо* см. Б. О. Долгих, Принесение в жертву оленей у нганасан и энцев, «Краткие сообщения Ин-та этнографии АН СССР», вып. 33, М., 1960, стр. 73.

²⁷ А. А. Попов, Нганасаны, л. 140.

²⁸ М. А. Castren, Wörterverzeichnisse aus den Samoiedischen Sprachen, St.-Pbg., 1855, S. 68.

или Луны-матери. Смешение этих представлений, вероятнее всего, связано с особенностями полярных областей, где половину года свет луны заменяет свет солнца. Зачастую «нити» отождествляются с солнечным лучом *дизар*. Более ярко такое отождествление выступает у энцев.

Если «нить», сброшенная человеку, крепка, он живет долго. Про умершего младенца говорят, что его нить была совсем короткой; произносят также фразу: *бачй' кэхой''э*, что по-русски переводят: «душа оторвалась». Из этих фраз видно, что жизненная «нить» полностью отождествляется с дыханием, поскольку нганасаны чаще всего употребляют русское «душа» применительно к дыханию *бачй'*. После того как Луна или Солнце сбросили нить, растит человека, как и всех животных, Земля-мать — *Моу-немы*.

Неотъемлемой частью *нилу* (жизни) является *сызэнка* («тень»). Анализ имеющихся материалов показывает, что нганасанское *сызэнка* (часть, образ, кусок, доля, срез, половина) семантически ближе стоит к русскому слову «образ».

Употребляя русское слово «образ», мы, естественно, не собираемся целиком отождествлять старое нганасанское и старое русское мировоззрение. Однако этимология слова «образ» весьма любопытна: «Образ. Общеславянское. Образовано от *ob-* и *gazъ*, связанного чередованием с *rezati*; см. *раз*, *резать*. Отсюда *образовать*. См. также *образити*, 'изобразить, нарисовать'. *Раз* — первоначально *razъ* 'удар', связанное чередованием гласных с *резать*. Родственно литовскому *ruožas* 'полоса, черта'. *režti* 'резать, делать черту'»²⁹.

Ненецкое *сидянг*, к которому ближе всего стоит нганасанское *сызэнка*, по мнению Л. В. Хомич, означает «двойник» от *сидя* 'два'³⁰. Если *бачй'* в виде нити-дыхания подходит к сердцу, то *сызэнка* «в голове сидит». Анализ сведений о *сызэнке* показывает, что этот термин применяется для обозначения образа человека, возникшего на уровне представления другого человека. По мнению нганасан, через этот образ можно нанести вред самому человеку и даже убить его, в особенности, если имеется еще какая-то частичка, принадлежащая человеку, в которой находится его *нилу*, — часть его одежды, волос, ноготь, просто его след. Здесь очень ярко проступает принцип «любая часть есть целое». *Сызэнка* человека есть сам человек.

Напрашивается вывод, что в процессе чувственного познания-отражения мира³¹ на уровне представления возникает образ, который на определенной ступени сознания воспринимается как сам предмет, образом которого он является. Этнографические материалы показывают и отношение к этому образу как к самому предмету. Что касается человека, то его образ имеет все качества, которые приписываются ему самому. В нашем случае это *сызэнка*. А если человек умер? Он «уходит в землю» (разлагается), вместе с ним «идет» и *сызэнка*; в то же время *сызэнка* (образ) остается в памяти живых, пока тоже не «уйдет в землю» (исчезнет, забудется). В этих представлениях нет места для христианского понятия «душа».

Нганасанский материал позволяет предложить методику для рассмотрения представлений о так называемой душе для раннего пласта мировоззрения у близкого нганасанам круга народностей. Автор надеется, что она может быть применима и к другим народностям далекого от нганасан круга.

²⁹ А. Преображенский, Этимологический словарь русского языка, М., 1959; см. также: М. V a s t e r g, Russisches etymologisches Wörterbuch, Heidelberg, 1958.

³⁰ Устное сообщение Л. В. Хомич, 1973 г. Ср. ненецкое *сидян'* — надрыв, пополам; см. «Ненецко-русский словарь», сост. Н. М. Терещенко, М., 1965.

³¹ См., например, В. С. Т ю х т и н, О природе образа, М., 1963; Ф. И. Георгиев, В. И. Дубовский, А. М. Коршунов, И. Б. Михайлова, Чувственное познание, М., 1965; А. М. Коршунов, Адекватность образа и активность познания, в кн. «Проблемы отражения», М., 1969.

1. Возникает настоятельная необходимость отказаться от термина «душа» и проводить исследование, опираясь исключительно на местную терминологию, бытующую у изучаемой народности. Это тем более необходимо, что именно «язык есть практическое, существующее и для других людей и лишь тем самым существующее также и для меня самого, действительное сознание»³². В некоторых случаях, особенно это касается более развитых, затронутых канонизированными религиозными системами представлений, следует попытаться реконструировать первоначальное содержание понятия «душа». Можно предположить, что оно или будет равно понятию «жизнь», или будет относиться к одному из важнейших элементов, ее составляющих. Возможны и другие варианты.

2. Особое внимание при этом необходимо обратить на содержание местных понятий, которые переводятся на русский язык словом «жизнь», не включая их в общий ряд с другими элементами, от которых зависит эта жизнь и которые в сибиреведческой литературе принято называть «душой-кровью», «душой-телом», «душой-дыханием», «душой-двойником-тенью» и т. п. По нганасанским материалам смысловая сторона *нилу* перекрывает все остальные «составляющие».

3. При реконструкции раннего мировоззрения иногда правомерно употреблять по отношению к человеку местный термин, переводимый русским словом «жизнь», вместо термина «душа». Это исключает возможность заведомого привнесения категории из другой мировоззренческой системы, ставит под сомнение существование теории плюрализма и парциальности душ для более ранних представлений человека о себе. В соответствии с этими воззрениями реальная жизнь и идеальное существование после смерти едва ли могли противопоставляться друг другу. Такой подход помогает выявить единый мир человека.

4. Не меньшее внимание должно быть уделено понятию, существующему у широкого круга сибирских народов, переводимому словом «тень» и, по-видимому, приблизительно соответствующему русскому «образ». Нганасанский материал показывает, что на ранних этапах процесса познания-отражения мира мы имеем дело с образом, который мыслится материальным, вещественным, т. е. с материализацией образа.

5. Рассматривая местную терминологию, касающуюся представлений о «душе», «жизни», «тени», «потусторонних существах» и т. п., необходимо выявлять круг соответствующих понятий у близкородственных этнических групп, пользуясь, в частности, методами функциональной семантики, чтобы прийти к возможно более правильной интерпретации содержания интересующего термина³³.

6. При рассмотрении соответствующего материала можно достигнуть желаемых результатов, лишь постоянно опираясь на реальную общественную практику и особенности логики мышления человека на разных ступенях развития, имея в виду, что канонизированные представления в свою очередь накладывают на практику определенный идеологический отпечаток³⁴. Необходимо «исходить именно из действительного

³² К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., т. 3, стр. 29.

³³ Интересно было бы, например, в связи с представлениями нганасан о половине человека, живущей в земле мертвых и иногда являющейся на средней земле, выявить этимологию нганасанского *баруси* — половины человека, существующей в невидимом мире, преимущественно злого существа. Ср.: ненецк. *вар'* — грязь, *парнэ* — ведьма; финск. *pari* — пара; эвенк. *бардус-барги* — противоположный, противоположное пространство, *харги* — черт, дьявол, злой дух; эвен. *bargag* — заречный, находящийся за рекой и т. д. Нганасанский *баруси* как будто не имеет человеческой *нилу* и никогда не сочетается в переводах с русским «душа».

³⁴ Обращаясь в связи с этим к исследованиям философов, связанным с проблемой логики, мы предлагаем читателю для сравнения точек зрения следующие работы: С. Н. Смирнов, Дialeктика отражения и взаимодействия в эволюции материи, М., 1974, стр. 272—285; Э. В. Ильенков, Дialeктическая логика, М., 1974, стр. 211—232; «Практика и познание», М., 1973.

субъекта и делать предметом своего рассмотрения его объективирование»³⁵.

Что дает предлагаемая методика, хотелось бы проиллюстрировать несколькими частными примерами на материалах близких нганасанам народностей.

Например, в статье Е. Д. Прокофьевой о селькупках читаем: «Луч солнца и душа называются одним словом *ильсат* (*ил'* — жизненное начало, отсюда глагол *илько* 'жить': *сат* — именной суффикс)»³⁶. Селькупское *ил*, по-видимому, представляет собой словообразовательную основу для понятий, близких слову «жизнь». Таким образом, возможна реконструкция представления о том, что существует не «душа», а «жизнь» в виде солнечного луча, посланная Солнцем или, по представлениям селькупов, старухой *Илынтыль кота имыля*³⁷. При этимологизации учитывается положение установленное А. П. Дульзоном, что аффикс *и* в урало-алтайских языках (для некоторых языков сочетание *ил*) связывается с глаголом бытия. У кетов основой глагола «жить» является *у*³⁸. В кетских материалах, приводимых Е. А. Алексеенко, ближе всего к понятию жизнь стоит так называемая душа *ульвей*, по В. И. Анучину, «главная душа»³⁹. Пока можно лишь предположить, что все остальные «души» являются частными по отношению к основному понятию. Попробуем приложить предлагаемую методику к угорскому материалу, приводимому В. Н. Чернецовым⁴⁰. Он считал, что число душ ограничено: «У мужчин этих душ пять, у женщин — четыре». И далее: «... душа-тень имеет название *is*, *is-xor* 'тень душа', 'облик души' (слово *xor* означает 'облик', 'вид')»⁴¹. По этимологии В. Штейница, *is* — «тень», которая есть у каждого человека. Привлекая материалы специалистов по этнографии финно-угорских народов, В. Штейниц трактует *is* одновременно и как «тень-душу» или «свободную душу»⁴². Таким образом, по переводу, принадлежащему самому В. Н. Чернецову, понятие «души» первоначально в термине *is-xor*, по-видимому, отсутствовало, его буквальный перевод — «тень-вид», «тень-облик». Тем более что из следующих материалов становится ясным, что «тень-вид», «тень-облик» (ближе к русскому «образ») имеют не только люди, но и вообще все предметы⁴³. Следующей «душой» оказывается «уходящая вниз (по реке. — В. Ч.) тень», третьей — «сон-тень», четвертой — «душа реинкарнирующаяся» *lili*, которая ближе всего стоит к понятию «жизнь», определяющемуся через понятие «дыхание», поскольку приводимая В. Н. Чернецовым подборка переводов из родственных хантам и манси языков свидетельствует об этом⁴⁴. По существу оказывается, что автор обсуждает возможные местопребывания «тени»-образа и в одном случае реинкарнирующуюся жизнь уже по терминологии, близкой к понятию «душа».

Понятно, что чем более представления о человеке затронуты влиянием «высоких» религий, тем сложнее выявить у народности соответст-

³⁵ К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., т. 1, стр. 244.

³⁶ Е. Д. Прокофьева, Представления селькупских шаманов о мире, стр. 57, 58.

³⁷ Там же, стр. 57.

³⁸ А. П. Дульзон, Древние формы состояния в урало-алтайских языках, «Вопросы языкознания», 1971, № 1, стр. 76; его же, О методологии историко-сопоставительного изучения неродственных языков, «Уч. зап. Томского ун-та», № 57, 1966, стр. 83.

³⁹ Е. А. Алексеенко, Указ. раб., стр. 196, 197.

⁴⁰ В. Н. Чернецов, Указ. раб., стр. 114—156.

⁴¹ Там же, стр. 115, 117.

⁴² W. Steinitz, Dialektologisches und etymologisches Wörterbuch der ostjakischen Sprache, 2 Lief., Berlin, 1967, S. 187.

⁴³ В. Н. Чернецов, Указ. раб., стр. 117, 118. Также у нганасан *сызэңкэ*, у якутиров *aibi*; см. W. Jochemson, The Yukaghir and the Yukaghirized Tungus, Leiden — N. Y., 1924, p. 146.

⁴⁴ В. Н. Чернецов, Указ. раб., стр. 126, 134, 137. Взгляды В. Н. Чернецова спорны, однако это несколько не умаляет заслуг одного из крупнейших советских этнографов и археологов, очень глубоко изучавшего духовную культуру угров.

вующий пласт. Чем более контактна народность в языковом отношении, тем более обогащается ее язык за счет привнесенной лексики, получающей на новой почве определенный семантический оттенок, и увеличиваются трудности выявления соответствующего пласта древнего мировоззрения. С такими трудностями, по-видимому, в частности, приходится сталкиваться на материалах древних представлений тюрков Алтая⁴⁵. Думается, что при выявлении семантического поля термина и его аналогий в других языках, для восстановления интересующего нас пласта мировоззрения в качестве отправной точки целесообразнее было бы исходить из представлений и терминологии какого-то одного народа, так как слова, попадая в другие языки, приобретают в них и особую смысловую окраску, часто не свойственную языку-носителю.

Приведенные попытки применить предлагаемую методику к материалам по другим народам, конечно, не претендуют на исчерпывающую точность. Нам хотелось лишь показать возможный путь реконструкции. Необходимы совместные усилия этнографов, лингвистов, фольклористов, философов для решения вопроса в каждом конкретном случае, для выявления сложнейшего пути развития мировоззрения, в основе которого лежит реальный человеческий общественный опыт.

TOWARDS METHODS OF RESEARCH INTO EARLY CONCEPTS OF MAN (ON NGANASAN DATA)

The article contains an analysis of literature and field ethnographic data on traditional ideas held by the Nganasans (Taymyr) on human life, about man's vital organs and their functions, and human nature in general. The investigation leads to the conclusion that the term soul used in the ethnographic works on Nganasans does not correspond to the traditional world outlook of this people.

The author suggests an original method for the identification of definitely primitive strata in human concepts. The method is based on a refusal to use the term soul in preference to aboriginal terminology. The author widely uses comparative data on other Siberian peoples. It is hoped that the approach may be useful in investigating similar ethnographic material from peoples in other regions.

⁴⁵ Н. А. Баскаков, Душа в древних верованиях тюрков Алтая (термины, их значения и этимология), «Сов. этнография», 1973, № 5, стр. 108—113.

Б. Н. Путилов

О СОВРЕМЕННОЙ ФОЛЬКЛОРИСТИКЕ ЮГОСЛАВИИ

1

В Югославии о фольклоре говорят и пишут много, и не только в плане научном. Обращает на себя внимание большой и, пожалуй, все возрастающий интерес общественности к проблемам фольклора, прежде всего к таким, как судьба фольклора в современных условиях общественного развития, его место и роль в социалистической культуре, фольклор и современный быт, фольклор и современное искусство, фольклор и туризм и т. д.

В силу известных социально-экономических, бытовых и культурных условий живые традиции народного искусства — в его разнообразных формах — сохранились у народов Югославии довольно прочно. Многие из этих традиций составляют органическую часть современной народной культуры и народного быта и вступают в сложные взаимодействия с новыми процессами в быту и культурной жизни.

Разумеется, в обстановке быстрых и интенсивных преобразований, глубоко затрагивающих все стороны жизни народа, в условиях урбанизации и преодоления остатков патриархальности народное искусство в целом и в составных его частях также переживает серьезные процессы. Многие старые традиции затухают либо качественно преобразуются. В этих условиях теоретическое и практическое значение приобретает вопрос о путях и средствах включения традиционного фольклора в развивающуюся социалистическую культуру.

Проблемами фольклора занимается множество разных по профилю, масштабам и научной значимости учреждений и организаций. Основная работа сосредоточена в университетах, институтах академий наук, консерваториях и музеях. Здесь нужно назвать в первую очередь филологические (или философские) факультеты университетов в Белграде, Загребе, Любляне, Сараеве, Скопле, Приштине, Этнографический и Музыковедческий институты Сербской Академии наук и искусств в Белграде, Институт народного искусства в Загребе, Этнографический институт в Любляне, Институт фольклора в Скопле, Матицу Српску в Новом Саде, консерватории в Белграде, Загребе, Сараеве, Земальский музей в Сараеве, Этнографический музей в Цетинье, Музей Косова и Метохии в Приштине и др. Здесь организуется полевая и исследовательская работа, многие учреждения издают сборники, монографии, журналы, полностью или частично посвященные проблемам фольклора.

Своеобразным центром фольклористической жизни страны стал Союз фольклористов Югославии. Созданный в 1955 г. в целях координации работы республиканских обществ, осуществления мероприятий по пропаганде фольклора и проведения научных конференций, смотров и т. д., Союз фольклористов представляет ныне организацию мощную, авторитетную и деятельную. В него входит большинство активно работающих ученых, а также люди, не занимающиеся научной работой, а соприкасающиеся с фольклором по роду своих занятий (работники радио и те-

левидения, руководители музыкальных коллективов, представители туристических организаций и др.), и фольклористы-любители.

Наиболее крупное достижение Союза — это организуемые им ежегодно конгрессы. Со временем они приняли международные масштабы. Пожалуй, Югославия — единственная страна (во всяком случае в Европе), где каждый год по заранее разработанной программе проходят крупные фольклористические конгрессы, собирающие ученых многих стран. Кроме собственно научной части конгрессы включают обычно смотры народного творчества того края, в котором они проходят. Научные результаты работы каждого конгресса отражаются в специальных фундаментальных сборниках («Рад... Конгреса Савеза фолклориста СФРЮ»), которые также получили международное признание. К 1974 г. таких сборников вышло 15¹.

Заметное место в научной жизни страны занимают симпозиумы, конференции и совещания по проблемам фольклора — словесного, музыкального, хореографического. Назовем, например, симпозиумы, организуемые Международным славистическим центром в Белграде (IV Симпозиум, прошедший в октябре 1974 г., был посвящен проблеме «Югославская баллада в европейской культуре» и приурочен к 200-летию первой публикации знаменитой баллады «Хасанагиница»), симпозиумы по балканскому фольклору в Охриде, традиционные встречи этнологов, фольклористов и музыковедов в г. Неготине, посвящаемые композитору С. Мокраянцу, и др. Поучителен опыт проведения научных встреч и симпозиумов в рамках программы различных фольклорных фестивалей и смотров, что позволяет связать теоретические обсуждения с практикой современного живого народного искусства (например, дискуссии специалистов предусмотрены программами международных смотров фольклора в Загребе).

2

Для югославской фольклористики достаточно острым и актуальным является вопрос о предмете науки, о ее задачах, границах и методологических принципах.

Широко распространено мнение, что фольклор — это совокупность многообразных по своей природе видов народного художественного творчества: народной словесности, музыки, хореографии, живописи, орнаментики, украшений, вышивки и т. д., словом, в чем выражается художественная фантазия народа². Наряду с этим можно отметить и другую тенденцию — к последовательному отграничению народной словесности от других видов народного искусства и к определению именно ее как «фольклора» в собственном смысле³.

Признание учеными широкого содержания понятия «фольклор», однако, не означает еще единства их взглядов на задачи этой науки. Суще-

¹ См. В. Е. Гусев, XI конгресс фольклористов Югославии, «Сов. этнография», 1965, № 2; В. Е. Гусев, Б. Н. Путилов, Конгрессы югославских фольклористов, «Сов. славяноведение», 1965, № 5; Б. Н. Путилов, XII конгресс Союза фольклористов Югославии, «Сов. этнография», 1966, № 1; его же, На конгрессе югославских фольклористов, «Сов. славяноведение», 1967, № 2; В. Е. Гусев, На XVII конгрессе фольклористов Югославии, «Сов. этнография», 1971, № 3.

² См., например: М. Барјактаровић, Мишлења о терминима етнологија и фолклор, «Гласник Етнографског музеја у Београду», књ. XIX, 1956; Br. Rusić, Odredba pojma «Folklor», «Rad Kongresa folklorista Jugoslavije u Varaždinu 1957», Zagreb, 1959.

³ Ср., например: Видо Латковић, Народна књижевност, I, Београд, 1967; «Народна књижевност». Приредио Владан Недић, Београд, 1966.

ствуется по меньшей мере два подхода к определению ее предмета и методологических принципов. Один связан с отрицанием какой-либо принципиальной специфичности фольклора в ряду других явлений народной жизни, что приводит к отождествлению фольклористики с одним из отделов этнологии. Другой состоит в обосновании принципиальной самостоятельности фольклора среди других сфер народной жизни и в утверждении фольклористики как специальной науки, имеющей свой предмет и свою методологию. При всем том общепризнана точка зрения, согласно которой надо стремиться к изучению фольклора, во-первых, в единстве его разнообразных и конкретных форм и проявлений и, во-вторых, в неразрывной связи с бытовыми, социальными, семейными сферами народной жизни. Принципы комплексности и этнографизма весьма отчетливо характеризуют современную югославскую фольклористику. На практике они реализуются преимущественно в совместных творческих встречах специалистов по различным видам фольклора и различным разделам этнографии для разработки и обсуждения каких-либо общих проблем, чаще всего для изучения культуры одного региона. В этом отношении весьма показательны программы конгрессов Союза фольклористов. Каждый конгресс предусматривает комплекс докладов, посвященных тому краю, в котором он происходит. Организаторы очередного конгресса заранее выбирают не просто удобное или интересное место для его работы, но значимый в историческом, этнографическом, фольклорном и культурном отношении регион. Доклады в совокупности позволяют довольно полно представить целостную картину народной жизни и культуры данного района. Фольклор оказывается в центре этой картины, но отнюдь не покрывает ее всю. Региональное своеобразие фольклора предстает при этом весьма выразительно:

Вот, к примеру, программа XVII конгресса (сентябрь, 1970 г.), на котором довелось побывать автору этих строк. Конгресс проходил в небольшом приморском городке Порече. Одно из центральных мест в работе конгресса заняли вопросы фольклора и этнографии населения Истрии, региона чрезвычайно специфического и интересного во многих отношениях. Первая тема конгресса — «Народное творчество Истрии» — состояла из трех разделов: народная жизнь и обычаи; музыкальный фольклор Истрии, Хорватского приморья и островов Северной Адриатики; устное творчество Истрии и Хорватского приморья. Программа включала более 30 докладов по первой теме. Назову часть из них, чтобы дать представление о том, как конкретно реализуется принцип комплексности: «Материальная культура Истрии как отражение народной жизни и творчества», «Музыкальный фольклор Истрии», «Общий обзор и специфика народных танцев Истрии», «О народных сказках в Истрии», «Истрийский дом», «Изучение народных обычаев в Истрии», «Народные орнаменты и краски в народном творчестве Истрии». В специальных докладах рассматривались вопросы, связанные с многоэтническим составом и сложной этнической историей Истрии: фольклор хорватов и словенцев, венецианское влияние, многолинейные этнические связи.

О комплексности на XVII конгрессе можно говорить и в более широком плане. Собственно теоретические темы конгресса отражали современную тенденцию югославской фольклористики к объединению специалистов, к совместно обсуждению смежных вопросов: «Перспективы народного творчества в условиях современных преобразований»; «Современные этнические и этнологические проблемы», «Магия в народной жизни», «Анекдоты», «Проблемы этнохореографии», «Проблемы народной инструментальной музыки», «Национальное и общечеловеческое в устной народной словесности».

В югославской науке есть интересные примеры комплексного изучения отдельных регионов страны на основе разработанных программ. Земальский музей в Сараеве систематически проводит фольклорно-этно-

графические экспедиции в различные районы Боснии и Герцеговины. Результаты этих комплексных исследований отражены в соответствующих выпусках «Гласника», которые представляют большой интерес как по обилию нового материала и живых наблюдений, так и в общеметодологическом плане.

В 1957—1958 гг. состоялись экспедиции в Неум и его окрестности — район с выходом к Адриатическому морю. Выбор был обусловлен тем, что «адриатическая зона» сохранила остатки очень старой славянской культуры. Результаты полевых работ и изучения многочисленных источников были обобщены в специальной книге ⁴.

Экспедиции 1957—1959 гг. в Ливанское поле имели целью исследовать этническое развитие населения этого края. Вот содержание очередной книги «Гласника», посвященной итогам этих исследований: географический и исторический обзор; происхождение населения (автор М. Петрич); народный говор (Дж. Чустович); хозяйство (Шв. Попович); поселения, жилые дома и остальные постройки (Д. Дрляча); народная одежда (З. Чулич); село и задруга (Н. Павкович); свадебные обычаи, рождественские обычаи, обходы с масками (Р. Каймакович); общественные игры и развлечения (М. Обрадович); народные сказки (В. Палавестра); народные песни (Л. Симич). Во Введении и Заклучении дана обобщенная этнографическая характеристика края и предложены некоторые выводы. Так исследование позволяет выявить часть средневековых этнических формаций, из которых в новых условиях образовались народы Боснии и Герцеговины, и осветить самый процесс их формирования ⁵.

Книга XIX «Гласника» (1964) посвящена изучению мусульманского населения района Жепы (Восточная Босния). В ней отражена работа экспедиции 1961—1963 гг., исследовавшей народное хозяйство, архитектуру, одежду, текстильную технологию, народные обычаи, верования и народную медицину, народную прозу и поэзию, игры, музыкальную традицию, говоры и, как подчеркивается во Введении, особенно народную традицию, относящуюся к происхождению отдельных родов Жепы.

Несомненно, что опыт сараевских фольклористов заслуживает большого внимания ⁶.

С точки зрения дальнейшего развития принципа комплексности и осуществления комплексных работ, в центре которых находится собственно фольклор, значительный интерес представляет коллективный труд Института народного искусства в Загребе «Исследования и материалы о Синьском крае» ⁷. Работа эта — результат полевых исследований, осуществленных экспедициями института, в которых участвовали этнографы и фольклористы — специалисты по народной песне, народной музыке, народному танцу, сказкам и несказочной прозе, народной драме.

Монография открывается главой «Сквозь историю Синьского края» (автор М. Бошкович-Стулли). На первый план здесь выдвинуты те исторические аспекты, которые особенно важны для фольклористических и этнографических исследований, в частности проблема истории крестьянства края.

Во второй главе, «Этнографический обзор Синьского края», Е. Гамулин и И. Видович кратко рассмотрели особенности хозяйственной жизни и занятий населения, жилище, интерьер, домашний быт, пищу, ремесла, одежду.

⁴ Etnološko-folkloristička ispitivanja u Neumu i okolini, «Glasnik Zemaljskog muzeja Bosni i Hercegovini u Sarajevu: Etnologija», sv. XIV, Sarajevo, 1959.

⁵ Etnološka i folkloristička ispitivanja u Livanjskom polju, «Glasnik Zemaljskog muzeja Bosni i Hercegovini u Sarajevu: Etnologija», sv. XV—XVI, 1961.

⁶ В выпусках XXII (1967) и XXIII (1968) широко представлены этнографические и фольклористические материалы из Восточной Герцеговины.

⁷ «Studije i grada o Sinjskoj krajini», «Narodna umjetnost. Godišnjak Instituta za narodnu umjetnost u Zagrebu», Odgovorni urednik Maja Bošković-Stulli, 1967—1968, knj. 5—6, Zagreb.

Основной раздел монографии включает главы: «Народные традиционные песни Синьского края» (О. Делорко), «Народные песни Синьского края об освободительной борьбе 1941—1945 годов» (М. Бошкович-Стулли), «Музыкальный фольклор Синьского края» (Е. Безич), «Народные пляски Синя и окрѳуги» (И. Иванчан), «Народные сказки и предания Синьского края» (М. Бошкович-Стулли), «Народные обычаи и верования в Синьском крае» (И. Миличевич), «Народная драма и игры в Синьском крае» (Н. Бонифачич Рожин). Каждая глава дает обзор и характеристику соответствующих видов фольклора и содержит публикацию текстов, нотные расшифровки, описания обрядов, танцев, игр, иллюстрации (маски, музыкальные инструменты, эпизоды игр, этнографические мотивы, портреты мастеров фольклора и т. д.). Через всю книгу проходит стремление авторов показать реальное функционирование фольклора, непосредственную связь его с бытом, с традиционными формами народной жизни. В монографии еще нет обобщений, главы связаны определенной последовательностью, замыслом, но результаты исследования по отдельным жанрам и формам взаимно не соотнесены. Очень важно при комплексном подходе не ограничиться изучением лишь синхронного срезѳ. Проблемы генетические и исторические для фольклористики не менее важны. В данной монографии им, к сожалению, отведено очень немного места.

Развитие комплексных исследований и тесный контакт между фольклористами и этнографами не приводят к методологической интеграции отдельных научных дисциплин, к нивелированию их специфики и конкретных задач. Более того, происходит дальнейший процесс самоопределения фольклористики, в границах которой можно наблюдать быстрое и плодотворное формирование этномузыкологии и этнохореографии — с выделением специфической для них проблематики и научной методики.

Интерес к конкретному материалу, стремление как можно полнее и глубже освоить живой фольклор, я бы сказал, страсть к собиранию, накоплению и систематизации фактов живой фольклорной традиции выразительно характеризуют современную югославскую науку, особенно ту ее часть, которая организационно связана с этнографическими и искусствоведческими учреждениями. Полевая работа получила здесь большой размах. Фольклористы подолгу работают в одном месте и по многу раз бывают там, так что обследование приближается к стационарному.

Благодаря высокой культуре и хорошей технической оснащенности полевой работы при наличии еще множества живых очагов фольклористам удается собрать огромное количество разнообразных материалов большой ценности. Лишь часть их пока увидела свет, масса текстов, магнитофонных записей, кинолент и фотоматериалов сосредоточена в архивах.

Естественно, что в условиях широко поставленной экспедиционной работы в югославской фольклористике поддерживается стойкий интерес к «местным», региональным традициям. Почти любой югославский фольклорист является специалистом не только по какому-нибудь жанру или группе жанров, но и по определенному этнографическому району. Весьма распространен тип исследования, посвященного какому-то жанру, сюжету, циклу в его «местной», региональной редакции. Это в равной степени относится к работам по словесному, музыкальному, хореографическому творчеству. За последнее время вышел ряд сборников, построенных по региональному принципу⁸. В них налицо стремление выявить

⁸ См., например: М. Васиљевић, Народне мелодије Лесковачког краја, Београд, 1960; «Горо ле, горо зелена. Антологија народне лирике из источне Србије». Приредио И. Николић, Зајечар, 1966; Стеван Ст. Мокрањац. Записи народних мелодија. Уредник Стана Бурић-Клајн, Београд, 1966; Д. Недељковић, С. Димитријевић, Црнобравске и лесковачке народне песме ослободилачког рата, Београд, 1967; М. Златановић и С. Тошић, Чудно дрво. Лирске народне песме југоисточне

местную этнографическую и художественную специфику фольклорных жанров, особенности их функционирования, обнаружить характерные приметы местных фольклорных школ и соотнести их с более широкой фольклорной традицией.

Принципиально новый подход к проблемам местной специфики мы находим в статье акад. Д. Недельковича, предпосланной сборнику «Чернотравске и лесковачке народне песме ослободилачког рата». Рассматривая песни 1941—1945 гг., рожденные в крае, который был одним из центров борьбы против фашизма, автор подчеркивает, что специфичность этих песен надо выявлять, учитывая, с одной стороны, «специфичность этнических групп чернотравской и лесковачкой областей в этнической структуре сербского народа и Сербии и специфичность развития здесь партизанской борьбы, освободительной войны и революции», а с другой — «общие черты этнического самосознания населения края с остальными этническими группами сербского народа и Сербии, так же как и остальных народов Югославии и Балкан... и тесные связи и взаимодействие народов Югославии в освободительной борьбе и революции» (стр. 1). Нетрудно понять, сколь важен выдвигаемый Д. Недельковичем принцип соотнесения специфики — национальной, этнической, региональной, местной — с межнациональной, межэтнической и внутринациональной общностью. Речь идет о необходимости выявления и изучения определенных уровней единства фольклорных процессов у народов Югославии, шире — у балканских (можно было бы добавить — и у славянских) народов, что, собственно, и должно дать надежную основу для исследования специфичности фольклорных явлений у отдельных народов и этнических групп и для понимания характера местных традиций.

Этнографическая направленность в современных фольклористических исследованиях проявляется в особенном интересе к тем жанрам народного творчества, где наглядно дает о себе знать единство художественного и бытового, практически-прикладного начал. Одна из центральных тем изучения — обрядовый фольклор, фольклор в системе архаических представлений, культовых пережитков, традиционных обычаев и т. д. Видное место эта тематика занимает в программах конгрессов Союза фольклористов Югославии. Если познакомиться с программами за последние 10—12 лет, то можно заметить стремление к постепенному охвату основных традиционных «этнографических» проблем фольклористики.

Работа IX конгресса (1962 г.) была посвящена весенним обрядам и обычаям⁹, X (1963) г. — драматическим элементам в различных фольклорных жанрах, в том числе в обрядах¹⁰. XI конгресс (1964 г.) включил в свою программу тему «Погребальные обычаи и народное творчество в связи со смертью»¹¹. XII (1965 г.) специально занимался темой «Ар-

Србије, Ниш, 1971; «Istarske narodne priče», Redakcija, uvod i komentari M. Bošković-Stulli, Zagreb, 1959; «Istarske narodne pjesme». Uredio, napisao uvod i protumačio O. Delorko, Zagreb, 1960; «Istarski narodni plesovi». Priredio I. Ivančan, Zagreb, 1963; «Hrvatske narodni popijevke iz Koprivnice i okoline». Sakupio, analizirao, uredio i muzikološki obradio V. Zganec, Zagreb, 1962; «Ljba Ivanova», Hrvatske starinske narodne pjesme ... po Dalmaciji». Zapisao i uredio O. Delorko, Split, 1969; «Narodne pjesme Korčula». Sakupio i uredio S. Opačić-Canica, Zagreb, 1971; I. Dravec, Glasbena folklor Prekmurja. Pesmi, Ljubljana, 1957; «Rožica ziz Rezije». Nabral in presadil M. Matičetov, Ljubljana, 1972; V. Milošević, Bosanske narodne pjesme, knj. I—III, Banja Luka, 1954, 1956, 1961; М. В а с и л ь е в и њ, Народне мелодије Црне Горе, Београд, 1965; «Малешевски народни песни». Збирка на Стенко Костиќ. Редактирал Т. Димитровски, Скопје, 1959; «Народни песни од Егејска Македонија». Собрал П. Паскалевски, Скопје, 1959; «Народни пословици и гатанки од Струга и Струшко». Собрал и подредил Ф. Каваев, Скопје, 1961.

⁹ «Рад IX Конгреса Савеза фолклориста Југославије у Мостару и Требињу 1962», Сарајево, 1963.

¹⁰ «Рад X Конгреса Савеза фолклориста Југославије на Цетињу 1963 године», Цетинје, 1964.

¹¹ «Рад XI Конгреса Савеза фолклориста Југославије у Новом Винодолском 1964», Загреб, 1966.

хаические элементы в свадебных обычаях»¹², XIII (1966 г.) — темой «Мифологическое народное творчество, особенно в связи с рождением детей»¹³. Цикл докладов на XVI конгрессе (1969 г.) был посвящен развитию «жатвенного фольклора», специальный цикл докладов на XVII конгрессе (1970 г.) — теме «Магия в народной жизни».

Постоянный интерес к обрядовому фольклору, к различным драматизированным бытовым формам характерен для ежегодника «Narodna imjetnost»¹⁴. Столь же устойчивое внимание к этому кругу проблем проявляют журналы «Народно стваралаштво Folklor»¹⁵ и «Македонски фолклор»¹⁶. Работ обобщающего плана, соединяющих описание и анализ определенного набора фактов с историко-генетическим их изучением, с привлечением широкого сравнительного материала, пока еще создано мало. По-видимому, подготовка их требует преодоления сложившихся методических традиций синхронического, узорегионального подхода к объекту изучения¹⁷.

Значительное место в современной фольклористике Югославии занимают проблемы издания, текстологического изучения и историографии классических фольклорных жанров.

Характерно появление в последние годы ряда научных антологий по отдельным жанрам фольклора народов Югославии. Некоторые из этих антологий вышли в составе серий, другие — отдельными сборниками. Так, небольшая, но превосходно подобранная и тщательно изданная антология основных жанров хорватского фольклора составляет часть обширной серии «Пять столетий хорватской литературы»¹⁸. В серии «Библиотека Луча» вышли тома черногорской поэзии¹⁹. Цикл сборников по

¹² «Zbornik XII Kongresa Jugoslovenskih folkloristov. Celje 1965», Ljubljana, 1968.

¹³ «Работата на XIII Конгрес на Союзот на фолклористите на Југославија во Дојран 1966 година», Скопје, 1968.

¹⁴ См., например: К. Бенс-Вошковић, Neki pokladni običaji i drvene maske u Međimurju (1962, knj. 1); N. Bonifačić Rožin, Građa o narodnoj drami (там же); V. Čulinović-Konstantinović, Dodole i prporuše (1965, knj. 2); N. Bonifačić Rožin, Svadbena dramatika u Dubrovačkom primorju (1964—1965, knj. 3); егo же, Pokladne maskare u Konavlima (1966, knj. 4); Z. Lovrenčević, Mitološke predaje Bilo-gore (1969—1970, knj. 7); Z. Rajković, Narodni običaji okolice Donje Stubice (1973, knj. X).

¹⁵ См., например: Л. и Д. Јанковић, Играње под маскама у Србији (1963, св. 6); О. Младеновић, Коло као основни облик игара Јужних Словена (1963, св. 7); S. Zečević, Orgijastičke svečanosti letnje solsticije (1965, св. 13—14); D. Rintman, Arhaični elementi u svatovskim pjesmama Srba i Hrvata bosansko-hercegovačkog sela (1968, св. 25); С. Зечевић, Љељеново коло (1964, св. 9—10); Н. Љубинковић, Гелен у бугарштицама (1968, св. 26—27); цикл статей, посвященных известному югославскому этнологу Г. Р. Джорджевичу (1968, св. 28).

¹⁶ См., например, S. Plana, Kalendarske majske pesme albanaca na Kosovu i Makedoniji (1968, № 3, 4); В. Кличкова, Русалиски обичаи во Гевгелиско (там же); В. Стојанчевић, Обреди на воведуване (иницијација) во свадбените обичаји Србите, Македонците и косовско-метохиските Албанци (1972, № 9, 10); И. Бошначки, Кон свадбените обреди, игри и песни во Малешево (там же); № 12 за 1973 г. весь посвящен теме «Весенние обичаи, песни, танцы и игры балканских народов».

¹⁷ Отмечу здесь фундаментальные монографии по отдельным циклам обрядов, по представлениям, верованиям и народному танцу: Тих. Р. Борћевић, Природа у веровању и предању нашег народа, књ. I—II, Београд, 1958; Др. М. Борћевић, Живот и обичаји народни у Лесковачкој Морави, Београд, 1958; N. Kuget, Praznično leto slovencev. Starosvetne šege in navade od pomladi do zime, кн. I—IV, Celje, 1965—1970; О. Младеновић, Коло у јужних словена, Београд, 1973.

¹⁸ «Narodne lirske pjesme». Priredio O. Delorko, Zagreb, 1963; «Narodne epske pjesme», I. Priredio O. Delorko, Zagreb, 1964; «Narodne epske pjesme», II. Priredila M. Bošković-Stulli, Zagreb, 1964; «Narodne pripovijetke». Priredila M. Bošković-Stulli, Zagreb, 1963; «Narodne drame, poslovice i zagonetke». Priredio N. Bonifačić Rožin, Zagreb, 1963.

¹⁹ «Епска народна поезија Црне Горе». Избор и редакција В. Латковић и Ј. Чабеновић, Титоград, 1964; «Лирска народна поезија Црне Горе». Избор и предговор Е. Шаулић, Титоград, 1965; «Еванђеље по народу». Антологија црногорских пословица и изрека. Избор и предговор Нико С. Мартиновић, Титоград, 1969; «Вилина гора. Антологија црногорских легенди». Приредио, предговор и поговор Р. Радојевић, Титоград, 1971.

фольклорным жанрам вышел в серии «Сербская литература в ста книгах»²⁰. Издана серия «Македонское народное творчество» в 10 томах, охватывающая все основные жанры²¹. Начато многотомное издание словенского песенного фольклора²².

Помимо того, издательства выпускают множество антологий различного типа и уровня, предназначенных для широкого читателя и вместе с тем представляющих научный интерес²³. Благодаря этому читатель за последние 10—15 лет получил отличные книги по эпосу, балладам, сказкам, лирическим песням, пословицам и другим жанрам фольклора Сербии, Хорватии, Словении, Боснии и Герцеговины, Македонии, Черногории. Все же одна из главных научных и культурных задач — создание фундаментальных систематизированных сводов, основанных на современных научных принципах и охватывающих основные жанры фольклора народов Югославии, — остается по-прежнему актуальной.

Наряду с подготовкой новых публикаций и изданием антологий различного типа югославские фольклористы ведут значительную работу по критическому изучению и научному переизданию классического наследия фольклористики народов Югославии. В Белграде осуществляется новое фундаментальное издание работ Вука Караджича²⁴. Появились ценные публикации и сборники текстов ранних (до начала XIX в.) записей песен²⁵. Опубликованы также записи более позднего времени²⁶. Заметно повысился интерес к вопросам фольклорной текстологии и критики текстов, к методам работы старых собирателей и издателей народ-

²⁰ «Антологија народних умотворина», Избор и предговор М. и В. Кнежевић, Нови Сад — Београд, 1957; «Антологија народних лирских песама», Избор и предговор В. Ђурић, Нови Сад — Београд, 1958; «Антологија народних српских песама», Избор и предговор Б. Ђурић, књ. 1—2, Нови Сад — Београд, 1958; «Антологија народних припевака», Избор и предговор В. Ђурић, Нови Сад — Београд, 1960.

²¹ «Јуначки народни песни», Избор и редакција К. Пенушлиски, Скопје, 1968; «Обредни и митолошки песни» (то же), Скопје, 1968; «Волшебни приказни» (то же), Скопје, 1969; «Преданија и легенди», (то же), Скопје, 1969; «Ајдутски и револуционерни песни», Избор: Ј. Бошковски и К. Пенушлиски, Скопје, 1969.

²² «Slovenske ljudske pesmi». Prva knjiga — «Pripovedne pesmi», I, Uredili Z. Kumer, M. Matičetov, B. Merhar, V. Vodušek, Ljubljana, 1970.

²³ Ср., например: «Антологија Југословенске народне лирике». Приредио В. Недић, Београд, 1962; «Народне тужалице». Антологија. За штампу приредио В. Ђаковић, Београд, 1962; «Бугарштице». Приредио М. Лалевић, Београд, 1956; «Hrvatske narodne balade i romane». Priredio O. Delorko, Zagreb, 1951; То же, књ. II, Zagreb, 1956; «Plameni svijetovi. Narodne pjesme o borbi i revoluciji». Uredio T. Čubelić, Zagreb, 1961; «Zlatna knjiga hrvatske narodne lirike». Sastavio K. Mlač, Zagreb, 1972; Р. Зоговић, Црногорске епске pjesme разних времена. Антологија, Титоград, 1970; «Slovenske ljudske pesmi». Izbral in uredil B. Merhar, Ljubljana, 1961; «Slovenska pesmarica. Tretji del. Ljudske pesmi». Uvod, izbor pesmi in opombe Z. Kumer, Celje, 1969; «Epske narodne pjesme». Izbor izvršio S. Nazežić, Sarajevo, 1954; D. Buturović, H. Krnjević, L. Zuko-vić, Bosanskohercegovačka književna hrestomatija, књ. II, «Narodna književnost», Sarajevo, 1972; H. Krnjević, Usmene balade Bosne i Hercegovine, Sarajevo, 1973; К. Пенушлиски, Црвен се бајрак развева. Народни борбени песни. Скопје, 1965.

²⁴ Среди вышедших уже томов см., например: «Сабрана дела Вука Караџића», књига прва. Приредио Владан Недић («Мала прстонародна славено-српска pjesnariца», 1814; «Народна српска pjesnariца», 1815), Београд, 1965. Очень ценно издание неопубликованных прежде записей: Ж. Младеновић, В. Недић, Српске народне песме из необјављених рукописа Вука Караџића, књ. I—V, Београд, 1974.

²⁵ «Народне песме у записима XV—XVIII века». Антологија, Избор и предговор М. Пантић, Београд, 1964; В. Недић, Епске народне песме у Зборнику Аврама Милетића, «Зборник Матице српске за књижевност и језик», књ. XII/I, Нови Сад, 1964.

²⁶ См., например: «Narodne pjesme muslimana u Bosni i Hercegovini. Iz rukopisne ostavštine Koste Hormanna», Redakcija, uvod i komentari D. Buturović, Sarajevo, 1966; В. Недић, М. Живанчевић, Зборник Матије Мажурагића, «Зборник Матице српске за књижевност и језик», књ. XIV/2, 1966; «Миладиновци, Зборник, 1861—1961», Скопје, 1962; «Македонски народни песни, собрани од Стефан И. Верковић». Редакција и предговор К. Пенушлиски, Скопје, 1961; Марко К. Цепенков, Македонски народни умотворби во десет книги. Редакција К. Пенушлиски, Б. Ристовски, Т. Саздов, Скопје, 1972. В составе собрания сочинений П. П. Негоша вышло новое, хорошо прокомментированное издание его знаменитого сборника черногорских эпических песен: П. П. Негош, Огледало српско: Текст приредио Р. Бошковић, В. Латковић. Објашњење написао Н. Килибарда, Београд, 1974.

ных песен и сказок. Особое значение имеют проблемы подлинности и точности прежних фольклорных публикаций и записей, поскольку громадное количество опубликованных и хранящихся в архивах текстов XIX—XX вв. содержит немало фальсификаций, скрытых перепечаток, редакционных поправок и требует в сущности сплошной проверки, основанной на строго выработанных текстологических принципах. Кроме того, внимательного изучения и исторического подхода требуют классические собрания Вука Караджича, издания Матицы Хорватской и др., в которых отражены нормы и приемы записей и публикаций фольклорных текстов, характерные для ранних периодов развития науки²⁷.

Преимущественное внимание югославские фольклористы уделяют героическому эпосу, балладам, сказкам. В области эпоса наиболее характерны исследования на такие темы, как происхождение и истоки южнославянского эпоса и его национальная дифференциация, эпос и историческая действительность, отдельные эпические герои и эпические сюжеты, исполнители эпических песен, пути и способы создания эпических произведений²⁸.

Ценные работы — монографии, статьи, построенные на большом сравнительном материале, — появились в последнее время по сказке и несказочной прозе²⁹.

При всем обилии и всей значительности конкретных исследований, при их методологической актуальности и насыщенности материалом

²⁷ См.: В. М. Ивановић, Одбор за издавање корпуса народних pesama, «Гласник САНУ», књ. IX, св. 3, Београд, 1958; Ж. Младеновић, Вуков метод бележења народних песама, «Rad XI Kongresa folklorista...», R. Pešić, Vuk Vrčević, Београд, 1967; С. Матић, Наш народни еп и наш стих, Нови Сад, 1964; С. Вукмано-вић, Народно стваралаштво у Вуковој редакцији, «Народно стваралаштво. Folklor», 1967, св. 21; В. Латковић, Питање Вукове пете књиге народних песама, «Ковчежић», књ. прва, Београд, 1958; Ж. Младеновић, Вук као редактор народних песама, там же; А. Nemetak, O Normannovoi zbirci narodnih pjesama muslimana u Bosni i Hercegovini, «Народно стваралаштво. Folklor», 1963, св. 6; Ж. Младеновић, Рукописи народних песама Вукове збирке и њихово издавање, Београд, 1973; М. Радовановић, Вук Караџић етнограф и фолклорист, Београд, 1973; Н. Килибарда, Богољуб Петрановић као сакупљач народних песама, Београд, 1974.

²⁸ См. подробно об этом: Н. И. Кравцов, Современная фольклористика Югославии (обзор), «Сов. этнография», 1963, № 5; Б. Н. Путилов, Новейшие труды югославских ученых об эпосе, «Сов. этнография», 1966, № 3; В. Недић, О раду на проучавању народне књижевности, «Научни састанак слависта у Вукове дане. Реферати и саопштења. 1», Београд, б. г.; М. Пантјић, Рад на проучавању предвуковске народне поезије код Југословена, там же; М. Вошковић-Stulli, Postojanost epskog modela u dvije pjesme iz Dubrovačkoga kraja, «Narodna umjetnost», књ. 4, Zagreb, 1966; Цв. Органџиева, Метод изучавања генезиса јужнословенских епских песама — од савременог ка прошлому, «Работата на XIII Конгрес...», Р. Зоговић, Јуначке пјесме и властела, «Зборник Матице српској», 1967; Н. Љубинковић, Један древни мотив у косовској легенди, «Прилози за књижевност, језик, историју и фолклор», 1966, св. 1—2; В. Латковић, О певачима српскохрватских народних епских песама до краја XVIII века, «Прилози за књижевност, језик, историју и фолклор», 1954, св. 3—4; Д. Недељковић, Ослободилачки хуманизм Филипа Вишњића, «Народно стваралаштво. Folklor», 1967, св. 22—24; С. Матић, Нови огледи о нашем народном епу, Нови Сад, 1972; Н. Милошевић-Ђорђевић, Заједничка тематско-сужејна основа српскохрватских неисторијских песама и прозне традиције, Београд, 1971; Н. Љубинковић, Народне песме дугог стиха (I—III), «Књижевна историја», бр. 16—17, 1972, бр. 19, 1973; Н. Килибарда, Поезија и историја у народној књижевности, б. г.; В. Недић, Слепа Јеца, Караџићев певач, «Зборник Матице српске за књижевност и језик», књ. XXI/1, 1971; е-го же, Старац Рашко, певач Вука Караџића, «Научни састанак слависта у Вукове дане. Реферати и саопштења. 2», Београд, б. г.; Н. Крпјевић, Usmene balade Bosne i Hercegovine. Knjiga o baladama, Sarajevo, 1973.

²⁹ См., например: Р. Меденица, Црногорске анегдоте, Титоград, 1967; Н. Ми-лошевић, Прилог проучавању структуре српскохрватске народне приповетке. Новелла — легендарна прича, «Анали филолошког факултета», св. 6, Београд, 1966; М. Матићетов, Sezgani in prerogiji človek, Ljubljana, 1961; М. Вошковић-Stulli, Narodna predaja o vladarevoj tajni, Zagreb, 1967; Т. Саэдов, Преглед на македонската народна проза, Скопје, 1970; V. Palavestra, Narodna predanja o starom stanovištu u dinarskim krajevima, «Glasnik Zemaljskog muzeja», sv. XX/XXI, 1966; R. Filipović-Fabijanić, Narodne pripovetke i predanja iz Bosanske Posavine, там же.

все же за югославскими учеными остается долг — создание крупных работ, посвященных фольклорным жанрам в целом, их генезису и истории, равно как и обобщающих работ по истории фольклора народов Югославии. Имеющиеся опыты обобщающих обзоров и исторических экскурсов могут рассматриваться лишь как подступы к осуществлению этих больших задач³⁰.

4

Югославскую фольклористику отличает последовательный и неослабевающий интерес к проблемам современного народного творчества в широком плане, т. е. к живым современным фольклорным процессам, к перспективам развития фольклора в новых общественных условиях.

Само понятие «современный фольклор» широко и объемно, оно включает и собственно новообразования, и живую, меняющуюся традицию. Историческим рубежом, определяющим начальный этап современного фольклора, считается период народно-освободительной борьбы против фашизма.

В Югославии ведется очень большая работа по собиранию, публикации и изучению фольклора народно-освободительной борьбы³¹. Этой теме уделялось много внимания на конгрессах Союза фольклористов³². Фольклору периода народно-освободительной борьбы посвящено множество сборников, публикаций, исследований, воспоминаний.

В плане методологическом и теоретическом большой интерес представляют работы акад. Д. Недельковича, выразительно характеризующие пути исследования современного фольклора в Югославии³³.

Работы эти основываются на убеждении в том, что народное творчество — сложный и непрерывный процесс, в ходе которого рождается новое, отмирает или преобразуется традиция, и что характер, эстетическая сущность и темпы этого процесса обусловлены общественными закономерностями. Выступая как против «реалистических» предсказаний

³⁰ В. Латковић, Народна књижевност, I, Београд, 1967; В. Ђурић, Постанак и развој народне књижевности, Београд, 1955; «Pregled narodne književnosti s primjerima i teorijom», Sastavio M. Sova, Zagreb, 1955; X. Поленаковић, О македонској народној књижевности, Београд, 1961; его же, Студии од македонскиот фолклор, књ. I—II, Скопје, 1973; Т. Саздов, Македонската народна поезија, Скопје, 1966.

³¹ См. В. Гусев, Изучение антифашистского фольклора в Югославии (обзор исследований), «Сов. этнография», 1962, № 5.

³² См., например: «Odras NOB u folkloru naroda Jugoslavije. Rad Kongresa folklorista Jugoslavije. VI. Bled, 1959», Ljubljana, 1960; «Народно стваралаштво у устанку и народној револуцији. Рад VIII Конгреса фолклориста Југославије у Титовом Ужицу 1961», Београд, 1961.

³³ См., например: D. Nedeljković, Narodno stvaralaštvo u periodu narodne revolucije, oslobodilačkog rata i izgradnje socializma Jugoslavije, «Rad Kongresa Folklorista Jugoslavije. VI. Bled, 1959», Ljubljana, 1960; его же, Problem narodnog stvaralaštva danas, «Народно стваралаштво. Folklor», 1962, св. 1; его же, О неким битним естетичким законитостима развитка и препорода данашњег нашег народног стваралаштва у крилу закона друштвеног развитка, «Рад VII Конгреса Савеза фолклориста Југославије у Охриду 1960 године», Охрид, 1964; его же, Фолклор, социјализм и мир, «Рад VIII Конгреса Савеза фолклориста Југославије у Титовом Ужицу», Београд, 1961; его же, Друштвено историјско условљеност и законитост новости у херцеговачком народном певању данашње предање епохе, «Рад IX Конгреса Савеза фолклориста Југославије у Мостару и Требивију 1962», Сарајево, 1963; его же, Problemi razvika sadržaja i oblika savremenog narodnog stvaralaštva, «Zbornik XII Kongresa...»; его же, Народно стваралаштво у условима развитка савременог друштва, «Работата на XIII Конгрес на Сојузот на фолклористите...»; его же, Динамичка структура препорода савременог народног стваралаштва народа Југославије са нарочитим обзиром на улогу и значај радничког фолклора, «Народно стваралаштво. Folklor», 1963, св. 7; его же, Проблеми развитка данашњег радничког фолклора, там же, 1964, св. 12; его же, Фолклористика и народна књижевност у перспективи Вукове културне револуције и дали развитак класичне «Косовке девојке», «Вуков зборник», Београд, 1966; его же, Вук Караџић, фолклористика и данашњи развитак «Косовке девојке», «Гласник Етнографског института САНУ», књ. XI—XV, Београд, 1969.

об умирании фольклора, так и против романтических фраз о его сегодняшнем невиданном расцвете, Д. Неделькович главное внимание обращает на то, как в условиях народно-освободительной войны, революции, строительства социализма общественная практика масс изменяет самую общественную роль фольклора и как в процессе этих изменений развивается творчество, приводящее к созданию нового единства содержания и формы.

Югославским фольклористам удалось показать, как на почве старых художественных традиций, в обстановке новых общественных отношений и коллизий происходит рождение нового фольклора и как преобразуются сами эти традиции³⁴. Однако «романтические» тенденции дают себя знать, что проявляется, в частности, в преувеличении эстетических достоинств современных фольклорных произведений, а отчасти и в преувеличении самих масштабов новаторства.

Можно высказать сожаление, что по современному творчеству пока еще нет сводных изданий и фундаментальных исследований, которые позволили бы получить целостное и обобщенное представление о характере и содержании фольклорных процессов у народов Югославии за последнее тридцатилетие.

5

Начиная с 1964 г. автору этих строк довелось много раз бывать в Югославии, принимая участие в различных фольклористических мероприятиях — конгрессах, симпозиумах, заседаниях, встречах и беседах едва ли не с большинством активно работающих фольклористов, принимать коллег и друзей из Югославии в Ленинграде. Естественно, что характеристика современной югославской фольклористики во многом подсказана непосредственными впечатлениями и контактами, а также собственным научным опытом автора и не претендует на сколько-нибудь полный и всеобъемлющий охват материала и проблематики. Это попытка обобщить то, что я видел и над чем размышлял.

К этим обобщениям теоретического плана хотелось бы в заключение добавить некоторые личные впечатления, навеянные поездками, встречами, дружескими беседами с фольклористами Югославии.

При непосредственном, особенно многократном, общении воочию можно увидеть, как органично и глубоко большинство фольклористов знает живую народно-поэтическую традицию. Кажется, немного нужно, чтобы они превратились сами в носителей этой традиции. Во всяком случае, воспроизвести песню, танец, музыку в формах, предельно близких к народным, способен почти каждый из них. Естественно, что на конгрессах и симпозиумах — в часы отдыха, дружеских встреч, поездок — народная песня и народный танец составляют неперемнную часть быта участников. Присутствовать же вместе с югославскими специалистами на выступлениях народных ансамблей или мастеров фольклора — истинное наслаждение: они сопровождают эти выступления такими обстоятельными, точными, глубокими комментариями, каких не получить ни в одной книге.

В этом смысле современная югославская фольклористика — наука очень живая, по-настоящему связанная с той народной средой, в которой сегодня фольклор обращается.

Другое мое впечатление заключается в том, что современной югославской фольклористике присуща истинная гражданственность. Много раз приходилось убеждаться в том, что фольклористы отчетливо осознают общественный смысл своей работы и связи ее с современными общественными и культурными проблемами.

³⁴ См., например, статьи Н. Мартиновича, Т. Чубелича, А. Назора, Ш. Плана, Д. Антониевича, Ж. Младеновича и др. в названных выше томах трудов конгрессов, в журнале «Народно стваралаштво» и других изданиях.

Многие фольклористы старшего поколения — активные участники народно-освободительной борьбы, бывшие партизаны. Среди них можно встретить и старых коммунистов, участников революционного движения, деятелей подполья.

Естественно, что и такой состав фольклористов, и, главное, общественный пафос деятельности обуславливают то, что работе их присуща значительная доля публицистичности, они любят споры и не склонны приглушать их, а ежегодные конгрессы и различные симпозиумы постоянно оказываются местом острейших дискуссий, выходящих подчас далеко за рамки собственно научных проблем.

Нельзя не обратить внимания также на то, что в современной фольклористике Югославии все более активную роль начинают играть люди, получившие образование в 50-е и последующие годы, что в науку приходит молодежь. Молодые фольклористы хорошо образованы и подготовлены к полевой и исследовательской работе.

И последнее... Я постоянно наблюдал со стороны моих югославских коллег и друзей неизменный и глубокий интерес к советской фольклористике, стремление как можно больше узнать о ней и использовать ее опыт в работе. Современные книги, статьи, сборники, выходящие в СССР, пользуются в Югославии неизменным вниманием. За последние годы систематически стали появляться рецензии и обзоры, посвященные советским работам. Участились прямые контакты, югославские фольклористы чаще стали приезжать к нам. Можно сказать, что последние примерно 10 лет отмечены плодотворным и систематическим общением ученых наших стран. Разумеется, в этой области есть еще немало неиспользованных резервов. Имеются общие проблемы, которые хорошо было бы обсудить на широких совместных встречах. Есть материал и темы для совместных разработок. Главное же — то, что фольклористов наших стран связывает взаимная дружба, во многом общее понимание задач и путей современной фольклористики.

PRESENT-DAY FOLKLORE RESEARCH IN YUGOSLAVIA

Folklore studies in the Socialist Federal Republic of Yugoslavia are developing under conditions of rapid and profound social and cultural reforms, while at the same time abundant traditions of the multinational folk culture are still extant.

The problems of greatest importance that are basic for the Republic's folk studies are those aimed at comprehending the significance of folklore in the history of Yugoslavian peoples, its role in building up the national culture, its place in the progressing modern culture of socialist society.

The paper offers a survey of the activities of research institutions and organizations engaged in collecting, studying and propagating folklore. Particular mention is made of their experience in organizing joint folklore-and-ethnographic research work, of problems in the theory and practice of field work. An examination is made of the situation as to research in the major theoretical problems involved in studying traditional genres and contemporary folklore, as well as of the progress in publishing folklore records.

The last decade is characterized by systematic and beneficial contacts between Yugoslav and Soviet folklore students who are linked by largely identical concepts as to the targets and methods of modern folklore research.

Н. А. Брегадзе

К ВОПРОСУ О ЛОКАЛИЗАЦИИ АРЕАЛА ПЕРВИЧНЫХ ОЧАГОВ ЗЕМЛЕДЕЛИЯ В ГРУЗИИ

История земледелия включает комплекс различных проблем, в том числе такие, как происхождение культурных растений, определение очагов их окультуривания и географической зоны возникновения первичных очагов земледелия.

На основе изучения культурной флоры земного шара Н. И. Вавилов пришел к выводу о первичности горного земледелия¹. Он первым из исследователей открыл значение горного земледелия для современного человечества² и дал географическую локализацию первичных очагов земледелия. Последующие исследования в этой области показали, что древнейшие очаги земледелия возникли в среднегорной полосе—в предгорьях и горных ущельях³.

На основе данных, полученных при изучении экологических условий большинства древнегрузинских сортов пшеницы, подобное мнение было высказано и относительно первичных очагов земледелия Грузии⁴, страны, являющейся одним из центров происхождения и формообразования множества различных видов и вариаций культурных, в том числе хлебных, растений⁵.

¹ Н. И. Вавилов, Проблема происхождения мирового земледелия в свете современных исследований, М.—Л., 1932, стр. 11; его же, Центры происхождения культурных растений, Л., 1926, стр. 106; В. Л. Комаров, Происхождение культурных растений, М.—Л., 1938, стр. 38, 39; П. М. Жуковский, Происхождение культурных растений, М., 1956, стр. 10; его же, Культурные растения и их сородичи, М., 1964, стр. 13, 14.

² О. В. Заленский, Н. И. Вавилов и проблема горного земледелия, в сб. «Вопросы географии культурных растений и Н. И. Вавилова», М.—Л., 1966, стр. 55.

³ А. П. Окладников, Древнейшие земледельческие племена, «Всемирная история», т. 1, М., 1955, стр. 128.

⁴ Н. Н. Кецохели, К истории происхождения культурных растений в Грузии, М., 1964, стр. 1; М. К. Гегешидзе, Орошаемое земледелие в Грузии (резюме на русск. яз.), Тбилиси, 1961, стр. 169.

⁵ Л. Л. Декапрелевич, Роль Грузии в происхождении пшениц, «Сообщения АН ГрузССР», 1941, т. 2, № 10; 1942, т. 3, № 2, 5; его же, Грузинский очаг формообразования пшениц, «Сообщения АН ГрузССР», 1942, т. 3, № 7; В. Л. Менабде, Пшеницы Грузии, Тбилиси, 1948; его же, Пшеницы Грузии и их роль в общей эволюции рода *Triticum* L., «Труды Тбилисского ботанического института», 1961, т. 21; Е. И. Синская, Происхождение пшеницы, сб. «Проблемы ботаники», 1955, т. 2, стр. 30, 43; П. М. Жуковский, Культурные растения и их сородичи, стр. 31, 99; его же, Мировой генофонд растений для селекции, Л., 1970, стр. 34, 35; А. Д. Горидзе, Филогенетика инициальных видов культурной пшеницы и основные пути эволюции рода *Triticum* L. (автореф. докт. дис.), Тбилиси, 1973; Н. Хоштария, Диха-Гудзуба, древнее население Колхидской низменности, «Сообщения АН ГрузССР», 1944, т. 5, № 2; А. М. Апакидзе, Н. З. Бердзенишвили, Г. Ф. Гобеджишвили и др., Археология Грузии (на груз. яз.), Тбилиси, 1959, стр. 55, 84; Н. А. Брегадзе, Горное земледелие в Западной Грузии (на груз. яз., резюме на русск. и англ. яз.), Тбилиси, 1969; К. Х. Кушнарева, Т. Н. Чубинишвили, Древние культуры Южного Кавказа, Л., 1970, стр. 105; Т. Чубинишвили, Памятники раннеземледельческой культуры в Квемо Картли (на груз. яз.), «Мацне», Тбилиси, 1973, № 4.

Для выявления зоны возникновения первичных очагов земледелия в Грузии важное значение имеют историко-этнографические и лексические материалы.

При изучении истории земледельческой культуры Грузии И. А. Джавахишвили проанализировал лексический материал, в котором слово «дзвелтесли» (букв. «старое семя»), обозначающее озимые посевы зерновых, противопоставляется слову «ахалтесли» (букв. «новое семя»), которым называют яровые культуры. Эти данные, по его мнению, свидетельствуют о том, что в Грузии озимые хлеба стали выращивать раньше яровых⁶. Это предположение, на наш взгляд, кажется логичным. В климатических условиях Грузии хлебные злаки созревают летом. При осыпании колосьев тогда же происходит и самосев. Должно быть, на начальных этапах развития земледелия человек, копируя природу, зарывал семена в землю вскоре после их созревания. Следовательно, в Грузии первичными должны были быть озимые посевы зерновых.

В пользу вышесказанного свидетельствуют, видимо, и следующие факты: 1) грузинские реликтовые эндемы (Тг. *palaeo-colchicum* Мен. и Тг. *tacha* Dek. et Мен.), являющиеся инициальными видами культурных пшениц, имеют озимый цикл развития; 2) по древнегрузинскому языческому календарю новый год начинался в августе⁷. Но прежде чем перейти к обсуждению вопроса о значении данных грузинского языческого календаря для выявления первичности озимых культур, припомним отдельные моменты из истории древнейших календарей других народов, а также некоторые грузинские новогодние обряды.

С переходом отдельных народов от собирательства к земледелию появилась необходимость создания точного календаря, с помощью которого можно было бы устанавливать сроки отдельных сельскохозяйственных работ⁸. Такой аграрный народный календарь впоследствии лег в основу официального государственного календаря, в котором начало нового года определялось наступлением нового сельскохозяйственного года. Эта взаимосвязь отразилась в календарях древних цивилизаций. Так, например, в древнейшем календаре майя «... счет дней велся, по-видимому, только в земледельческом сезоне» и даже после реформы календаря народ пользовался прежними названиями сезонов, связанных с земледельческими работами⁹. У ацтеков названия месяцев связаны с разными сельскохозяйственными культурами, что указывает на происхождение счета времени от земледельческих работ¹⁰. В Древнем Египте в соответствии с сельскохозяйственными работами год делился на три сезона: время разлива Нила, сева и уборки урожая¹¹.

Свидетельством того, что начало нового года совпадало с наступлением нового сельскохозяйственного года, служат следующие данные: у древних майя новый календарный год наступал в день земледельческого праздника, связанного с началом посева¹²; первоначально — в августе,

⁶ И. А. Джавахишвили, Экономическая история Грузии (на груз. яз.), кн. 1, Тифлис, 1930, стр. 407—409.

⁷ П. Ингоркова, Древнегрузинский языческий календарь (на груз. яз.), «Сообщения Государственного музея Грузии», т. 7, Тбилиси, 1933, стр. 285—291; К. Кекелидзе, Древний грузинский год (на груз. яз.), «Труды Тбилисского гос. ун-та», 1941, т. 18, стр. 18, 23, 26.

⁸ Ф. М. Нечай, О происхождении календаря и христианского летоисчисления, Минск, 1969, стр. 1, 3; Р. В. Кднжалов, Культура древних майя, Л., 1971, стр. 134; Ю. В. Кнорозов, Заметки о календаре майя, «Сов. этнография», 1971, № 2, стр. 80; 1973, № 1, стр. 74; С. И. Селешников, История календаря и хронология, М., 1972, стр. 15.

⁹ Ю. В. Кнорозов, Указ. раб., «Сов. этнография», 1971, № 2, стр. 81, 82.

¹⁰ Д. Вайя, История ацтеков, М., 1949, стр. 139.

¹¹ С. И. Селешников, Указ. раб., стр. 46. Небезынтересно отметить, что и поныне единственной вехой у племени «морщинистых» на Новой Гвинее является «огород», т. е. время, которое проходит от сева до сбора урожая (Л. Мартынов, Юми Вангела пипал! «Вокруг света», 1974, № 8, стр. 30).

¹² Ю. В. Кнорозов, Указ. раб., «Сов. этнография», 1973, № 1, стр. 70.

а потом — в июле¹³. В Древнем Египте календарный год начинался с июля (время разлива Нила и появления Сириуса)¹⁴, т. е. с наступлением нового сельскохозяйственного сезона. В июле же начинался новый год в древней Греции¹⁵, в августе — в Древней Армении¹⁶. Осенью до сих пор начинается новый год по еврейскому календарю¹⁷.

В Древнем Китае¹⁸ и в Сасанидской Персии¹⁹ новый год начинался в период подготовки к весенним работам, поэтому в первый день нового года китайцы проводили ритуальную вспашку²⁰. В Персии же среди ритуальных даров, преподносимых на новый год шаху, были «зерна различных хлебных растений, которые рассыпались впоследствии по зале»²¹ (видимо, имитация обрядового сева). Эти примеры еще раз указывают на связь между началом земледельческих работ и наступлением нового года, т. е. на связь между народнохозяйственным и государственным календарями.

Вероятно о том же свидетельствует обычай ритуального сева в день нового года, сохранившийся у грузин, и ряд других новогодних обрядов, выполняемых с целью обеспечить высокий урожай²². Видимо, эти обычаи, возникшие в далекой древности и связанные с первым днем сельскохозяйственного года, заняли важное место в новогоднем обряде именно по той причине, что в основу грузинского языческого календаря лег народнохозяйственный земледельческий календарь²³. Как было указано

¹³ Ю. В. Кнорозов, Указ. раб., «Сов. этнография», 1973, № 1, стр. 77; С. И. Селешников, Указ. раб., стр. 147; E. Thompson, *Civilization of the Mayas*, «Field Museum of Natural History», Chicago, 1927, № 25, p. 53.

¹⁴ И. С. Селешников, Указ. раб., стр. 44; 49; Н. Идельсон, *История календаря*, М., 1925, стр. 37, 41.

¹⁵ С. И. Селешников, Указ. раб., стр. 104.

¹⁶ К. Кекелидзе, Указ. раб., стр. 117.

¹⁷ Н. Идельсон, Указ. раб., стр. 117.

¹⁸ С. И. Селешников, Указ. раб., стр. 121.

¹⁹ К. Иностранцев, *Древнейшие арабские известия о праздновании Науруза в Сасанидской Персии*, «Записки Восточного отдела Императорского русского археологического общества», т. XVI, 1904.

²⁰ И. Бичурин, *Китай в гражданском и нравственном состоянии*, СПб., 1848, ч. IV, стр. 34, 36; И. Гунцадзе, *Историческое обозрение земледелия (на груз. яз.)*, «Меурн», Тифлис, 1888, № 7, стр. 8; Г. Ф. Чурсин, *Очерки по этнологии Кавказа*, Тифлис, 1913, стр. 51.

²¹ К. Иностранцев, Указ. раб., стр. 034.

²² С. Макалатия, *Новый год в Грузии (на груз. яз.)*, Тифлис, 1927; его же, *Тушети (на груз. яз.)*, Тифлис, 1933, стр. 182—186; его же, *Хеви (на груз. яз.)*, Тифлис, 1934, стр. 185—186; его же, *Пшави (на груз. яз.)*, Тифлис, 1934, стр. 159—161; его же, *Хевсурети (на груз. яз.)*, Тифлис, 1935, стр. 223; его же, *Мтиулети (на груз. яз.)*, Тифлис, 1930, стр. 133—134; его же, *Месхет — Джавахети (на груз. яз.)*, Тифлис, 1938, стр. 104; его же, *История и этнография Мегрелии (на груз. яз.)*, Тбилиси, 1941, стр. 297—298; его же, *Атенское ущелье (на груз. яз.)*, Тбилиси, 1957, стр. 34—35; его же, *Пронское ущелье (на груз. яз.)*, Тбилиси, 1963, стр. 90; В. В. Бардавелидзе, *Календарь сванских народных праздников. I. Новогодний цикл (на груз. яз.)*, Тбилиси, 1939; ее же, *Из историй древнейших верований грузин (божество Барбар-Бабар) (на груз. яз.)*, Тбилиси, 1941, стр. 66—71; ее же, *Древнейшие религиозные верования и обрядовое графическое искусство грузинских племен*, Тбилиси, 1957, стр. 77; В. Ломинадзе, *Встреча нового года у имеретин*, «Сборник материалов для описания местностей и племен Кавказа» (далее — СМОМПК), вып. XVII, отд. 2; Т. Мамаладзе, *Народные обычаи и поверия гურიццев*, СМОМПК, вып. XVII, отд. 2, стр. 23; Г. Д. Джапаридзе, *Народные праздники, обычаи и поверия рачинцев*, СМОМПК, вып. XXI, отд. 2, стр. 109 и др.

²³ Созданный в древности грузинский языческий календарь сохранялся и после распространения в стране христианства (первая половина IV в.). Лишь в VII в. он был заменен римским календарем, по которому новый год начинался в сентябре. В IX в. вместо римского календаря в обиход вошел, так называемый мартовский, по которому начало года тоже совпадает с началом аграрного сезона, только уже весеннего. На смену «мартовскому» календарю с середины X в. пришел «январский», окончательно утвердившийся в XIV в. Параллельно с гражданским календарем бытовал и церковный, по которому год начинался с сентября (см. П. Ингорква, Указ. раб.; К. Кекелидзе, Указ. раб.). Видимо, древнейшие ритуалы, выполняемые в день начала аграрного сезона, являющегося и первым днем календарного года, постепенно включились в новогодние обряды. Укоренившись в быту и превратившись в традицию, они

выше, по древнегрузинскому языческому календарю новый год начинался в августе²⁴. А август — начало сезона сева озимых культур, т. е. начало земледельческого года. Следовательно, в основу грузинского языческого календаря вполне мог лечь народный аграрный календарь. Свидетельством тому могут послужить отразившиеся в древнегрузинском языческом календаре, а также сохранившиеся в быту, т. е. народном аграрном календаре, названия месяцев, связанные с сельскохозяйственными работами и выращиваемыми культурами.

Если учесть, что государственные календари древних цивилизаций основывались на народохозяйственных и что начало календарного года определялось наступлением нового сельскохозяйственного года, можно допустить, что в древности в Грузии земледельческий хозяйственный год начинался сезоном осенних полевых работ. А это обстоятельство еще раз подтверждает, что в Грузии первоначально культивировали озимые хлеба.

В связи с затронутым вопросом привлекают внимание и новые этнографические данные, связанные с толкованием слова *кана* (*qana*), которое с древнейших времен обозначало землю, пашню, а также посевы хлебных злаков, ниву. Ныне оно сохранило оба значения, причем, во втором значении (нива), кана в одних районах означает посевы любого хлебного злака, в других — лишь посевы пшеницы (любого вида, сорта и вариации)²⁵. Этнографический материал, собранный в Тианетском районе, дает возможность еще более конкретизировать значение этого слова как определенного сорта озимой пшеницы — «долис пури» (*Tg. vulgare Vill.*), одного из основных среди зерновых культур Грузии. В указанном районе ни один другой сорт пшеницы или хлебных злаков не называют кана. Один из информаторов так характеризовал сорванный в поле колос: «Это — кана; кана — озимый посев, долис пури. Только долис пури, который сеем осенью, называем кана» (с. Тушуреби, Н. Д. Гианашвили). Тут явно противопоставляют сорт долис пури (кана) остальным зерновым: «Кана — это долис пури, а ту (речь идет о яровой пшенице *Tg. ibericum*. — Н. Б.) называем дика. Говорим — посеяна дика, а не кана» (с. Иараджули, Л. И. Иараджули); «В случае, если посевы долис пури не уродятся, говорим — кана не уродилась, зато будет урожай дики» (с. Жебота, Г. Г. Матурели). «Дика, полба, ячмень, просо — не кана. Они яровые посевы. В древности наши деды их называли ахалтесли (т. е. новое семя)» (с. Чиатура, Г. Г. Ликокели) и т. д.

Данные, аналогичные вышеприведенным, зафиксированы также в районах Тетри, Цкаро, Дманиси, Мцхета и Каспи. Некоторые информаторы из этих мест утверждают, что *кана* — посевы именно озимой пшеницы, долис пури. О том же свидетельствует и хранящийся в Тианетском краеведческом музее документ (1907 г.), в котором имеются следующие

сохранились на протяжении веков. Вначале они вместе с новым годом перемещались на весенний сезон (об этом свидетельствуют зафиксированные в быту грузин обряды, выполняемые в марте, в том числе и ритуальный сев), а позже — на зимний. И несмотря на то, что в нынешнем календаре нет уже прежней связи между первым днем нового года и началом аграрного сезона, эти обычаи, напоминая о далеких временах, все еще бытуют в пережиточном, измененном и утратившем первоначальный смысл виде.

²⁴ Август как начало года зафиксирован в календаре сванских народных праздников (см. В. В. Бардавелидзе, Календарь сванских народных праздников, стр. XI).

²⁵ И. А. Джавахишвили, Указ. раб., стр. 135—137; Сулхан-Саб Орбелиани, Словарь грузинского языка, Тбилиси, 1949, стр. 385; «Толковый словарь грузинского языка», т. 7, Тбилиси, 1962, стр. 505; И. В. Абуладзе, Словарь древнегрузинского языка, Тбилиси, 1973, стр. 465; Г. А. Климов, Этимологический словарь картвельских языков, М., 1964, стр. 208.

строки: «...разделить подушно весь урожай этого года с кана, а также с ахалтесли...»²⁶.

Интересен также этнографический материал, зафиксированный среди репатрированных в Грузию в последние два года из Ирана потомков грузин, переселенных туда в XVII в. шахом Аббасом. Словом кана они тоже называют определенный сорт озимой пшеницы, по описанию соответствующий древнегрузинской мягкой пшенице долис пури²⁷. Видимо, переселенцы-грузины в свое время вывезли в Персию семена основного возделываемого на их родине сорта пшеницы и сохранили его древнее название.

Итак, исходя из этнографических материалов, можно установить еще одно, неизвестное ранее в научной литературе значение слова *кана*: это озимый сорт *Tg. vulgare Vill.*²⁸. Возникает вопрос: почему именно за этим сортом пшеницы сохранилось указанное название? Ведь так могли называться и другие виды пшеницы и все хлебные злаки, которые сеются на пашне. Может быть, выявленное нами более конкретное значение рассматриваемого слова — свидетельство того, что первоначально земледelec был знаком только с озимыми культурами? С появлением яровых хлебов название кана закрепилось за древним озимым видом пшеницы, а впоследствии словом кана стали обозначать и ниву, и посевы всех хлебных злаков.

Новое значение слова кана наряду с вышеприведенными другими данными подтверждает мнение И. А. Джавахишвили о первичности озимых хлебов.

Все сказанное позволяет утверждать, что если в Грузии, одном из центров происхождения культурной пшеницы, первичными были озимые сорта, то очаг возникновения земледельческой культуры на этой территории следует искать в зоне, где природные условия способствуют культивированию озимой пшеницы, т. е., учитывая теорию Н. И. Вавилова, в среднегорной географической зоне.

²⁶ Н. А. Брегадзе, Об одном значении слова «кана», «Сообщения АН Груз. ССР», (резюме на русск. и англ. яз.), 1972, т. 67, № 1, стр. 249.

²⁷ Н. А. Брегадзе, Древнегрузинские сорта пшеницы в Ферейдане (резюме на русск. яз.), сб. «Дзеглис мегобари», № 34, Тбилиси, 1974, стр. 37—41.

²⁸ Следует отметить, что в Грузии отдельные виды пшеницы, в том числе и некоторые представители вида *Tg. vulgare Vill.*, можно сеять и осенью, и весной. Однако долис пури — особый сорт пшеницы, высеваемый лишь осенью и притом требующий строгого соблюдения срока посева. См. А. Квалишвили, К понятию слова «доли» (на груз. яз.), «Литературная Грузия», 1962, № 32; Н. А. Брегадзе, Горное земледелие в Западной Грузии, стр. 23, 24; е е же, Древнегрузинские сорта пшеницы в Ферейдане, стр. 41.

И. Мухиддинов

ТРАДИЦИОННАЯ ИРРИГАЦИЯ ПАМИРСКИХ ТАДЖИКОВ В XIX — НАЧАЛЕ XX ВЕКА

(К ИСТОРИКО-ЭТНОГРАФИЧЕСКОМУ АТЛАСУ
СРЕДНЕЙ АЗИИ И КАЗАХСТАНА)

Задачей этнографического исследования традиционной ирригации является, как и при изучении любого элемента хозяйства, быта и культуры народов, выявление этнографической специфики. Основными источниками для данной статьи послужили полевые материалы автора, собранные им на Западном Памире в 1968—1973 гг. Природные условия этого региона, в частности высокогорный рельеф с труднодоступными долинами, обусловили развитие определенных хозяйственно-культурных традиций в поливном земледелии припамирских народностей¹: ваханцев, ишкашимцев, шугнанцев, рушанцев, бартанцев, язгулемцев и локальных групп таджиков (горонцев и ванцев).

В XIX — начале XX в. основой хозяйства памирских таджиков было земледелие, основанное на искусственном орошении, и скотоводство. Этнографические материалы позволяют говорить об исключительном умении земледельцев издревле использовать рельеф местности с наибольшей выгодой для освоения водных ресурсов, о преемственности хозяйственных традиций в поливном земледелии, а также о том, что особые способы полива, применяемые земледельцами в сходных природно-хозяйственных условиях, отражают этнографическую специфику народа или его локальных групп².

При изучении высокогорного типа орошения — традиционной ирригации Западного Памира — нами выделены пять основных способов искусственного орошения: валиковый, струйчато-бороздковый, по полосам, напуск, шахматный. Каждый из них характеризуется определенными техническими приемами полива.

Применение того или иного способа орошения на Западном Памире зависело от уклона пахотных участков, структуры почв, местных традиций и частично от возделываемых сельскохозяйственных культур. Учитывая характер рельефа и другие природные условия, опираясь на опыт своих предков, припамирские народности создали довольно высокую

¹ А. А. Бобринской, Горцы верховьев Пянджа, М., 1908; М. С. Андреев, А. А. Половцев, Материалы по этнографии иранских племен Средней Азии (Ишкашим и Вахан), «Сборник Музея антропологии и этнографии», т. IX, СПб., 1911; М. С. Андреев, Таджики долины Хуф, вып. 1, Сталинабад, 1953; вып. 2, Сталинабад, 1958; Л. Ф. Моногарова, Материалы по этнографии язгулемцев, «Среднеазиатский этнографический сборник», II, «Труды Ин-та этнографии АН СССР», т. XLVII, М., 1959; А. К. Писарчик, Припамирские таджики, в кн.: «Народы Средней Азии и Казахстана», т. I (серия «Народы мира. Этнографические очерки»), М., 1962; Л. Ф. Моногарова, Преобразования в быту и культуре припамирских народностей, М., 1972.

² Н. И. Вавилов, Д. Д. Букинич, Земледельческий Афганистан, в кн.: Н. И. Вавилов, Избранные труды, т. I, М.—Л., 1959, стр. 158—162; Б. В. Андрианов, Изучение горной ирригации на юге Таджикистана и на Западном Памире, «Итоги полевых работ Ин-та этнографии АН СССР за 1970 г.», М., 1971, стр. 66—67; И. Мухиддинов, Из прошлого ирригации на Памире, «Гидротехника и мелиорация», 1972, № 2, стр. 101—108.

технику подготовки поля для полива и разработали различные приемы орошения. Чтобы поле обводнялось равномерно и не был смыт самый плодородный поверхностный слой почвы, на полях, расположенных на склонах гор, проводили временные арыки вдоль склона или поперек него в зависимости от структуры почвы.

У ваханцев и ишкашимцев основными способами орошения были валиковый и струйчато-бороздковый. Валиковый способ — *вырг* (у ваханцев), *варг* (у ишкашимцев) — практиковали преимущественно на лессовых и аллювиальных почвах, вне зависимости от уклона, и на ровных полях с любой почвой. Пахотные участки, подготовленные для орошения валиковым способом, назывались *вундри вырг* (у ваханцев), *замини варей* (у ишкашимцев), т. е. валиковая земля. При подготовке поля к орошению валиковым способом вдоль всего поля после посева и боронования специальной деревянной лопатой делали (и делают) валики, ширина и высота которых 15—20 см. Промежуток между валиками зависел от типа почвы и рельефа местности: на песчаном поле, расположенном на склоне, валики отстояли один от другого на 50—80 см, на ровном лессовом поле расстояние между ними было 80—150 см. Длина валиков зависела от микрорельефа земельного участка, но обычно их доводили до конца поля. Вне зависимости от конфигурации поливаемого участка расстояние между валиками стремились выдержать одинаковое, чтобы от начала и до конца полива вода между ними распределялась равномерно.

Струйчато-бороздковый способ (ваханцы и ишкашимцы называли его *джуйчным*) применялся для орошения каменистых и песчаных, а также лессовых и аллювиальных почв на пахотных участках, расположенных на склонах. Этот способ занимал у ваханцев и ишкашимцев второе место после валикового. Борозды для полива данным способом после посева делали не лопатами, а малым пахотным орудием³, в которое впрягали пару волов. Расстояние между бороздами варьировало от 30 до 50 см. Длина борозды зависела от микрорельефа участка, но была не больше 50—60 м. Если длина поля превышала 100 м, то его разбивали на два или более участков; между ними проводили временные арыки, распределяя воду равномерно по всем участкам. Характерная особенность струйчато-бороздкового орошения состояла в том, что от начала и до конца вегетационного периода поле для полива подготавливалось одним и тем же способом. По всему периметру поля проводили постоянные арыки. Воду для полива подавали из главного постоянного арыка и направляли по бороздам. На некоторых полях в зависимости от микрорельефа применяли оба способа орошения. Валики располагали по отношению к головной⁴ части поля и параллельно, и перпендикулярно. Для предотвращения размыва полей, особенно при первом поливе, с помощью пахотного орудия проводили временные арыки. У ваханцев и ишкашимцев временные арыки различаются по конфигурации и по своим функциям. Часто один и тот же временный арык при одном поливе был арыком-оросителем, при другом — коллектором, отводящим излишки воды. Временные арыки проводили от начала до конца поля.

Временные арыки — *шыкандж* (у ваханцев), *рог*, *нарджу* (у ишкашимцев) — служили оросителями и коллекторами для всей площади поливаемого поля. Ваханцы делали от одного до шести таких арыков, ишкашимцы проводили один или два временных арыка, параллельных один

³ И. Мухиддинов, Сельскохозяйственные орудия таджиков Ишкашимского района Горно-Бадахшанской автономной области Таджикской ССР, «Сов. этнография», 1971, № 1.

⁴ «Головной» называется возвышенная часть поля, откуда начинается подача воды при поливе.

другому. В этом случае один из них, расположенный выше, служил коллектором (для отвода излишков воды), другой — оросителем.

У ваханцев известны также временные парные арычки небольшой длины, проведенные параллельно друг другу. Они называются *джурараг* или *джуфтраг*, и всегда проводятся под углом к временным арыкам (шыкандж). По ним вода направлялась к всходам. Ишкашимцы проводили один временный арычок — *овез*. Расстояние между двумя соседними временными арыками зависело от характера почвы и микрорельефа, но в основном варьировало от 10 до 20 м. Овез после первого полива уничтожали, джурараг же функционировал до третьего, иногда до четвертого полива. Попутно отметим, что джурараг и овез практиковались только при валиковом способе орошения.

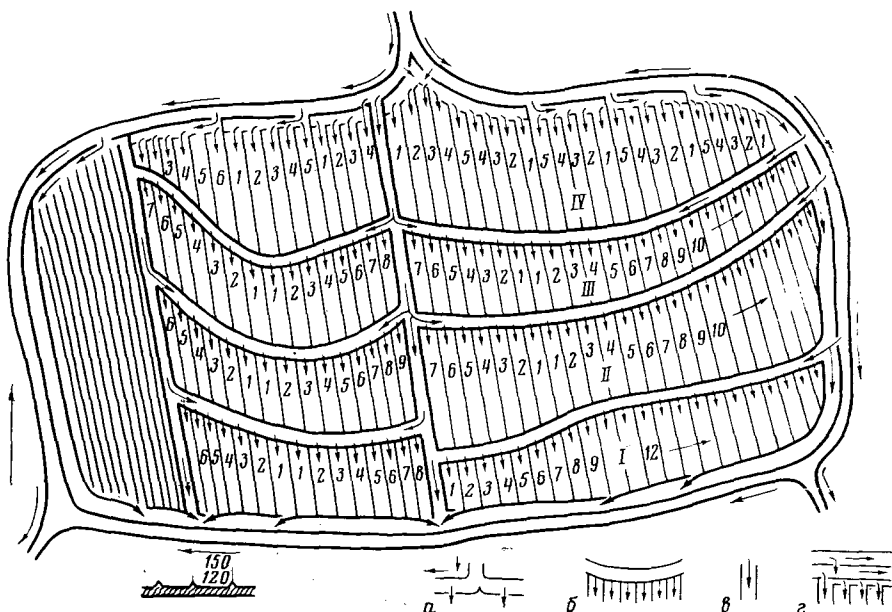


Рис. 1. Схема первого полива при сочетании струйчато-бороздкового (слева) и валикового (справа) способов орошения (профиль валика дан под схемой): а — направление течения воды в арыках; б — временный арык — *овез*; в — временный арык — *шыкандж* (rog); г — распределение воды на полях по валикам

В головной части орошаемого поля перпендикулярно к валикам или бороздам, которых было от трех до десяти, проводили головные временные арыки (у ваханцев — *джуйгаш*, у ишкашимцев — *сарраша*). Вода из постоянного арыка пропусклась через прорезь — *ишын* в крайнем валике арыка в *джуйгаш*, а оттуда распределялась по валикам или бороздкам. Этот вид временных арычков-оросителей применялся и при валиковом, и при струйчато-бороздковом способах орошения.

Временные арычки — *рывыр* (у ваханцев), *бынраша* (у ишкашимцев), которые проводили в конце поля (иногда от его середины до конца) выполняли, в основном, функции коллектора.

При упомянутых способах полива полей у ваханцев и ишкашимцев нами зафиксированы весьма сложные приемы распределения воды. Один из них мы назвали *двухрядным джуйгашевым*. При этом способе воду пускают из постоянного головного арыка во временный головной (*джуйгаш*, *сарраша*). Из него — ко второму, имевшему то же назначение, и уже оттуда — по бороздам. Второй прием орошения, при котором вода из постоянного головного арыка проходит последовательно через три параллельных *джуйгаша* и только после этого пускается по бороздам, мы назвали *трехрядным джуйгашевым*. Двухрядный и трехрядный

джуйгашевые приемы орошения были особенно удобны для ночного полива. Они очень трудоемки и применялись в хозяйствах с достаточной рабочей силой (т. е. в семьях, где было много мужчин). В остальных хозяйствах практиковали преимущественно простейший прием однорядного джуйгашевого орошения, при котором вода из временного арыка сразу направлялась по бороздам.

Струйчато-бороздковый способ применяли и при орошении огородов. При помощи лопаты и мотыги проводили извилистые глубокие борозды, называемые *чангылахт* (у ваханцев), *джуйык* (у ишкашимцев). Этот прием орошения аналогичен орошению хлопка в Гератском оазисе⁵. Иногда он применялся и при орошении садов, которых у ваханцев и ишкашимцев было очень мало. В основном их орошали по кольцевым бороздам.

Техника полива у ваханцев и ишкашимцев очень разнообразна, так как возделываемые культуры требовали различного режима полива.

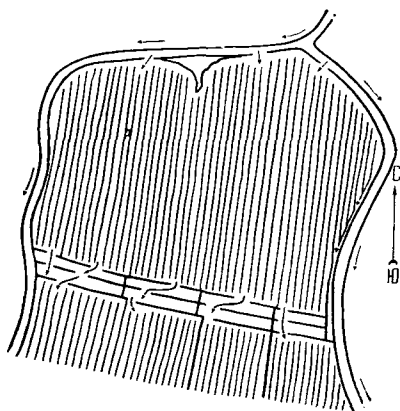


Рис. 2. Схема соединения парных временных арыков — *шыкандж* (рог) при втором поливе струйчато-бороздковым способом

Режим полива, применяемый на полях, расположенных на склонах гор, на конусах выноса, на террасах, отличался от режима полива на ровных (равнинных) участках, так как скорость обводнения земли на разных полях была различной. На ровных полях за весь вегетационный период полив проводили 8—10 раз, а на полях, расположенных на крутых склонах, — от 14 до 17 раз. У ишкашимцев техника полива полей при валиковом способе была менее сложной, чем у ваханцев. Перед пуском воды к валикам в земляных отвалах постоянного арыка, расположенного в головной части поля, делали прорези — *воспин*, через которые вода из постоянного арыка попадала в головной временный арычок (*сарраша*), а из него — к валикам. Каждый валик имел неглубокий проем — *варг ной фыц* («рот» валика), обложенный дерном, чтобы вода не размывала его. Чтобы почва хорошо пропиталась влагой и вода текла равномерно, обе стороны валика перед поливом выравнивали деревянной лопатой. Обычно полив производили два поливальщика. Во время первого полива на небольшом участке воду пускали сначала через воспин в сарраша, а из него — на орошаемую часть поля между двумя валиками. Вода проходила по сарраша до последнего нижнего валика, откуда ее направляли на расположенный выше соседний участок. Полив производили снизу вверх, поочередно от крайнего нижнего валика до верхнего. Иногда перпендикулярно к временному арыку проводили еще два-три временных арычка, и воду направляли из постоянного арыка поочередно вплоть до последнего нижнего временного арычка (овез), а по нему — к последнему крайнему валику.

Овезы уничтожали после полива участка поля между двумя валиками, если этот участок имел временный арык — *рог*. Высоту крайних (нижнего и верхнего) валиков, которые вначале делались выше других, доводили до уровня остальных, чтобы вода могла идти вниз от верхнего валика до конца поля. Затем воду пускали по верхнему овезу.

В процессе полива воду таким способом доводили до верхней части поля, причем головной временный арык (*сарраша*) на таком участке ис-

⁵ Н. И. Вавилов, Д. Д. Букенич, Указ. раб., стр. 166, рис. 122 (1 и 4).

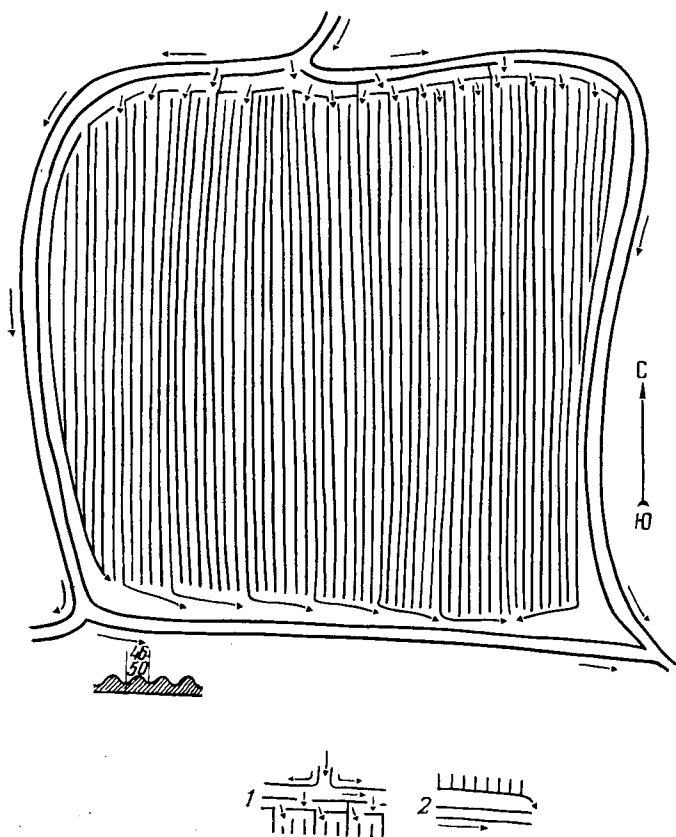


Рис. 3. Схема двухрядного джуйгашевого приема струйчато-бороздкового способа орошения (профиль валика дан под схемой): 1 — распределение воды по бороздам при первом поливе; 2 — отвод сбросных вод

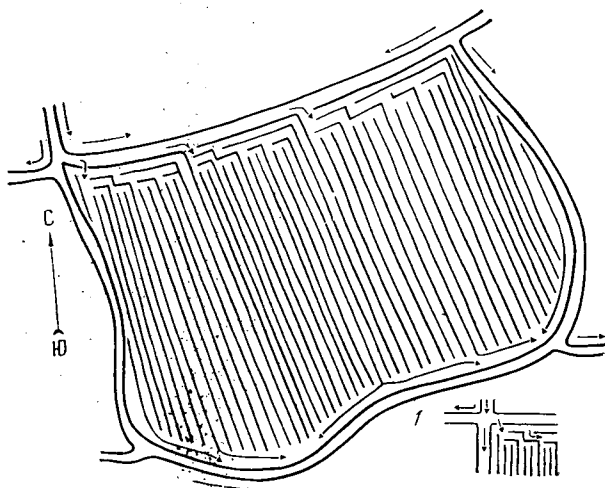


Рис. 4. Схема трехрядного джуйгашевого приема струйчато-бороздкового способа орошения. 1 — распределение воды по бороздам

пользовался до конца вегетационного периода. При последующих поливах вода шла сверху до нижнего края поля, на котором уже были выравнены овезы. При овезе, пересекающем все поле (если поверхность поля слегка вогнутая или выпуклая), воду всегда направляли сначала на одну его сторону, потом на другую. Окончив полив, все овезы уничтожали. После первого полива поле, сплошь покрытое длинными валиками, выглядело так же, как и при струйчато-бороздковом.



Рис. 5. Поливальщики за работой. Справа — постоянный арык, слева — временный (*джурара*, *джуфтра*)

Во время второго полива воду направляли из головного временного арыка к концу поля, на котором овезов уже не было.

Третий и все последующие поливы до конца вегетационного периода проводили, как и второй.

Ваханская техника первого полива отличалась от ишканимской более сложными приемами только при поливе больших площадей. В этих случаях воду пускали из постоянных арыков головной части поля во временные (или из боковых постоянных арыков в два параллельных временных — *джурара*, *джуфтра*), доводя ее до последнего *джуфтра* нижнего конца поля. Вода текла по нижнему из двух параллельных арычков, а верхний выполнял роль временного коллектора, отводящего воду от верхнего участка поля к последнему валику нижнего участка. Воду подавали к росткам и, когда она достигала конца валика, ее направляли к следующему валику. При этом отверстие для прохода воды в предыдущем нижнем валике закрывалось. Закончив полив участка из нижнего *джурара*, воду пускали на расположенный выше второй участок поля. После этого она выходила на одну из параллельных борозд (нижнюю), а верхняя, выполняла функцию коллектора. Эта борозда соединялась под прямым углом с временным арыком — *шыкандж*, в данном случае также игравшем роль коллектора. После полива второго участка воду пускали поочередно на третий и последующие и так до самого верхнего участка поля; излишки воды сбрасывались только через временные коллекторы (на полях у ишканимцев они отсутствовали).

Второй полив в Вахане начинали со второго (считая снизу) участка, который соединяли с верхним. Необходимость соединения тех или иных участков поля для полива определялась и определяется поливальщиками, которые учитывают прежде всего длину участка и структуру почвы (поле длиной в 35—40 м, состоящее из двух-трех участков, поливается одновременно). Участок в 40—50 м в первый и второй половины орошал-

ся сразу. Третий и последующие поливы начинали с верхней части поля. Вода, как и при втором поливе, направлялась до конца поля, однако перед этим соединяли все коллекторы. При третьем поливе коллекторы были уже не нужны, так как всходы давали корни, появлялись к этому времени и сорняки, а корни тех и других укрепляли землю. Она становилась более твердой, и при поливе верхний слой почвы уже не смывался. После третьего полива техника

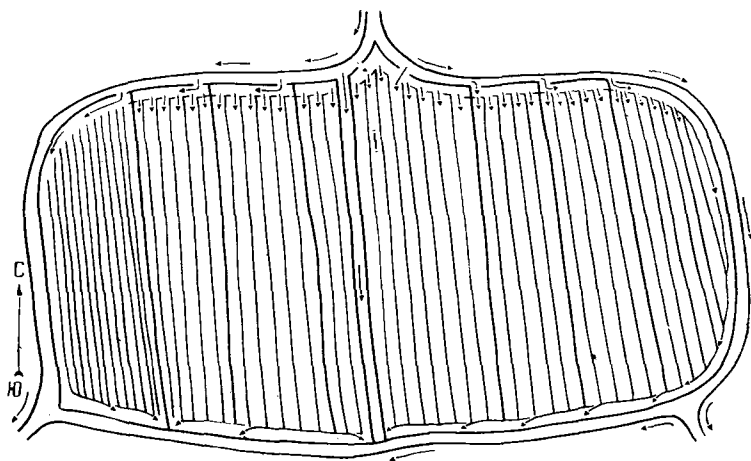


Рис. 6. Схема второго полива при сочетании струйчато-бороздкового (слева) с валиковым (справа) способом орошения

проведения его не менялась до конца вегетационного периода. Следует отметить, что у ишкашимцев сплошной полив при валиковом способе орошения зерновых культур начинался со второго, а у ваханцев — с третьего полива, и приемы валикового орошения у последних сложнее.

Способы струйчато-бороздкового полива у ваханцев и ишкашимцев одинаковые. Ширина, длина и число борозд (джуйык), проведенных на поле перпендикулярно к головному временному арыку, у них совпадали. Воду направляли из постоянных арыков через ишын в головной временный арык, а из него — на борозды. Длина каждой из них достигала 50—60, и в редких случаях — 100 м. Перпендикулярно к бороздам проводили два параллельных временных арыка глубже обычных. Верхний служил коллектором-сбросом для верхней части поля, а нижний был основным оросителем, вода из которого шла к головным временным арыкам. При первом поливе вода направлялась сначала на борозды нижней, а потом верхней части орошаемого участка поля. При втором поливе иногда соединяли временные арыки верхних и нижних участков поля, так как они утрачивали свои функции коллекторов и служили оросителями. Все последующие поливы производили с верхней части поля до его конца.

У горонцев основными способами орошения были: валиковый, струйчато-бороздковый и особый способ, названный нами по полосам. Этот способ применяли для орошения полей, засеянных зерновыми культурами, наравне с валиковым и струйчато-бороздковым, которые нами уже описаны. Техника подготовки поля к орошению этими способами полива у горонцев не отличалась от ваханской и ишкашимской, поэтому мы остановимся только на описании техники подготовки поля для полива способом по полосам, который осуществляется пятью приемами (*одно-двухбороздковый, однобороздковый, двухбороздковый, шагалмозн и дулох*).

При одно-двухбороздковом поливе после сева и боронования пахотным орудием проводили временные двойные (*джыфтык, нарджу*) и

одинарные (*мададжу*) бороздки перпендикулярно к арыку, направляющему воду. Расстояние между бороздками (*бахш*) зависит от микро-рельефа поля и варьирует от 2 до 5 м. Воду пускали с головной части поля к временным бороздкам. После первого полива одинарные бороздки теряли значение оросителей и их уничтожали, а парные бороздки оставляли до третьего полива. Во время первого и второго поливов поле поливали по частям. Чтобы сдержать напор воды и не дать смыть слабые еще корни растений, необходим был коллектор, функцию которого выполняла верхняя из парных бороздок. При третьем поливе, когда у растений были крепкие корни, воду подавали на все поле сразу, верх-

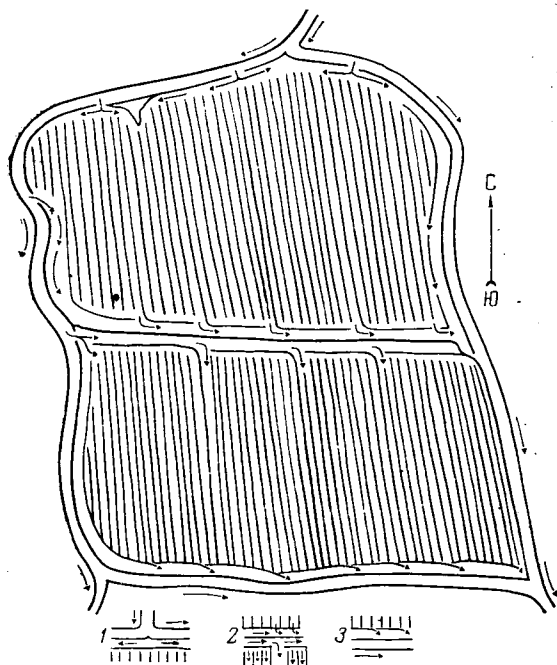


Рис. 7. Схема первого полива при струйчато-бороздковом способе. 1 — распределение воды в верхней части поля; 2 — распределение воды в средней части поля; 3 — отвод сбросных вод по коллектору

Коздексской группы, расположенных выше по течению р. Пяндж, струйчато-бороздковое и валиковое орошение практиковали для всех видов зерновых культур. Шугнанцы при струйчато-бороздковом орошении в отличие от ваханцев практиковали однорядный и двухрядный джуйгашевые приемы при ночном поливе головной части поля. Трехрядный джуйгашевый прием у них отсутствовал, его применяли только шугнанцы долины Шахдары. Наряду со струйчато-бороздковым орошением в долине Гунта для полива пшеницы, ячменя, бобовых и люцерны шугнанцы применяли двухбороздковый полив, называемый ими *палла*, *везцак*. Техника подготовки поля для этого полива сводилась к следующему. От головной до нижней части поля традиционным пахотным орудием (в которое впрягали пару волов) проводили парные бороздки. Ширина полосы между двойными бороздками колебалась от 1,5 до 3—3,5 м. Для подачи

ниже бороздки уже не использовались как коллектор и их соединяли с нижней бороздкой⁶. Полив проводили с верхней части поля целиком. Так поливали до конца вегетационного периода. При однобороздковом приеме полива на поле после сева и боронования проводили пахотным орудием временные одинарные бороздки. Полив поля начинали с нижней части и после первого полива бороздки уничтожали. Второй и последующие за ним поливы производили *напуском* (без проведения борозд и валиков). Такой прием полива практиковали на небольших полях.

У шугнанцев долины Гунта, как и у шугнанцев долины Шахдары, преобладал струйчато-бороздковый (*джуййк*, *волч*) способ орошения (Шугнан). Валиковый способ здесь применялся лишь на полях, засеянных просом, а в Вахане и Ишкашине, в кишлаках Горона

⁶ Следует отметить, что и при одно-двухбороздковом поливе (как и при валиковом способе) во время третьего полива соединяли временные парные бороздки на всем поле.

воды из постоянных арыков в головной части поля к двойным бороздкам (перпендикулярно к ним) пахотным орудием проводили одну или две бороздки, которые шугнанцы называли *калак*. При валиковом и двухбороздковом поливах воду пускали с головной части поля. Если поле имело слегка вогнутую поверхность, то при подготовке его к поливу пахотным орудием проводили две диагональные параллельные борозды. Во время полива верхняя из этих борозд выполняла функцию коллектора, а нижняя подавала воду для пересекаемых ею нижних участков.

У шугнанцев в долине Гунта двухбороздковый полив практиковался на каменистой почве и на полях, расположенных на склонах. У ваханцев и ишкашимцев на таких полях применяли струйчато-бороздковое орошение, которое в долине Гунта практиковали на ровных полях.

Рушанцы в XIX — начале XX в. применяли валиковый способ орошения, называемый ими *памйузн*, для полива озимой пшеницы и некоторых яровых культур, в частности проса. Струйчато-бороздковым способом пользовались при орошении всех других зерновых.

Характерной особенностью рушанской ирригационной системы является преобладание струйчато-бороздкового способа орошения. Здесь наряду с регулярным встречается и нерегулярное орошение — *шагалмозн*. Оно применялось при недостатке воды для полива яровых злаков. Техника подготовки поля для полива приемом шагалмозн аналогична технике одно-двухбороздкового полива в Гороне. Отличие лишь в том, что в многоводный год каждый участок поля поливали отдельно между двойными бороздками. Чередование двойных и одинарных бороздок зависит от микрорельефа поля. В маловодные годы при третьем и последующих поливах соединяют все участки поля, присоединяя двойные бороздки друг к другу, и полив производят от начала поля до его конца.

У рушанцев режим полива яровых и озимых культур различен. В течение вегетационного периода яровых культур (пшеница и ячмень) полив на ровных каменистых полях производили 8—10, а на полях, расположенных на склонах (с той же почвой), — 10—14 раз. Яровые злаки на ровных полях с аллювиальными почвами поливали 6—7, а озимые злаки за вегетационный период (весной) — не более 3—4 раз.

У бартангцев подготовка поля к поливу имела свои особенности, связанные со спецификой ландшафта и почвы. Здесь, как и в других районах Западного Памира, все пахотные земли были окружены постоянными арыками, но особое значение имели временные арыки, выполнявшие различные функции.

После посева зерновых опытные крестьяне определяли на глаз уклон поля и характер почвы и предлагали тот или иной способ орошения. В прошлом для бартангцев было особенно характерно валиковое орошение, на втором месте стояло струйчато-бороздковое, на третьем — полив по полосам (прием дулох).

Необходимо отметить, что техника подготовки поля под валиковое орошение и дулох у бартангцев отличалась от техники, бытовавшей у остальных народностей Западного Памира. Валики делали здесь не деревянной лопатой, а пахотным орудием, в которое впрягали пару волов. По всему полю проводили бороздки, как при подготовке для полива струйчато-бороздковым способом у ваханцев и ишкашимцев. Затем в зависимости от характера почвы и уклона поля через одну борозду одну — три борозды уничтожали. Оставшиеся борозды принимали на себя функции валиков. Почву между оставленными бороздами выравнивали с помощью специального двухстороннего деревянного орудия — молотка, который изготовляли из дерева с крепкой древесиной: абрикоса, туютника или ореха. После выравнивания расстояние между валиками колебалось от 70 до 160 см. Длина валиков обычно достигала 12—20 м. Валик здесь называли *йуз*. Если поле было длинное, то его делили на две или три части, между которыми (в зависимости от рельефа) пахот-

ным орудием проводили временные арыки (один — *токавоз* или два параллельных — *джыфтавоз*) для подачи воды на поля. Каждый год временные арыки уничтожали и снова восстанавливали на следующий год. В верхней части поля для двух или пяти валиков проводили арычок — *разан*, который сохраняли до конца вегетационного периода, так же как у ваханцев джуйгаш и у ишкашимцев — сарраша.

При первом поливе воду пускали из постоянного арыка в один из временных параллельных арычков в нижней части поля и доводили ее до верхней части, как у ваханцев и ишкашимцев. При первом и втором, а иногда и третьем поливе участки, находящиеся между временными параллельными арыками, поливали каждый отдельно. При третьем и последующем поливах участки соединяли и воду пускали от верхнего участка поля до его конца. Этот процесс называли *ростчего*. За вегетационный период на ровных аллювиальных почвах зерно поливали 6—7 раз в дождливый год, 8—9 раз — в сухой. Если поля были расположены на каменистой или песчаной почве на склоне гор, то число поливов варьировало от 14 до 18 раз в год.

Бартангцы считали, что применение валикового способа орошения дает больший урожай, чем струйчато-бороздкового, но при валиковом способе земля за вегетационный период «обезжиривается», а при струйчато-бороздковом почва улучшается, становится «жирной», так как за вегетационный период верхние части борозды получают много солнечных лучей.

У бартангцев техника подготовки поля к поливу валиковым способом и приемом дулох была очень похожа. Оба эти способа применялись исключительно на полях, расположенных на горных склонах с уклоном от 10 до 20, а иногда до 35°, и не только на аллювиальных, но и на каменистых и песчаных почвах. Полив приемом дулох имел два варианта. Первый совпадал с горонским, названным нами одно-двухбороздковым. Временные арычки (одинарные и парные) проводили пахотным орудием. Расстояние между ними в зависимости от рельефа варьировало у бартангцев от 2 до 4 м. При этом варианте орошение начинали с нижней части поля, и одинарные арычки после первого полива теряли свое значение, а парные выполняли свои функции до второго или третьего полива. После укрепления корней растений воду до конца вегетационного периода пускали только с верхней части поля.

Второй вариант полива дулох отличался от первого тем, что кроме одинарных и парных арычков (проведенных параллельно к головной части поля), по всему полю (от головной до нижней его части) перпендикулярно к арычкам делали валики. Расстояние между валиками было 50—80 см, а между одинарными и парными арычками — 120—160 см. Второй вариант приема дулох (с бороздками и валиками) применялся только на полях с уклоном от 20 до 35° и более. Пересекающимися валиками и арычками поле делилось на мелкие квадратики и прямоугольники. Благодаря этому уменьшалась сила течения воды и плодородный верхний слой почвы не смывался. Этот вариант полива был самым трудоемким из-за большого уклона поля. Вид поля при первом, втором, третьем и последующих поливах (если не считать мелких квадратиков и прямоугольников) совпадал с тем видом, которое принимало поле при валиковом способе полива у ваханцев.

Струйчато-бороздковое орошение (*кух*, *ёхи*) у бартангцев аналогично ваханскому, ишкашимскому и шугнанскому, однако приемы полива имели некоторые отличия.

У язгулемцев традиционная техника подготовки поля к поливу во многом совпадала с рушанской, бартангской и горонской. После сева зерновых культур на поле пахотным орудием проводили временные одинарные (*хырваз*) и парные (*джыфтваз*) арычки для подачи воды на разные участки поля. Если поле было ровным и маленьким (0,1 до 0,15 га),

то по нему параллельно его головной части проводили одинарные арычки. Расстояние между ними зависело от микрорельефа почвы и обычно варьировало от 2 до 5—8 м. При первом поливе (*пыхкун*) воду пускали с нижней части поля — *замчи перджи* во временный арычок и распределяли по бороздам. После полива нижней части поля воду направляли на лежащие выше участки и так доводили ее до верхней части поля — *замчи калджи*. Начиная со второго полива (*дыоба*) и далее (третий полив — *сеоба*, четвертый — *чороба* и т. д.) воду до окончания вегетационного периода пускали только сверху.

Если поле было большим (*майдон*) и расположено на неровной местности или песчаной почве, то проводили одинарные и парные арычки. В зависимости от уклона поля после каждого парного делали один или два одинарных арычка, а затем снова парные. Одинарные арычки теряли свои функции после первого полива, парные же сохраняли их до второго или третьего, после которого воду пускали с верхней части поля.

У язгулемцев преобладал полив полей по полосам (однобороздковый и двухбороздковый).

Струйчато-бороздковое орошение здесь применяли лишь на отдаленных от кишлаков участках, особенно при ночном поливе. Режим пуска воды в этом случае действительно устойчивее, чем при напуске, валиковым и других способах полива.

Валиковое орошение типа *йус* практикуется у язгулемцев в основном в кишлаке Вышхарв. на ровных полях с аллювиальными почвами и на полях с уклоном с каменистыми и песчаными почвами. В этом кишлаке орошение струйчато-бороздковое и по полосам не применяют из-за недостатка воды. Чтобы потери воды свести к минимуму, в вегетационный период ее пускают строго по валикам, и как только вода достигает конца валика, ее быстро пропускают в следующий валик.

У таджиков в долине Ванча способы полива полей весьма разнообразны. В отличие от других регионов Западного Памира здесь на абсолютно ровных участках практиковали полив способом напуск. Такой полив применялся обычно на мягких аллювиальных почвах. В долине Ванча их мало, поэтому здесь более широко использовали однобороздковый полив. После сева пахотным орудием проводили параллельно (по отношению к головной части поля) одинарные временные арычки — *токаджебор*. Расстояние между ними зависело от уклона поля, но чаще всего колебалось от 3 до 4 м. Однобороздковый прием полива применяли на полях, имевших уклон. При первом поливе (*хоков*) воду направляли по временным арыкам с нижней части поля. После полива нижней полосы воду подавали на полосу, лежащую выше, и так орошали все участки до верхней части поля. Излишек воды после каждого полива верхнего участка переходил на нижний для повторного увлажнения. При втором, третьем и последующих поливах временные одинарные арычки теряли свое значение, и воду пускали напуском с верхней части поля.

У ванцев, особенно в группе кишлаков Даштак, по берегу Пянджа встречался одно-двухбороздковый прием полива. В Ванче при этом поливе арычки одинарные (*токаджебор*) и парные (*джыфтаджебор*), проводились на полях более сложной конфигурации (как у ваханцев). Здесь делали подряд три или четыре временных арычка, которые подавали воду на все участки поля (как шыкандж у ваханцев). Если проводили подряд три временных арычка, то их называли *сегуна*, если четыре — *чоргуна*. При этом приеме полива, кроме временных одинарных и парных арычков, проводили временные трехрядные и четырехрядные, а в дополнение к ним — короткие парные арычки, прорытые наискось от края поля и пересекавшие одинарные и парные бороздки (*хивад*). По ним дополнительно отводили воду на поля.

Поля сложной конфигурации, расположенные на склонах, при подготовке к поливу делили с помощью парных временных арычков на несколько участков. После первого полива одинарные арычки теряли свои функции, парные же в зависимости от характера почвы сохраняли их до второго или третьего полива. Ширина каждой полосы между арычками варьировала от 2 до 4 м. У ванчцев на полях, расположенных на крутых склонах, камни с поверхности поля не собирали, их оставляли, чтобы замедлить течение воды и предотвратить эрозию почвы при поливе. У ванчцев в группе кишлаков Даштак, как и повсюду при первом поливе, поле орошали с нижней части.

Оригинальный способ орошения, впервые встреченный нами у ванчцев и названный шахматным, характерен только для долины Ванча (изучен нами в кишлаке Гушхон). Применяли его для полива всех видов яровых и озимых зерновых культур и для люцерны исключительно на полях с каменистой почвой, расположенных на склонах гор. Как и при других способах орошения, на поле перед поливом проводили временные борозды, которые после первого полива последовательно соединяли.

Из общего обзора способов искусственного орошения на Западном Памире видно, что на базе многовекового опыта местных земледельцев выработаны традиционные способы полива, свидетельствующие о высокой культуре орошаемого земледелия. При этом необходимо подчеркнуть, что технические приемы полива полей отражали специфические этнографические особенности земледельческой культуры каждой народности Западного Памира.

Н. Н. Ершов

**СОБРАНИЕ ЭТНОГРАФИЧЕСКИХ КОЛЛЕКЦИЙ
ИНСТИТУТА ИСТОРИИ им. А. ДОНИША
АКАДЕМИИ НАУК ТАДЖИКСКОЙ ССР**

В 1951 г. в Душанбе на базе Таджикского филиала АН СССР была создана Академия наук Таджикской ССР, а в ее составе — Институт истории, археологии и этнографии, переименованный в 1962 г. в Институт истории им. А. Дониша.

Сектор этнографии этого Института продолжал начатое ранее комплектование этнографических коллекций. Этнографические коллекции пополнялись в основном во время выездов экспедиционных отрядов сектора в районы и города республики, где параллельно со сбором сведений по заданным темам приобретались у населения отдельные предметы для музея. Активно участвовали в комплектовании собрания сотрудники сектора Н. Н. Ершов, А. К. Писарчик, М. А. Хамиджанова. Материалы для музея покупались и в Душанбе, а отдельные вещи были подарены Институту разными лицами. Постоянную заботу о комплектовании коллекций проявлял ныне покойный первый директор Института академик АН Таджикской ССР профессор А. А. Семенов.

В настоящее время в фондах Института собрано около 8 тыс. предметов, отражающих развитие народного прикладного искусства и ремесленного производства в разных районах Таджикской ССР. Некоторые экспонаты уникальны. Собрание состоит из нескольких коллекций: керамики; одежды, тканей, вышивок; ювелирных изделий; предметов домашнего обихода и орудий производства.

Так как большая часть экспонатов покупалась на местах, то они довольно точно паспортизованы, что увеличивает ценность коллекций. Однако есть и такие предметы, у которых паспорта не совсем точные или вовсе отсутствуют. Это касается главным образом отдельных ремесленных изделий, производство которых уже давно прекратилось, например ювелирных украшений и посуды.

Наиболее крупная по числу экспонатов (свыше 1000 предметов) коллекция народной керамики; в ней представлены изделия почти всех центров гончарного производства Таджикистана. Почти все экспонаты паспортизованы. Как правило, известно имя создавшего их мастера, время и место изготовления.

Издавна у таджиков существовало как мужское, так и женское гончарство, причем ареалы того и другого можно довольно четко определить: к северу от Гиссарского хребта распространено мужское гончарство, а к югу от него — женское. Исключения составляют лишь Каратаг с его мужским гончарством (к югу от Гиссарского хребта) и долина р. Ягноб на север от хребта, где бытовала женская керамика. Мужское гончарство, как правило, характерно для городов, женское гончарство — для сельской местности.

Мужская керамика, представленная в нашей коллекции, в большинстве случаев покрыта глазурью и щедро расписана красками, изготовленными из красителей, добываемых в горах Таджикистана. Это марганец, дающий при обжиге коричнево-фиолетовый цвет, красная и



Рис. 1. Керамика: а — *куза* — кувшин для воды, изготовлен в 1966 г. Ш. Назаровой, сел. Зульмобод, Яванский р-н, КП 644—255; б — *мангыча* — кувшин для воды, сделан в 1946 г. в сел. Сари-рег (Дашти-Джум) (КП 13—20); в — *коса* — миска, сделана в 1971 г. У. Мелиевым в Кандибадаме (КП 641—216)

белая глины, окись меди, с помощью которой получают зеленый цвет различных оттенков, а при поташной поливе — бирюзово-голубой. Перемолотая железная окалина дает желто-коричневую окраску. Из привозных красителей ранее широко и умело использовался кобальт в чистом виде и с примесью окиси меди для окраски изделий в сине-голубые тона. Применяли также привозную окись сурьмы, дававшую при обжиге зеленовато-желтые цвета. В последние годы наряду с упомянутыми выше природными стали употреблять и промышленные красители.

Женская керамика не знает глазури. Вместо нее в ряде мест применяется ангобирование отмученной глиной, после чего кое-где изделия подвергаются еще и лощению.

В коллекции представлена мужская керамика, изготовленная гончарами Бобохалимом Мукумовым, Абдурозиком Назаровым и Саидом Расуловым из Каратага, Рахматом Ходжаевым из с. Урмитан на Среднем Зеравшане, Ашуром Мавляновым, Бободжаном Мавляновым и Усманом Мелиевым из Канибадама, братьями Сохибовыми из с. Чорку Исфаринского р-на.

Из керамики предреволюционного периода и первых лет Советской власти большой интерес представляет прекрасная коллекция изделий гончаров с. Чорку (свыше 600 предметов). Своими художественными достоинствами выделяются блюда, *коса* — миски и большие *кыф* — кринки с четырьмя ушками по бортикам работы мастера Гоибназара. Эти предметы богато расписаны по белому ангобу кобальтом чудесных глубоких сине-голубых оттенков. Изящный и тонкий рисунок отличает изделия мастера Абдунаби; крупный и свободный мазок и прекрасный бирюзовый цвет орнамента, нанесенного по белому ангобу, характерен для керамики мастера Усто Мели. Из посуды, называвшейся *чинни мусульмони* или *ялгончини*, выделанной под китайский фарфор, с сине-голубым орнаментом по белому фону, в коллекции имеется несколько



Рис. 2. *Куртаи чакан* — платье, вышитое в 1952 г. Н. Хабибуллаевой, сель Зыгар (Дарваз) (КП 273—207)



Рис. 3. *Куртаи гульбаст* — платье из карбоса, окрашенного техникой перевязки в 1948 г., Дашти-Джум (Куляб) (КП 9—45)

небольших мисок. Они приобретены в Ленинабаде, Ура-Тюбе, Канибадаме, Чорку.

Среди женской керамики в коллекции выделяются разнообразием форм, красным лощением и изысканным лепным декором изделия Сайлон Сохатшоевой из с. Егид. Интересна и лощеная керамика из с. Давлятабад на юге Кулябской области. Своими формами и особенно орнаментом, выполненным железистой глиной по светло-коричневому ангобу, отличаются изделия мастериц из с. Дашти-Джум (в настоящее время женское гончарное производство здесь прекратилось). Привлекает внимание и керамика мастериц с. Тусанбог, украшенная примитивным орнаментом, нанесенным железистой глиной по светлому ангобу. В коллекции имеются изящные по форме сосуды из с. Тегерми и Самсолык Гармского р-на. Этнографы Института выявляют все новые центры производства женской керамики и продолжают сбор ее образцов. За последние годы, например, женское гончарство было обнаружено в селениях группы Зидды в ущелье р. Варзоб, с. Ширгин на Западном Памире, селениях Гиссарского р-на (в ущелье р. Хонако). Еще не обследованы центры женского керамического производства в ущелье Висхара в Дарвазе (выше Калаи-Хумба) и в Шугнane, выявленные нами в 1954 г.

Говоря о керамике, нельзя не упомянуть большую коллекцию игрушек-свистулек из обожженной глины (либо раскрашенных, либо глазурированных) работы каратагских мастеров Абдурозика Назарова, Хакима Мукумова и Маннона Кодырова, ура-тюбинских мастеров Гафора Халилова и Хамида Каримова, а также талантливо выполненных игрушек-статуэток, изображающих горную козу с козлятами работы упомянутой выше мастерицы Сайлон Сохатшоевой. Следует отметить, что игрушки, выполненные А. Назаровым и Г. Халиловым, уже можно рассматривать как малые формы скульптуры.

Коллекция таджикской одежды также довольно многочисленна. В ней богато представлены традиционные формы одежды таджиков конца XIX — начала XX в.: женские туникообразные платья с длинными узкими или широкими рукавами, мужские и женские распашные халаты, мужские и женские шаровары. Традиционный костюм долго сохранялся в быту и стал уступать место современному сравнительно недавно. В коллекции имеются и различные ткани. На основе коллекции одежды составлен «Альбом одежды таджиков», изданный в Душанбе в 1969 г. Конечно, в одном альбоме с ограниченным числом таблиц (40) трудно было показать все разнообразие собранных экспонатов, тем более, что часть таблиц посвящена украшениям. В альбоме совсем не представлены детская одежда, некоторые реликтовые формы одежды, украшения, служащие оберегами, и т. д. Однако по отдельным южным регионам эти пробелы восполнены работами научного сотрудника сектора З. А. Широковой¹. На ближайшие годы сектором запланированы такие же исследования и по таджикам северных районов республики.

В коллекции широко представлены шерстяные чулки узорной вязки из горных районов Таджикистана. Особенно красивы и сложны узоры на чулках припамирских таджиков.

Много в коллекции мужских и женских тюбетеек как современных, так и старинных. Следует заметить, что примерно до начала XX в. тюбетейки были принадлежностью только мужского костюма. Затем их стали носить молодые женщины, девушки и девочки, причем сначала в северных, а затем и юго-восточных районах республики. В настоящее

¹ См. «Таджики Каратегина и Дарваза», вып. II, Душанбе, 1970, стр. 116—201 и сб. «Материальная культура таджиков верховьев Зеравшана», Душанбе, 1973, стр. 182—273.

время тюбетейка стала обязательной частью женского костюма. По форме женские тюбетейки повторяют мужские (они только богаче украшены). Исключение составляют лишь круглые тюбетейки с высокой тулей, их женщины не носят.

Тюбетейки из Ура-Тюбе, Исфары и Ленинабада отличаются особенно тонким и сложным узором, гармоничным сочетанием красок. По имеющимся в коллекции тюбетейкам можно проследить развитие их форм и орнаментации за последние 100 лет. Первоначально бытовали круглые с высокой тулей тюбетейки, сменившиеся четырехугольными тюбетейками с плоским верхом. Украшения старинных тюбетеек были очень лаконичными — четыре, часто двухцветные, розетки и одноцветная плетеная тесьма по околышу. Впоследствии весь фон стали зашивать многоцветным узором, а околыш обшивая бархатной полоской или вышитой тесьмой. В последние годы в широкое употребление вошли так называемые чустские тюбетейки, очень строгие, обычно двухцветные. Если раньше, примерно лет 50 назад, по тюбетейке можно было почти безошибочно определить территориальную принадлежность ее владельца, то сейчас это редко удается сделать — чустская тюбетейка распространилась повсеместно. В коллекции много и детских тюбетеек, в их украшении всегда присутствуют элементы оберега.

Многочисленны в коллекции одежды платки (женские головные, мужские поясные), в большинстве случаев украшенные вышивкой. Очень интересны головные платки северных районов из белой кисеи, один угол их и прилегающие к нему стороны вышиты разнообразным узором. Когда-то такие платки носили все женщины: в последнее время они стали частью ритуального костюма. Оригинальны бытовавшие до недавнего времени у таджичек Куляба широкие шарфы из белой кисеи с вышивкой на концах и платки, окрашенные техникой перевязки. Последние встречались и в Дарвазе, но там их делали из сшитых вместе нескольких полотнищ шелкового карбоса. В коллекции представлены и старинные *фута* — мужские кушаки, а также чалмы с вышитыми концами. Есть и женские траурные кушаки из кустарной набивной ткани, а также мужские пояса из соединенных шарнирами серебряных бляшек филигранной работы или пояса с нашитыми на полосу галуна или бархата серебряными бляшками с чернью и перегородчатой эмалью с массивными пряжками, матерчатые пояса, вышитые крестом, с портупеей и ножами для ножа.

Коллекция обуви недостаточна полна, поскольку старые образцы ее найти весьма трудно. Если старинные платья и платки хранились и передавались от поколения к поколению по наследству, то обувь обычно снашивали. Тем не менее сотрудникам сектора этнографий удалось приобрести образцы старинной обуви: несколько пар женских кожаных туфель-галош с низким задником и *махсии ироки* — ичиги казанской работы, сшитые из кусочков цветного сафьяна. Современная мужская и женская традиционная обувь представлена полнее. Это ичиги, которые носят с кожаными или резиновыми галошами, *чорук* — обувь типа сапог без каблучков, с высоким голенищем и мягкой подошвой, края которой загнуты на верх головки; *муки* — полусапоги с рантом, широкими набойками вместо каблучков и с низкими, чуть повыше щиколоток, голенищами. Есть и мягкие сапоги из ягнячьих или бараньих шкурок, сшитые мехом внутрь. Их носили в холодное время года в горных районах, преимущественно старики, причем надевали их с *кауши чубин* — деревянными туфлями, изготовлявшимися почти во всех горных районах республики, а в старину — и в предгорьях на северных склонах Туркестанского хребта. С Памира привезены *пех* или *чамус* — мужские, женские и детские мягкие сапожки, носившиеся без галош с шерстяными чулками. Имеется и приобретенная в горных районах *хомак* — обувь, сшитая чулком из сырых, не выделанных коровьих шкур

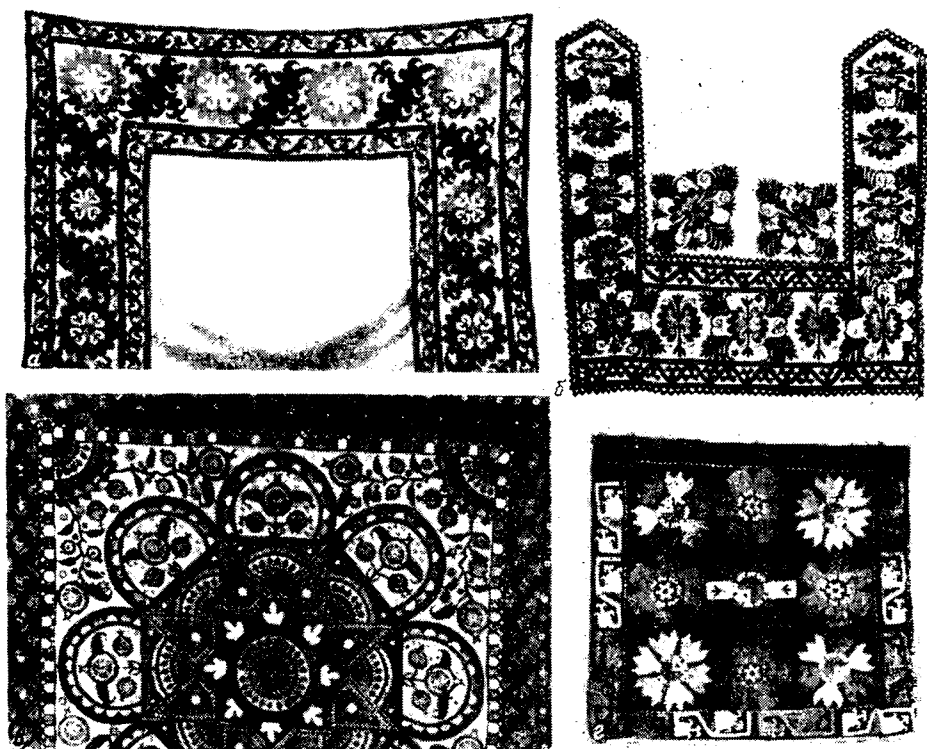


Рис. 4. Декоративная вышивка: а — *джойшун* — покрывало на свадебную постель, Ура-Тюбе, КП 146—5; б — *карс* — декоративная вышивка, Ура-Тюбе, КП 126—1; в — *ильгич* — локайская декоративная вышивка, КП 9—119; г — *сохт* — скатерть или декоративное панно, выполненное техникой набойки в Ура-Тюбе в 1960 г. мастером А. Джу-маевым (КП 445—13)

шерстью наружу, которую носили в дождливую погоду. Деревянная обувь в коллекции представлена мужскими, женскими и детскими деревянными туфлями на трех каблуках и плоскими деревянными сандалиями, бытовавшими у припамирских таджиков.

Весьма много в собрании вышивок и орнаментированных тканей кустарного производства. О вышивках писать очень трудно, их нужно видеть. Можно сказать только, что в нашем собрании имеется уникальная коллекция вышивок, охватывающая период приблизительно за последние 100 лет. Отдельные образцы могут быть датированы и более ранним временем. Особенно полно отражено вышивальное искусство северных районов республики и населенных таджиками городов Джизака, Самарканда и Бухары.

Поскольку нами собрано множество вышитых платьев, наш Институт включен в книгу маршрутов творческих командировок для художников-дессинаторов, колористов и художников-модельеров текстильной и легкой промышленности СССР, изданную в Москве в 1972 г.

Говоря о вышивках, нельзя не упомянуть *рубанды* — вышитые лицевые занавески горных таджичек. В коллекции их более 20. Эти занавески — принадлежность свадебного костюма, но уже в начале нашего века они встречались очень редко². Нельзя обойти молчанием и уни-

² См. А. А. Бобринской, Орнамент горных таджиков Дарваза, М., 1900; Н. А. Кисляков, Свадебные лицевые занавески горных таджичек, «Сб. Музея антропологии и этнографии», 1953, т. XV, стр. 291—316.



Рис. 5. Каратагское платье из гиссарской шелковой алачи абрового рисунка (КП 346—6)

кальную коллекцию *ильгичей* — декоративных вышивок малой формы узбеков-локайцев, описанную в свое время Б. Х. Кармышевой³.

Золотошвейными изделиями наше собрание не очень богато. Как известно, золотошвейное дело до Великой Октябрьской социалистической революции было развито лишь в Бухаре. Золотошвеи обслуживали главным образом эмира и его приближенных. На территории современного Таджикистана этого ремесла не знали. Оно стало развиваться здесь много лет спустя после революции только в Душанбе, и то очень медленно — не было мастеров, не было нужных материалов. И лишь в последние годы в Душанбе на фабрике строчевышитых изделий значительно расширился ассортимент предметов, вышитых золотом. В коллекции имеется их набор — это тюбетейки, женские жилеты, туфли, сумочки и др. Представлены в ней и несколько крупных старинных золотошвейных изделий, таких, как *болинпуш* — накидки на подушки парадной постели, а также молитвенные коврики, два халата, одно платье. Есть в ней и много мелких, часто высокохудожественных изделий: *пеши курта* — двойные полосы для украшения переда платья, тюбетейки, мешочки для денег, печати или часов.

В коллекции имеется множество художественно оформленных и простых кустарных тканей. Среди них примерно 40 образцов *хисоры* — гиссарской шелковой алачи абрового рисунка (как в материи, так и в одежде), производившейся в Гиссарском бекстве, главным образом в Каратаге. Эта ткань широко расходилась по Средней Азии и за ее пределами. Есть и около 30 образцов хлопчатобумажной ткани, иногда с примесью шелка, иногда полушелковой алачи, большей частью полосатой, реже клетчатой, тоже каратагского производства. Значительный интерес представляют образцы старинных хлопчатобумажных и шерстяных материй, ткавшихся в Дарвазе и на Памире, а также *шохи*, *банорас*, *бекасаб*, *адрас*, *подиой*, *алоча* — шелковых и полушелковых материй из Ходжента, Бухары, Самарканда, Карши, Китабе. Эти ткани представлены либо в одежде (халаты, паранджи), либо в виде больших сшитых полотнищ, чаще на подкладке, иногда на очень тонкой стежке (полотнища использовались как *чимилик* — занавеска, за которой во время свадебного пира сидят невеста и жених, как *дарпарда* — за-

³ См. «Собрания Республиканского историко-краеведческого музея Таджикской ССР», вып. 2, Душанбе, 1956.

навески на дверные проемы и пр., причем подкладки у них сделаны из старинных русских ситцев).

Имеются в коллекции и лоскутные текстильные изделия таджиков и других народностей республики, составлявшие обязательную принадлежность приданого невесты. Особенно разнообразны *курок* или *кырма* — лоскутные изделия таджиков Каратегина⁴.

В нашем собрании имеется несколько десятков образцов набойки из северных районов республики. Особенно красивы *сохт* — набивные скатерти или настенные панно, изготовленные в 1960 г. 80-летним масте-ром-набойщиком Ахмадом Джумаевым в Ура-Тюбе. Прежде набойка была широко распространена в городах Средней Азии. На территории Таджикской ССР в Ура-Тюбе сейчас работает всего один мастер набойки.

Значительное место в собрании Института занимает коллекция ювелирных изделий (свыше 600 экз.). Многие из них отделаны инкрустациями, кораллами, цветным стеклом, иногда с подложенной цветной фольгой, мелкой бирюзой или вместо нее голубым фарфоровым бисером, полудрагоценными камнями, жемчугом (чаще мелким), бадахшанскими лалами, перламутровыми, стеклянными и мастиковыми бусами, иногда раковинами каури, серебряными ажурными и глухими бусинами, пронизками из спаянной звездочками или квадратиками зерни, серебряными русскими монетами царского чекана или бухарскими таньга, изредка иранскими серебряными кранами и иногда даже серебряными монетами великих моголов и долларами США. В коралловых ожерельях в качестве пронизок встречаются металлические или мастиковые бусины, круглые или фигурные полые бляшки, украшенные напаянной или ложной зернью и штампованным орнаментом. Большая часть ювелирных изделий украшалась орнаментом — резным (чеканным), гравированным и штампованным, часто с чернью, цветной мастикой и эмалью, зернью, сканью.

Ювелирные украшения были преимущественно принадлежностью женского костюма. Мужские украшения — это лишь кольца, пояса, табакерки.

Все предметы этой коллекции по месту их бытования можно разделить на две основные группы: украшения из северных (равнинных) районов республики и украшения из южных (горных) районов. В Гиссарской долине, в центре Таджикистана, встречаются украшения как северной, так и южной групп. Далее в сообщении при характеристике ювелирных изделий мы иногда будем отмечать буквами (ю) и (с) украшения южных и северных районов.

Ассортимент бытовавших у таджиков ювелирных украшений как на севере, так и на юге республики был примерно один и тот же, но и по форме, материалу, работе, а часто и по названиям украшения северной и южной групп довольно четко отличались друг от друга. В «северных» украшениях редко встречается настоящая зернь. В них преобладает зернь ложная, сделанная штампом. Очень много вставок камней, голубого бисера, изредка бирюзы, применяются чернь, скань, эмаль, штампованный орнамент, подвески из перламутровых бусин. Южные украшения отличаются массивностью. В них очень умело и со вкусом применяются настоящая зернь, перламутровые бусы, пронизки из спаянных кружков шариков зерни: отсутствуют чернь и эмаль, сравнительно мало вставок, различных глазков, ясно виден металл — серебро.

В наших фондах встречается несколько типов ювелирных украшений. Среди них украшения головного убора, налобные, нависочные украшения, серьги, нашейные, нагрудные, наплечные украшения, браслеты, кольца, подвески к косам. Большинство перечисленных ювелирных изделий серебряные, иногда позолоченные, реже золотые.

⁴ См. «Таджики Каратегина и Дарваза», вып. II, Душанбе, 1970, стр. 203—224.



Рис. 6. Серьги: а — нати, б — балдок, в — чапари или мухаммади, г — гуза, д — кафаси, е — якандоз

В собрании имеются следующие типы украшений для головного убора: *сарсузан* — приколкы для прикрепления головного платка к тюбетейке или к нижнему небольшому платку, состоящие из припаянных одна к другой нескольких монет, часто с подвесками; *бибищак* (с) — в форме якорей с подвесками или *гульдаста* (ю) — в форме треугольных пластинок с подвесками, украшенных зернью и глазками. Те и другие при помощи небольших крючков зацепляются за волосы по бокам головы; *гули тодж* (с) — приколка в виде фигурной пластинки со вставками из цветных стекол.

Имеется несколько типов налобных украшений. *Силсила* (ю) представляет собой повязку из фигурных бляшек, соединенных подвижно в

несколько рядов, с подвесками по нижнему краю. *Касаба* или *баргак* (с) состоит из соединенных в один ряд шарнирами квадратных пластинок, украшенных вставками из кораллов, перламутра, голубого бисера, с подвесками в форме листиков по нижнему краю и тремя или пятью фигурными выступами по верхнему краю, украшенными вставками из цветного стекла. *Коши тилло* (с) — ажурная диадема с подвесками по нижнему краю.

Нависочные украшения — *каджак* (с) делались в форме миндалевидной пластинки с загнутым концом, богато инкрустировались глазками; по нижнему краю шел ряд мелких пластинок.

Богато представлены в коллекции *гушвор нати* или *халка* — серьги. В основе серег нати лежит проволочное незамкнутое кольцо с протянутой внутри него проволочкой, на которую надеты бусины. Такие серьги чаще носят в южных районах. В северных районах они тоже бытовали в старину, причем иногда одну такую небольшую серьгу продевали в правое крыло носа, и называлась она тогда *нати бини*.

Гушвори кафаси — вторая разновидность южных серег — состоит из купольчика с подвесками, украшенного зернью. Очень похожи на эти серьги *халкаи гуза*, бытующие только в северных районах. У них три или пять подвесок, которые начинаются купольчиками полусферической формы с чернью; иногда по краю они инкрустированы голубым бисером или мелкой бирюзой.

В коллекции ювелирных украшений имеется и другой тип серег. Они состоят из кольца, нижняя внутренняя часть которого украшена ажурной решеткой. К внешней стороне кольца снизу припаяно нечетное число петелек (три, пять, семь); к ним крепятся подвески. Особую группу составляют *балдок* — серьги, бытовавшие в северных районах. Они изготавливались в городах Ферганской долины и завозились из Кашгара. В их основе лежит незамкнутый круг из проволоки с ажурной решеточкой внутри и по краю. Такие серьги, как правило, украшались зернью. К этому же типу примыкают серьги в форме опрокинутого концами вверх полумесяца со вписанной в него звездой.

В собрании имеется еще несколько пар серег из северных районов. Это *халкаи якандоз* или *тошканди*, т. е. ташкентские серьги, состоящие из фигурных пластинок, соединенных по вертикали колечками, и богато украшенные цветными глазками из кусочков зеркала, бирюзы или голубого бисера, зернью, сканью и многочисленными подвесками из бусин.

Много и таких серег, которые настолько индивидуальны, что их нельзя отнести ни к одному из перечисленных типов. Таковы, например, *халкаи мурут* — серьги в форме стержня с крючком на верхнем конце и большой ажурной серебряной бусиной. Есть серьги, оканчивающиеся кубиком или продолговатым выступом, напоминающим голову змеи. Во всей коллекции нет двух пар серег, точно повторяющих одна другую.

Из нашейных украшений южных районов в коллекции имеются *хафабанд*, *гулубанд*, *холи гулу*, *шавгин*, *джавак* и *цемак* — узорные полосы из цветного бисера. По имеющимся сведениям, в северных районах в старину тоже носили хафабанд, но в нашем собрании их нет.

Нагрудные украшения в коллекции богато представлены ожерельями. Ожерелья северных районов можно разделить на два основных типа. Первый — это большие парадные ожерелья из семи пластинок, соединенных цепочками. Они богато украшены позолотой, сканью, цветными глазками, голубым бисером и большим количеством подвесок из бусин и мелких жемчужин. Ко второму типу относятся ожерелья, состоящие из шести полых прямоугольных коробочек, заполненных гипсом. Центральная коробочка всегда сердцевидной формы. Эти ожерелья украшаются выпуклым штампованным узором, который обычно делают на синем фоне, а также подвесками из штампованных фигурных пластинок по краям.

Имеются в большом количестве и *марджон* или *мухраи-гардан* — коралловые ожерелья с различными пронизками, встречающиеся и на севере, и на юге, и *мангити* — ожерелья, привозившиеся из Туркестана. Они состоят из трех или пяти ниток кораллов вперемежку с позолоченными подвесками в форме листиков и листовидных кулонов с подвесками из стеклянных грушевидных бусин красного и зеленого цвета в середине каждой нитки кораллов. Очень интересны имеющиеся в собрании *мургак* (птица), *пайконча* (стрелка) или *тавк* — ожерелья, характерные для северных районов. Они состоят из ряда литых или спаянных из двух штампованных половинок фигурок, нанизанных вперемежку с бусинами. Литые фигурки напоминают стилизованные изображения птичек, а спаянные — наконечник стрелы; отсюда и пошло, наверное, название украшения. По нижнему краю эти ожерелья отделаны рядом подвесок из металлических ромбовидных фигурок или фигурок в форме полумесяца с обращенными вверх концами, в которые вписана пятиконечная звезда. Есть в коллекции и *тангаджавак* (с) — ожерелья из нескольких рядов серебряных монет, соединенных колечками, иногда вперемежку с медальонами, украшенными сердоликом и бирюзой. Представлены в ней и широко бытующие на юге *танга* или *хамели танга* — ожерелья из одного или двух рядов бухарских серебряных монет танга, нанизанных за припаянные к ним ушки вперемежку с коралловыми или темно-красными стеклянными бусинами с пронизками из спаянной квадратиками зерни. В центре такого ожерелья — медальон (большая монета или крупная бусина). Имеются в наших фондах *гарди хазина* — ожерелья из мелкого цветного бисера, нанизанного во много рядов, соединенных между собой так, что образуется сетка⁵. Среди экспонатов есть также *зира* — модные сейчас в южных и центральных районах республики серебряные ожерелья, состоящие из цепочки, иногда двухрядной, с подвесками из коротеньких цепочек, с тонкими пластинками в форме кружка, падающей капли или ланцетовидного листочка. Представлены в коллекции и *каламфурмарджон* — ожерелья из мелких кораллов в форме коротеньких палочек толщиною в спичку, нанизанных поперек, ожерелья из круглых и фигурных серебряных бусин и пр.

Имеющиеся в коллекции ювелирных изделий *кульфи гиребон* и *чима* (броши) приобретены в юго-восточных и южных горных районах республики и на Памире. В большинстве случаев они представляют собой кованные серебряные или литые бронзовые фибулы различной величины. *Садаф* — броши в виде круглых перламутровых пластинок с фестончатыми краями и несложным орнаментом на лицевой стороне характерны для Дарваза. Есть и броши из монет, приобретенные в северных районах.

Наплечные украшения — *саркитифи*, *китифак* или *бозубанд* довольно богато представлены в нашем собрании. Это круглые или овальные в поперечном сечении трубочки с крышечками на концах, которые подвешивались на цепочках по обеим сторонам груди, ближе к плечам. В трубочки вкладывались охранные молитвы, поэтому такие украшения играли роль оберегов. Трубочки эти отделаны чернью, зернью, гравировкой, иногда позолотой и подвесками из кораллов, различных бусин или монет. У некоторых крышечки имеют форму купольчиков. Некоторые трубочки сделаны из тонкой позолоченной фольги с выдавленным орнаментом и заполнены гипсом.

Характер оберега имели и довольно многочисленные в собрании *туморы* — амулеты в форме треугольных или прямоугольных плоских корбочек на длинных или коротких цепочках, тоже служившие футлярами для охранных молитв. Их иногда носили на груди.

Среди ювелирных украшений выделяются *джамолак*, *кокули джамолак*, *чура* — подвески к косам. В южных районах они представляют со-

⁵ По сообщению А. К. Писарчик, такие ожерелья из бисера бытовали и у таджиков Нур-Ата и назывались *шаб* (а) и *гарди хазина*.

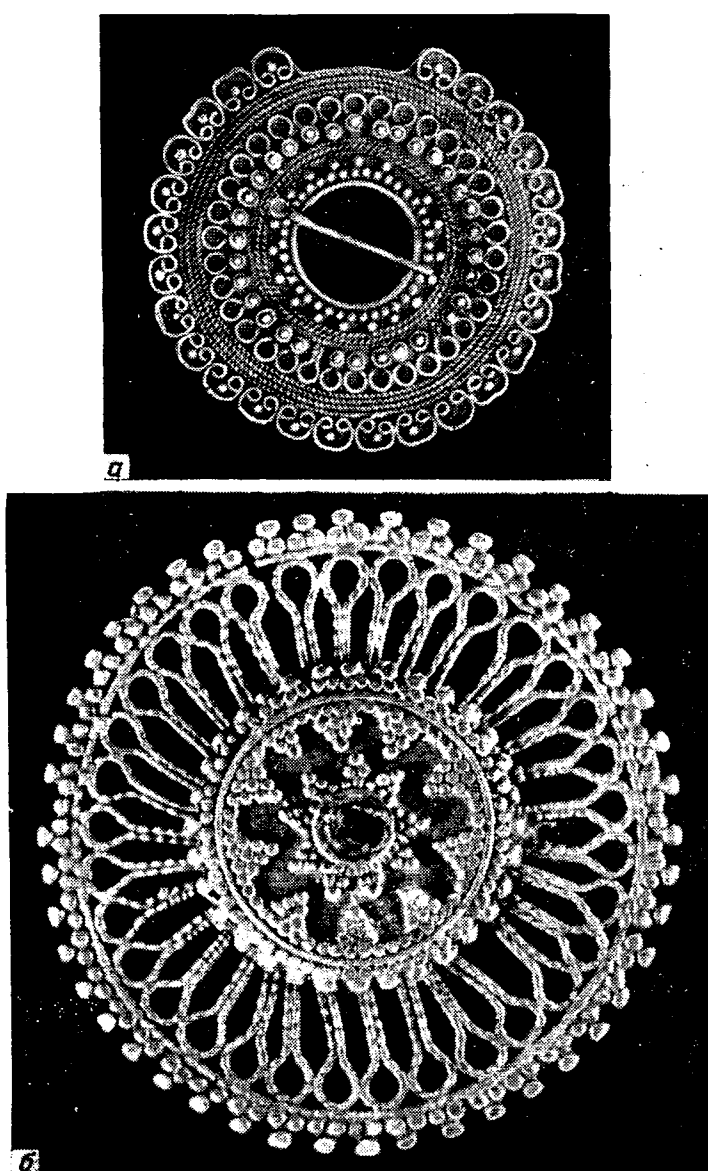


Рис. 7. Броши: а — *чима*, Памир (КП 663—3); б — *кульфи гиребон*, Куляб (КП 9—22)

бой длинные шнуры, оканчивающиеся кистями из цветного шелка, шерстяной пряжи или разноцветного бисера. *Чочпопук*, *пунак* — подвески из северных районов — также состоят из пришитых к горизонтальной полосе черных шелковых шнурков с черными кистями на концах, украшенных фигурными серебряными бусинами и куполообразными колпачками с подвесками. *Туф* — бухарские подвески — отличаются от них тем, что шнуры оканчиваются обмотанными золоченой канителью шариками, скрепленными между собой. Необходимо упомянуть и *заркокул* — подвески к косам из двух рядов серебряных монет царского чекана, широко бытовавшие в начале века в северных районах, особенно в Ура-Тюбе.

Кроме перечисленных в коллекциях имеются и другие ювелирные украшения, описание которых заняло бы слишком много места. Это флакончики для сурьмы, футлярчики с зубочистками, пинцетами, ложечками для чистки ушей, специальные серебряные палочки на кольцо, ко-

торые дают грызть детям, когда у них режутся зубы, стержни, предназначенные для того, чтобы делать пробор в волосах, пуговицы, наборные мужские пояса, пряжки к поясам, четки, печати, *ситора* — полосы черной тесьмы с нашитыми в несколько рядов серебряными бляшками, которые служат для украшения передней части платьев, и пр.

Дагпона (дагпону, дагмона) — браслеты — представлены в собрании тоже довольно полно. По форме их можно разделить на плоские незамкнутые (браслет из круглого в сечении куска металла) и плоские замкнутые, запирающиеся при помощи занозки, продаваемой в отверстие, оставленные на концах браслета, и откидной крышечки-дверки.

В коллекции имеются плоские браслеты из одной сплошной полосы металла и ажурные; плоские браслеты из двух наложенных одна на другую полос, причем нижняя полоса, прилегающая к запястью руки, гладкая, а верхняя орнаментированная. Плоские браслеты из одной полосы металла покрыты гравировкой, чернью, на некоторых сделаны прорезы или штампом выдавлены шишечки. Ажурные браслеты украшены сканью, зернью и вставками из мелкой бирюзы или голубого бисера, некоторые позолочены. Плоские двойные браслеты украшены штампованным орнаментом, чернью, гравировкой, а также инкрустацией из мелкой бирюзы, голубого бисера, некоторые позолочены и имеют вставки-глазки.

Чалла или ангуштарин — кольца — в некоторых районах считались непременной принадлежностью женского наряда. В нашей коллекции имеются мужские и женские кольца. В первые вставлялись довольно крупные глазки из сердолика, из прозрачного красного камня и других камней или резные, часто сердоликовые, печати с именем владельца или же с орнаментом. У женских колец глазки сделаны из цветных стекол, серебряных бухарских монет — танга, кораллов, перламутра, причем в кольцах из южных районов эти глазки вставлены в припаянные к ободу кольца довольно высокие (до 1 см) конусообразные трубочки (от одной до четырех). Некоторые кольца украшены чернью. Имеются и роговые кольца с Памира.

Коллекция домашней утвари представлена большим количеством медных и деревянных изделий различного назначения. Среди медной утвари, характерной больше для городов, много экспонатов, украшенных чеканкой. К сожалению, медная посуда плохо паспортизована. В числе деревянной утвари и предметов быта, собранных в горных районах республики, имеются разные сундучки-укладки, игрушки, поставцы для своеобразных светильников-лучин, маслобойки, ложки, мерки для зерна, сапожные колодки, пеналы, грести, резные двери, филенки и пр. Нужно особо упомянуть колыбы — резные доски-штампы для изготовления набивных тканей.

В собрании представлены ткацкие станки из Дарваза, с Памира и из Каратага. Довольно много в нем мелких сельскохозяйственных орудий — серпов, копалок и др. — крупных же мало, так как условия хранения не позволяли приобретать громоздкие предметы.

Поскольку Институт не располагает помещением для показа всего этнографического собрания в целом, силами сотрудников сектора этнографии создана стационарная выставка — показ фондов отдельным специалистам, учащимся, а также коллективам работников учреждений и предприятий. Собрание послужило исходным материалом для составления альбомов, каталогов и проспектов⁶.

⁶ З. А. Широковой был составлен и опубликован 1-й выпуск каталога «Этнографические коллекции Института истории, археологии и этнографии АН Таджикской ССР», Душанбе, 1956. Кроме упомянутого выше «Альбома одежды таджиков» А. К. Писарчик подготовила с участием художниц Ю. П. Гремячинской и Х. А. Жаба цветной альбом «Народное прикладное искусство». Н. Н. Ершов с помощью художницы Х. А. Жаба подготовил небольшой альбом орнамента припамирских таджиков для вышивки крестом (еще не опубликован). Предметы нашего собрания представлены и в цветном альбоме таджикских сувениров, подготовленном в Москве.

Коллекции широко используются научными сотрудниками Института для иллюстрирования работ по этнографии и прикладному искусству таджиков.

Институт истории им. А. Дониша принимал и принимает участие в выставках прикладного искусства таджиков как у нас в стране, так и за рубежом. Наиболее крупные из них — в Москве в 1957, 1960, 1963, 1967 (дважды) и 1968 (дважды) гг.; в Ленинграде в 1957, 1964 и 1969 гг.; в Риге в 1957 г.; в Новосибирске в 1969 г. Институт также посылал свои экспонаты на выставки в КНР (1959 г.), Пакистан (1967 г.), Народную Республику Кубу (1967 г.), в Канаду на ЭКСПО в Монреале (1967 г.), НРР (1967 г.), Бельгию (1969 г.), Индию (1972 г.), ГДР (1974 г.).

В заключение приведем отрывки из отзывов некоторых посетителей нашего собрания коллекций.

Директор Государственного Эрмитажа Б. Б. Пиотровский (2.X.1968 г.): «Великолепное собрание. Собрано все с большим знанием и любовью... Эта коллекция отражает народное творчество, большое культурное наследие»; акад. А. Садовский (25.V.1974 г.): «Это не музей, а утешение для души. Редко получал такое необычное удовольствие и радость. Как приятно окунуться в океан народного творчества и лишний раз убедиться в его безбрежности»; акад. И. П. Алимарин (28.V.1974 г.): «Я восхищен богатой коллекцией старины и национального искусства таджикского народа»; акад. П. Л. Капица (29.VI.1974 г.): «Собранная Институтом истории АН ТаджССР уникальная коллекция произведений народного искусства свидетельствует о необыкновенной художественной одаренности таджикского народа. Музей, который, как мы убедились, будет вскоре создан на базе этой коллекции, станет одним из интереснейших музеев страны и привлечет в Душанбе тысячи любителей искусства».

Мы тоже надеемся на это.

Э. Киру

ОТРАЖЕНИЕ МАТРИЛИНЕЙНОГО СЧЕТА РОДСТВА В ИЖОРСКИХ ПРИЧИТАНИЯХ

Причитания, справедливо считающиеся одним из наиболее древних жанров народной лирики, до недавнего времени оставались самым малоизученным жанром в фольклоре прибалтийско-финских народов. Возникший сравнительно недавно интерес исследователей к этому жанру у карелов, ижоров и сету связан, по-видимому, с тем, что причитания, особенно похоронные, неожиданно обнаружили удивительную жизнеспособность: они не только сохранились до наших дней, но и продолжают в какой-то степени выполнять свою функцию в похоронном обряде. Кроме того, пройдя чрезвычайно долгий путь исторического развития, плачи у карел и ижоров сохранили очень древние элементы как в содержании и лексике, так и в выразительных средствах. Их с трудом удается «расшифровать» с помощью изучения обрядов, верований, семейно-родовых отношений и других сторон архаического быта.

Из новейших исследований традиции причеты у прибалтийско-финских народов следует назвать обобщающую работу финского ученого Лаури Хонко «Поэзия причитаний», опубликованную в 1963 г. в первой книге истории литературы Финляндии¹ и в 1974 г., изданной в дополненном виде на английском языке². В этом исследовании, построенном главным образом на карельском материале, рассматривается поэтика причитаний, их генезис, историческое развитие и бытование, а также другие вопросы, касающиеся изучения плачей прибалтийско-финских народов.

В Институте языка, литературы и истории Карельского филиала АН СССР У. С. Конкка завершила монографию о карельских причитаниях. Большое внимание исследовательница уделила изучению бытовой основы и функциональной роли причеты, что позволило ей, с одной стороны, выяснить природу многих художественно-выразительных средств карельских плачей, с другой — лучше понять некоторые моменты обрядов (в состав которых входят плачи), верований, древних форм художественного мышления и т. д.

Плодотворную работу по собиранию и публикации карельских причитаний проводит под руководством У. С. Конкка А. С. Степанова. Его подготовлен к печати сборник причитаний с переводами текстов на русский язык.

Изучением ижорских причитаний занимались только финские фольклористы. В конце XIX в. финский собиратель и исследователь Волмари Поркка опубликовал обстоятельную статью, в которой рассматривает содержание и поэтику причитаний³, в 1965 г. появилась статья Р. Ниэ-

¹ Lauri Honko, *Itkuvirsirunous*, в кн. «Suomen kirjallisuus I. Kirjoittamaton kirjallisuus», Keuruu, 1963.

² Lauri Honko, *Balto-Finnic Lament Poetry*, «Studia Fennica 17», Helsinki, 1974, p. 9—61.

³ V. Porkka, *Inkerin itkuvirsista*, Valvoja, 1883, № 7, s. 199—208; № 8, s. 261—271.

минен о метафорических заменах в свадебных плачах⁴. В наши дни исследованием ижорских плачей занялась А. Нэнла-Каллио, опубликовавшая работы о типологии метафорических замен и локальных особенностях ижорских причитаний⁵.

До последнего времени ижорские причитания почти не публиковались, если не считать двух-трех образцов, включенных в упомянутое исследование В. Поркка⁶ и в статью А. Нэовиуса⁷. В 1974 г. автор настоящей статьи опубликовал в одном из ленинградских сборников⁸ 27 ижорских причитаний, записанных в последние десятилетия. Кроме того, несколько десятков плачей, записанных им в последние годы в деревнях Сойкинского сельсовета Ленинградской области, будут включены в сборник ижорских причитаний, подготавливаемый в Финляндии под редакцией проф. Л. Хонко.

К сожалению, автору статьи не удалось ознакомиться со всем этим материалом, и его наблюдения основаны на собственном материале и частично на тех данных, которые можно было извлечь из работ финских фольклористов, сопровождавших свои статьи большим количеством примеров.

Ижорская традиция причети имеет общие с карельской генетические корни, что проявляется в сходстве поэтики и традиционной схемы содержания похоронных причитаний, в сохранении в них реликтов магических и заклинательных элементов, свидетельствующих о былой ритуально-магической функции плачей. Генетическая общность карельской и ижорской традиции принимается исследователями как аксиома уже в силу самой общности происхождения этих народов. Однако следует помнить, что ижорские причитания не одно столетие развивались изолированно от карельских и поэтому представляют собой оригинальное и самобытное явление. Наша задача состоит в том, чтобы дать краткое описание особенностей поэтической формы ижорской причети и попытаться глубже рассмотреть некоторые моменты специфической системы метафорических замен терминов родства⁹. В этих заменах, как нам кажется, отразились определенные родственные и социальные отношения на ранних ступенях исторического развития ижоров.

По форме ижорские причитания представляют собой стихи, насыщенные аллитерацией и смысловым параллелизмом, что характерно для всего архаического слоя традиционной карело-финской народной поэзии.

К сожалению, закономерности стиха как карельских, так и ижорских причитаний совершенно не изучены. Можно только отметить, что стихотворный размер ижорской причети резко отличается от «калевальского» стиха. Причень не имеет постоянного числа слогов и стихотворных стоп. Весьма своеобразная ритмика стиха поддерживается аллитерацией и неравномерно распределяющимися ударными слогами и паузами между периодами. Каждая строка заканчивается метафорической заменой в форме либо обращения, либо обособленного определения, чем достигается четкое, в отличие от карельской причети, деление

⁴ Raija Nieminen, Miun kohjaikkaiset korvoimarjukkaisein. Morsiamen käyttämät sisarusten, kummien, sukulaisten ja kyläläisten hellittelymetofoorat Inkerin häätökuissa, «Kalevalaseuran vuosikirja», № 45, Helsinki, 1965, s. 309—343.

⁵ Aili Nenola-Kallio, Itkuvirsihen henkilönimitysten typologiaa, «Sananjalka 14», Turku, 1972, s. 177—190; ee же, Inkerin itkuvirsiälujako, «Sananjalka 15», Turku, 1973, s. 93—130; ee же, Lucky Shoes or Weeping Shoes: Structural Analysis of Ingrian Shoeing Laments, «Studia Fennica 17», Helsinki, 1974, p. 62—91.

⁶ V. Porikka, Указ. паб., стр. 267—271.

⁷ Ad. Neovius, Suomalaisista itkuvirsisistä. Itärajalta, «Käkisalmen 600-juhlan muisto», Käkisalmi, 1894, s. 142—146.

⁸ «Народные песни Ингерманландии», Л., 1974, № 133—159.

⁹ Термин «метафорическая замена» введен в фольклористику К. В. Чистовым. См. К. В. Чистов, Русская причеть, в кн. «Причитания», Л., 1960, стр. 12, 429.

стихов и образование строк. Однако метафорические замены в ижорских причитаниях выполняют не только формообразующую функцию. Они завершают строфу и воздействуют на характер аллитерации и ритмики стиха, а также несут на себе существенную эмоциональную нагрузку, являясь одним из основных выразительных средств плача.

Метафорические замены в ижорских причитаниях служат условным обозначением упоминаемых в плаче лиц. В ижорской причети, как и в карельской¹⁰, действует закон избегания терминов родства, собственных имен, обычных в бытовой речи слов, обозначающих различных лиц ближайшего окружения (друга, подругу, жениха, невесту, т. д.). В плачах не принято также называть обычными словами некоторые предметы и явления (например, смерть). Такая система иноказаний возникла вследствие табу на ряд слов, как это убедительно доказано К. В. Чистовым на русском¹¹ и У. С. Конкка на карельском материале¹². В ижорских и карельских причитаниях мы не найдем слов «мать», «ребенок», «дочь», «сын», «муж». Для этих терминов родства существует целая система условных обозначений. Даже себя плакальщица не называет иначе как «страдающей», «горемычной», «грустящей», «беззащитной», «несчастной» и т. п. Правда, в отличие от карельских, в ижорских причитаниях вполне допустимо использование личных местоимений в сочетании с метафорическими заменами.

Употребление в плачах метафорических замен или условных обозначений вместо обычных слов считается архаичной чертой поэтики причети и само по себе не есть исключительно карельско-ижорское явление. Однако последовательность, с какой этот закон избегания терминов родства соблюдается и в карельских, и в ижорских причитаниях, всегда обращала на себя внимание исследователей. Общими для карельских и ижорских причитаний являются и некоторые основные принципы образования замен терминов «мать» и «ребенок». Вместе с тем, в целом, система замен терминов родства в ижорских причитаниях отличается некоторыми особенностями, изучение которых имеет принципиальное значение.

В зависимости от способа образования эти замены можно разбить на несколько групп.

1. Замены термина «мать» — отглагольные существительные, образованные в основном от глаголов, обозначающих рождение ребенка, уход за ним, воспитание, материнскую ласку: «synnyttelijäiseni, kanta-jäiseni, helmointoojaiseni, imettelijäiseni, hyvittelijäiseni» («та, которая родила, носила, принесла в подоле, кормила грудью, ласкала»). Таких замен насчитывается несколько десятков.

2. Замены термина «ребенок» (сын, дочь) образуются от основы третьего инфинитива тех же глаголов, что и замены термина «мать». Отличие состоит лишь в том, что замены термина «ребенок» несут в себе значение объекта действия: «synnyttämäiseni, kantamaiseni, helmointoomainseni, imeteltyiseni, hyvitettyiseni» (та (тот), кто рожден, ношен, принесен в подоле, кормлен или вскормлен грудью, кого укачивали, ласкали); замены термина «ребенок» являются символами красоты, нежности, ласки (цветок, птичка, листок, веточка, земляничка и т. д.), метонимиями или метафорами (кудрявая головушка, красивая рученька, шелковые волосы).

¹⁰ См. А. С. Степанова, О метафорических заменах терминов родства в северокарельских причитаниях, «Вопросы финно-угроведения», вып. V, Йошкар-Ола, 1970, стр. 249—252.

¹¹ К. В. Чистов, Указ. раб., стр. 12, 13.

¹² У. С. Конкка, Табу слов как стилистическая основа карельских причитаний. Это сообщение было сделано на Всесоюзной научной конференции «Проблемы теории фольклора», состоявшейся в ноябре 1972 г. в Тбилиси.

Группа замен термина «ребенок» наиболее обширная и детально разработанная¹³. Эти замены представляются первичными по отношению к заменам термина «мать», как «первичны» и материнские чувства в сравнении с ответными дочерними и сыновними.

3. Замены термина «брат», «сестра» образуются из сложения двух замен — «матери» и «ребенка». Брат и сестра — это «дети моей матери», что выражается заменой типа «выношенный(ая) моей, меня выносившей (матерью)», «принесенный моей, меня принесшей (матерью)» и т. п.

4. Поскольку отец — это «сын моей бабушки», то здесь к обычной замене термина «ребенок» добавляется определение «ämmöin» («бабушка»): «äimöin synnytelyiseen», «ämmöin imeteltyiseen», «ämmöin kantamaiseen» («рожденный бабушкой», «грудью вскормленный бабушкой», «выношенный бабушкой»). «Мои дядя и тети также дети моей бабушки», следовательно, и их можно обозначать этими же заменами. В ижорском языке слово «ämmöi (ämmä)» означает «бабушка», «свекровь» и «теща». Таким образом, эти же замены могут обозначать и мужа, поскольку он «сын свекрови» («ämmöin akkimaiseen» — «свекровью взлелеянный»).

Итак, основной принцип создания метафорических замен в ижорских причитаниях — каждый упоминаемый в плаче человек определяется как чей-то ребенок. Наиболее отчетливо это проявляется в тех случаях, когда приглашенная плача причитывает не от своего имени или когда оплакивает смерть постороннего человека. В этих случаях она называет его: «naisen synnytelyiseen», «naisen hellitelyiseen», «naisen vaarukkakukaiseen» — («рожденный женщиной», «обласканный женщиной», «малиновый цветок женщины») и т. п.

Друзья и подруги в свадебных плачах определяются как сверстники — это «arttelikaiseent», «kallihet kasvinkertaiseent», («соартельщики» и «дорогие сверстники»).

Для обозначения самой себя плача имеет целый арсенал слов, выражающих грусть, тоску, печаль, огорчение и т. д. Обычно эти метафоры служат обособленными определениями к личному местоимению «я» («я, несчастная», «я, хрупкая, грустящая», «меня, беззащитную»). Эти же слова служат эпитетами к остальным метафорическим заменам. Так, полная замена, например, термина «мать» может выглядеть как «моя хрупкая, грустящая, меня родившая», а постороннего лица — как «слабая, озабоченная, женщиной взлелеянная» («kaitoi leinäkäs synnyttelijäiseni, heikon hoolakas naisen hooliteltuun»).

Как мы уже говорили, характерная особенность замен терминов родства как в ижорских, так и в карельских причитаниях — тщательное избегание прямого упоминания слов «мать», «дочь», «сын», «ребенок». Между тем замены именно этих терминов, созданные по принципу определения функциональной роли матери как родительницы и воспитательницы ребенка, а ребенка — как объекта этих действий, лежат в основе создания всей системы метафорических замен в ижорских плачах.

Переводя метафорический язык замен на обычный, мы можем сказать, например, что «сын бабушки» — это отец, «сын свекрови» или «сын старшей (женщины в семье)» — муж, «сын» — брат, а «дочь моей матери» — сестра, «сын или дочь посторонней женщины» — любой другой человек. Такая система отсчета родства, имеющая в ижорских плачах универсальное значение, позволяет предположить, что замена терминов «ребенок» (сын, дочь) и «мать» возникла, как показала У. С. Конкка¹⁴, на основе табу этих слов. Характерно, что в заменах отражается кровное родство только по прямой восходящей линии, а это, несомненно, говорит о весьма архаичном счете родства.

¹³ См. Unelma Konkka, Karjalaisen itkuvirsirunouden tutkimuksen ongelmia, «Virittäjä», 1958, № 2, s. 178.

¹⁴ У. С. Конкка, Табу слов как стилистическая основа карельских причитаний,

Семейные отношения между мужем и женой выражаются весьма слабо и своеобразно. Муж не «кормилец», не «надежная семеюшка», не «надежная головушка», как в русских плачах, а только ребенок «старшей», «свекрови» или «бабушки», как и другие мужчины рода.

Примечательно и то, что в замене термина «отец» родственная связь совсем не выступает. В отличие от термина «мать» здесь мы не найдем и отражения роли отца как воспитателя детей или главы семьи. Часто отец, как и любой мужчина данного рода, просто «сын бабушки» (*ätmöin kasvateltuiseen*) — «выращенный бабушкой») или «сын женщины» (*naisen imeteltuiseen*) — «женщиной вскормленный»). Он может получить также определение по характерной мужской одежде («суконная свитка»), рабочему инструменту (*kultoikeyhehyiseni*) — «золотой топорик»). Таким образом, замены термина «отец» принципиально отличаются от замены термина «мать». Зато совершенно аналогичны не только принципы образования замен терминов «отец», «муж» и любой мужчина вообще, но и сами эти замены. Муж, как и отец, — это всегда ребенок «бабушки», «старшей», как и любой мужчина данного рода, или ребенок «женщины», как любой посторонний человек.

Весьма примечательно одно исключение: в некоторых случаях термин «отец» не только не избегается, но даже входит в состав замены. Такова, например, широко распространенная замена *isoi linnaiseni* («отец-крепость», т. е. защитник). Ее компонентом является слово «отец» (*isoi*), на которое закон табу почему-то не распространяется. В чем же здесь дело?

Финский языковед Р. Э. Нирви, изучавший этимологию и историю развития терминов родства в финно-угорских языках, указывает, что слова *iso*, *iza* и другие производные от данного корня в различных языках означают то («моего» старшего брата или младшего брата отца» (в марийском языке), то «старшего брата отца» (в мордовском). Данное слово по происхождению не термин родства, а уважительное обращение к старшему мужчине рода или вообще к любому старшему мужчине¹⁵. Это чрезвычайно значительный для нас факт. Во-первых, именно в нем, быть может, кроется объяснение причины отсутствия табу на слово *isoi* в ижорских причитаниях. Во-вторых (и это самое главное), наблюдение Р. Э. Нирви удивительно сходно с обнаруженным нами явлением: в ижорских причитаниях одна и та же замена может означать отца, мужа и любого старшего мужчину. Следовательно, мы имеем дело не с исключительным, характерным только для образной системы причитаний явлением, а с общей закономерностью исторического развития языка, отразившего реально существующие социальные отношения в родовом коллективе на определенной стадии развития общества. Отражение этих же отношений, видимо, обнаруживается и в заменах терминов родства в причитаниях. Однако при этом надо помнить, что мы имеем дело здесь не с обычным языковым материалом, а с художественным воспроизведением социальной действительности. Кроме того, описанное явление, несмотря на свой исключительно консервативный характер, на протяжении столетий существования и развития причитаний не могло не подвергнуться изменениям и наслоениям различных стадий эволюции жанра причети.

Вернемся теперь к этимологии слова *iso (iza, isä)*. Р. Э. Нирви полагает, что значение «отец» это слово получило только в период формирования прибалтийско-финских языков. По его мнению, первоначально оно употреблялось (вследствие закона табу на термины родства) при замене какого-то ныне забытого термина, обозначавшего слово «отец», и лишь постепенно получило то значение, которое имеет в наши

¹⁵ R. E. Nirvi, *Synonyymitukimuksia sukulaisnimistön alalta*, Helsinki, 1952, s. 122—124.

дни¹⁶. Другой финский ученый, фольклорист и этнограф У. Харва, выдвигает гипотезу, согласно которой слово «isa», как и некоторые другие слова, превратившиеся в современных финно-угорских языках в термины родства, на ранних ступенях социально-исторического развития было просто обращением, обозначавшим лиц определенного поло-возрастного класса. В отличие от Р. Э. Нирви, связывающего развитие и появление новых терминов родства с законом табу слов, У. Харва не без основания видел здесь связь с ранними формами семейно-брачных отношений¹⁷.

Нам представляется, что при толковании возникновения и развития терминов родства У. Харва стоит на более реалистической основе, чем Р. Э. Нирви, поскольку на определенной стадии социально-исторического развития счет родства мог идти только по материнской линии и все те родственные отношения, которые характерны для современной многоамной семьи, не фиксировались. Одинаковое же название отца и любого мужчины объясняется не законом табу, а отсутствием понятия «отец». Это значение слово «isä» могло получить в прибалтийско-финских языках только тогда, когда появился индивидуальный брак и парная семья и стало возможным отличить отца от «любого мужчины».

Если данное предположение верно, то мы должны допустить, что слово «isoi» вошло в состав замены, обозначавшей просто мужчину («воина-заступника?»), еще до того, как приобрело значение понятия «отец». Поэтому на него не распространялось табу. Не подвергалось оно табуированию и впоследствии — то ли в силу того, что замены с компонентом «isoi» стали традиционными и устоявшимися, то ли потому, что в этом термине, по укоренившимся представлениям, не усматривалась опасность «раскрытия» кровнородственных связей. Интересно отметить также, что слово «ämmöi» («бабушка», «свекровь», «теща»), входящее в состав замен, тоже не табуируется. Напомним, что замены, в которых это слово является определением принадлежности (в сущности кровнородственной связи) упоминаемого в плаче лица, могут означать отца, мужа, дядю, тетю.

Возникает вопрос: почему термин ämmöi («бабушка») не табуирован? Ведь это не только кровная родственница плачей, но прежде всего мать упоминаемого в плаче лица — отца, дяди, тети, а общая закономерность избегания терминов родства связана как бы с попыткой зашифровать именно такую кровнородственную связь.

Недоумение рассеется, если мы обратимся к этимологии слова «ämmöi», приведенной в упомянутом исследовании Р. Э. Нирви. Оказывается, первоначально оно означало «большая» и, вероятно, употреблялось в некоторых финно-угорских языках как ласкательное обращение к старшей женщине¹⁸. Следовательно, замена типа «ämmöin imeteltyiseen» («грудью вскормленный бабушкой», букв. «бабушке принадлежащий») означала не степень родства между «ämmöi» («старшей») и упомянутым лицом, а иные, социальные отношения родового коллектива, где предводительницей («большой»), вероятно, была женщина, старшая в роду. Отражение аналогичных отношений внутри еще недавно существовавшей патриархальной семьи можно найти в тех заменах, где вместо «ämmöi» используется слово «vanhempi» («старшая»).

Дальнейшее изучение отражения семейно-родственных отношений в метафорических заменах терминов родства могло бы послужить основой при выяснении многих проблем, таких, как стадийность происхождения жанра причитаний, установление относительного возраста

¹⁶ R. E. Nirvi, Указ. раб., стр. 105.

¹⁷ Uno Harva, Suomensukuisten kansain sukulaisnimistön rakenne, «Virittäjä». 1938, № 3, s. 297—310.

¹⁸ R. E. Nirvi, Указ. раб., стр. 146.

различных видов причети (похоронная, свадебная, рекрутская и бытовая) и др.

Следует признать, что наши выводы нуждаются в дальнейшей проверке с помощью данных по истории семьи и брачных отношений у финно-угорских народов. Если бы описанная система метафорических замен терминов родства была свойственна одной национальной или этнической традиции, то ее можно было бы объяснить, исходя из специфических для жанра причитаний закономерностей художественного и эмоционального воздействия. Известно, что одна из главных задач причети состоит в том, чтобы в соответствии с требованием обряда заставить людей открыто выразить горе и скорбь. Поэтому причеть всегда апеллирует к наиболее легко возбудимым чувствам человека. Являясь сугубо «женским жанром», причитание не случайно делает ставку прежде всего на материнскую любовь. Отсюда такое обилие замен, отражающих ранний возраст ребенка, взаимоотношения матери и ребенка, и совсем нет обращения к отцовским чувствам. Казалось бы, именно эту особенность причети можно принять за причину зарождения и развития специфической образной системы карельско-ижорской традиции. Однако чрезвычайная архаичность избегания обычных терминов родства, возникшего на основе закона табу в похоронных причетах¹⁹, заставляет думать, что закономерность эмоционально-эстетического воздействия и особенности бытования причети как «женского жанра» создали условия для сохранения на протяжении столетий своеобразных социальных отношений родового коллектива, возникших в глубокой древности на стадии зарождения самого жанра причети.

¹⁹ У. С. Конкка, Табу слов как стилистическая основа карельских причитаний.

Э. В. Шавкунов

АНТРОПОМОРФНЫЕ ПОДВЕСНЫЕ ФИГУРКИ ИЗ БРОНЗЫ И КУЛЬТ ПРЕДКОВ У ЧЖУРЧЖЭНЕЙ

В настоящее время на территории Приморья и Приамурья собран богатый и разнообразный материал, изучение которого позволяет сделать ряд весьма интересных, а порой и неожиданных выводов о характере и путях исторического развития населения юга советского Дальнего Востока, о большом своеобразии и особенностях формирования и развития его материальной и духовной культуры. Вместе с тем этот материал убедительно свидетельствует о том, что имевшие здесь место исторические процессы при всем их своеобразии протекали не изолированно, а в тесном взаимодействии с поступательным ходом социально-экономического, политического и этно-культурного развития населения Евразии.

К числу вопросов, требующих для своего разрешения привлечения обширного сравнительного этнографического материала, относится, в частности, вопрос о назначении одного из видов отлитых из бронзы подвесных антропоморфных мужских фигурок, сравнительно часто встречающихся на территории чжурчжэньских городищ и поселений XII — начала XIII в.

Известно 29 различных подвесных антропоморфных фигурок, 9 из них были обнаружены в Приморье и Приамурье. Это прежде всего две фигурки, обнаруженные на хозяйственном дворе жилища № 7 Шайгинского городища (рис. 1, 1). Они имеют вид уплощенных стерженьков длиной 81 и 72 мм со слабо выраженной головкой. Под ней — небольшое овальной формы сквозное отверстие для подвешивания фигурки на шнурке. У большей по размерам фигурки на головке обозначены рот в виде дужки, а также двумя поперечными прямыми линиями, прочерченными каким-то острым предметом — нос и глаза. Руки у нее показаны едва заметными овальными выступами, а ноги — одной продольной и двумя поперечными линиями. Вторая фигурка еще более схематична: у нее не выделены детали лица, нет рук, а ноги обозначены лишь одной небольшой продольной линией. Обе фигурки были обнаружены в комплексе с двумя бронзовыми фигурками всадников (один из них на коне, а другой, вероятно, на драконе) и несколькими железными конусовидными подвесками от шаманского пояса. Последнее обстоятельство дает основание полагать, что все эти изображения представляют собой культовые атрибуты шаманского наряда.

Третья фигурка также обнаружена на Шайгинском городище в жилище № 42. Она напоминает восьмеркообразную трехлапчатую бронзовую подвеску длиной 23 мм (рис. 1, 2). На ногах у этой фигурки нанесены две небольшие нарезки, которые, по-видимому, должны были обозначать ступни и колени.

Четвертая фигурка (рис. 1, 3) обнаружена в жилище № 24 Шайгинского городища: длина ее 56 мм. В отличие от рассмотренных антропоморфных фигурок она выполнена в довольно реалистической манере. Лицо у нее широконосое, скуластое, с ярко выраженными монголоидными чертами. На голове отчетливо видны пышные, с двумя буклями по бокам волосы, заканчивающиеся на макушке петелькой для подвешива-

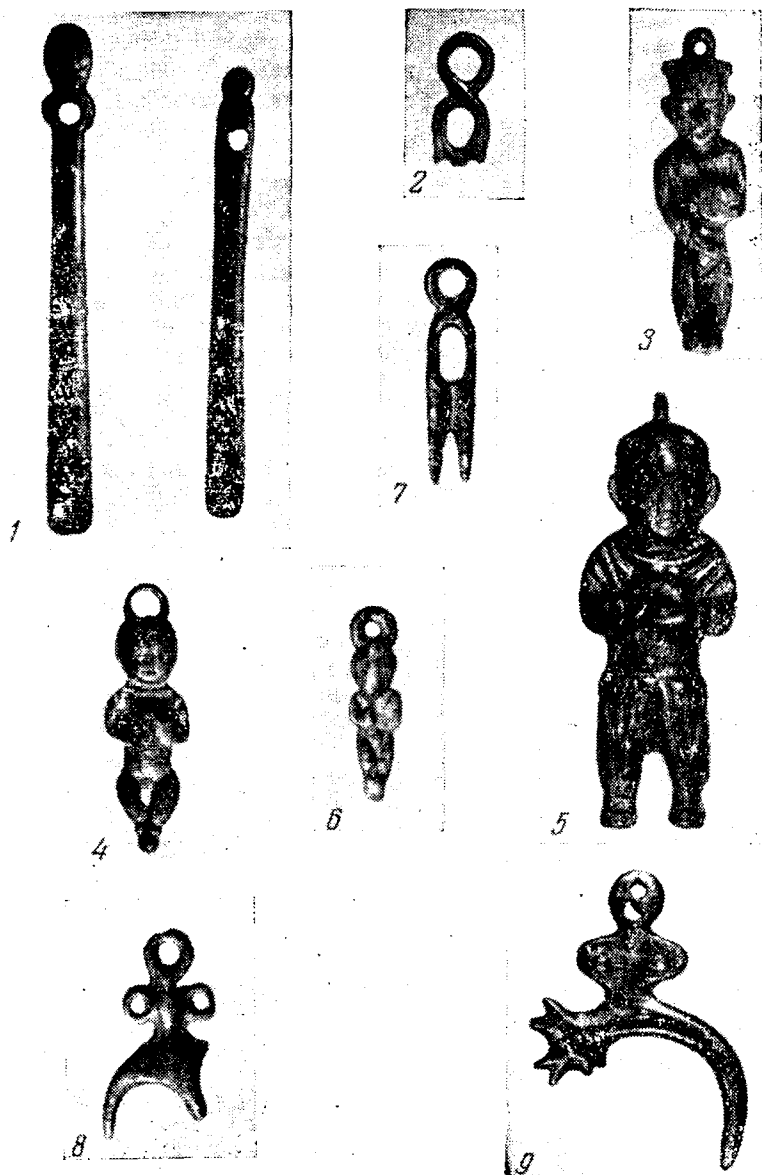


Рис. 1. Антропоморфные подвесные фигурки из бронзы: 1 — из жилища № 7 Шайгинского городища; 2 — из жилища № 42 Шайгинского городища; 3 — из жилища № 24 Шайгинского городища; 4 — из Сикачи-Аляна; 5 — из жилища № 73 Шайгинского городища; 6—8 — из-под Находки; 9 — из жилища № 63 Шайгинского городища

ния фигурки. Уши маленькие, аккуратные. Плечи широкие, а таз явно заужен, ноги вытянуты и плотно прижаты друг к другу. На груди с большим трудом прослеживается нечто похожее на ожерелье из каких-то продолговатых подвесок. Левая, согнутая в локте рука, прижимает к груди какой-то предмет овальной формы. Правая рука плотно прижата к нижней части живота. Фигурка имеет ярко выраженные признаки принадлежности к мужскому полу.

Примерно такого же типа мужская фигурка была в свое время обнаружена директором Амурского краеведческого музея г. Благовещенска Б. С. Сапуновым¹ на территории средневекового поселения XII в. в поселке Сикачи-Алян Хабаровского края. Длина фигурки 49 мм (рис. 1, 4). Типологически она имеет много общего с фигуркой с Шайгинского городища (рис. 1, 3). От последней сикачи-альянская фигурка отличается прежде всего тем, что она изображена с чуть подвернутыми «калачиком» ногами, держащей в прижатых к груди обеих руках шаровидный сосуд.

В жилище № 73 Шайгинского городища обнаружена фигурка длиной 60 мм (рис. 1, 5). От шайгинской (рис. 1, 3) и сикачи-альянской (рис. 1, 4) фигурок она отличается не только своими размерами, но и отсутствием признаков мужского пола. О нем свидетельствует лишь характер одежды, которая, кстати, характеризуется хорошо просматриваемыми этнографическими деталями. У фигурки характерное монголоидное лицо: скуластое, узкоглазое, широконосое. Голова круглой формы с бритым затылком и висками. Волосы оставлены лишь на макушке и собраны в пучок, из которого образована петелька для подвешивания фигурки. Обращают на себя внимание залысины на голове, вдающиеся настолько глубоко, что поневоле напрашивается мысль об искусственном их происхождении. Видимо, чжурчжэни специально подбрасывали голову, создавая особого вида прически. Фигурка держит перед грудью в обеих руках какой-то предмет; ноги прямые, широко расставлены, обуты в высокие, доходящие до колен сапоги, передняя часть голенищ подтянута вверх с помощью особого рода помочей, скрепленных с широким поясом. Еще одни помочи, фиксирующие в определенном положении уже сам пояс, а может быть вместе с ним и шаровары, видны на спине. Скрепленные с поясом, они проходят вверх через всю спину, плечи, затем, проходя через подмышки, снова появляются за спиной и вновь соединяются там с поясом. Чтобы помочи не соскальзывали с плеч, они стянуты между собой под лопатками широкой лентой, завязанной бантом. На шее у фигурки — нечто вроде ожерелья, на животе — пластинчатый панцирь. Очевидно, это скульптурный портрет какого-то воина во всем его облачении, хотя и без оружия. В этой связи интересно отметить, что жилище № 73, где была обнаружена пятая шайгинская фигурка, расположено недалеко от жилищ, в которых, если судить по обнаруженному в них инвентарю, жили воины со своими семьями. Не исключено поэтому, что здесь также жил какой-то воин².

Еще одна, самая миниатюрная, фигурка подобного типа с ярко выраженными признаками мужского пола была обнаружена на месте древних золоторазработок вблизи г. Находки Приморского края (рис. 1, 6). Длина ее всего 31 мм. Обе руки прижаты к груди и держат какой-то предмет, определить который, к сожалению, невозможно. Здесь же были найдены еще две антропоморфные фигурки, а также целый набор других предметов, в том числе и северосунские монеты, которые позволяют датировать все три фигурки из-под Находки XII в.

Вторая фигурка из-под Находки (рис. 1, 7) имеет длину 37 мм и по характеру исполнения больше всего сближается с третьей шайгинской (рис. 1, 2), от которой находкинская отличается главным образом более четким выделением ног.

Очень интересна и своеобразна третья фигурка из-под Находки (рис. 1, 8). Длина ее 35 мм. Голова у нее, как и у второй находкинской,—

¹ Автор выражает свою признательность Б. С. Сапунову, который передал сикачи-альянскую фигурку в фонды сектора археологии Института истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока Дальневосточного научного центра АН СССР.

² Когда эта статья была уже написана, на Шайгинском городище были обнаружены еще четыре бронзовые фигурки, отличающиеся от вышеописанных лишь деталями одежды и причесок.

в форме замкнутого кольца. В такой же манере выполнены и обе руки. Что касается ног, то они показаны в виде двух дугообразных отростков, причем один из них значительно короче.

На Шайгинском городище в жилище № 63 найдена еще одна антропоморфная подвеска длиной 41 мм (рис. 1, 9), она имеет много общего с третьей находкинской фигуркой, от которой отличается главным образом тем, что короткий дугообразный отросток — нога заканчивается тремя парными лучами-рожками. Когда смотришь на эту фигурку, трудно отделаться от впечатления, что здесь изображен человек верхом на летящей комете. Однако, учитывая большую степень стилизации, можно предположить, что в данном случае антропоморфная фигурка изображена верхом на драконе, который, как известно, у большинства народов Евразии символизирует гром и молнии, являясь хозяином и распорядителем небесных и земных вод, т. е. существом космогонического порядка. Не исключено, что образ дракона у первобытного человека нередко ассоциировался с пролетающей кометой, что и нашло свое отражение в шайгинской фигурке из жилища № 63, а также, возможно, и в третьей находкинской фигурке.

Остальные двадцать фигурок обнаружены на различных чжурчжэнских городищах XII в. в Маньчжурии, причем восемнадцать — на Бэйчэнском городище³, остатки которого находятся вблизи г. Харбина, а две — на Пяньляньском городище в пров. Гири⁴.

Многие фигурки Бэйчэнского городища находят себе полную аналогию среди фигурок Приморья. Так, семнадцатая бэйчэнская фигурка представляет собой почти точную копию первой находкинской; в композиционном отношении им близка также третья и пятая бэйчэнские фигурки⁵ и первая пняньляньская⁶. Все эти фигурки держат в левой прижатой к груди руке какой-то предмет, очевидно, чашу. Кроме того, бэйчэнская фигурка держит в прижатой к груди правой руке клиновидный предмет, тогда как у остальных в этой руке ничего нет. Шестнадцатая (и в какой-то степени одиннадцатая) бэйчэнская фигурка⁷ тождественна четвертой шайгинской. К этой группе можно, по-видимому, отнести и вторую пняньляньскую⁸. Девятая и тринадцатая фигурки Бэйчэнского городища правой рукой прижимают к груди какой-то предмет. Левая же опущена вдоль туловища и прижата к бедру⁹. В таком же положении изображена и десятая бэйчэнская фигурка, но она отличается от девятой и тринадцатой тем, что облачена в длиннополый халат, ноги у нее широко расставлены, в правой руке она держит большое перо или опахало¹⁰. В подобных халатах изображены вторая и четвертая бэйчэнские фигурки¹¹. От десятой эти фигурки отличаются тем, что правая рука у них опущена вдоль туловища, а левая прижата к груди и держит шаровидный сосуд. Первая бэйчэнская фигурка¹² облачена в короткополое одеяние, ноги у нее широко расставлены. Прижатая к груди левая рука держит шаровидный сосуд. В таком же положении находится и правая рука, но без какого-либо предмета. Четырнадцатая фигурка¹³, подобно

³ В. Я. Толмачев, Древности Маньчжурии. Развалины Бэй-Чэна, «Вестник Маньчжурии», 1925, № 1—2, Харбин, стр. 19—30, табл. II, рис. 1—18.

⁴ Подробнее см.: Дуань Цзин-сю, Цилин Лишу сянь Пяньлянь гучэн фу ча цзи (Сообщение о вторичном обследовании древнего городища Пяньлянь уезда Лишу пров. Гири), «Каогу», 1963, № 11, стр. 615, рис. 5 (3—4).

⁵ В. Я. Толмачев, Указ. раб., табл. II, рис. 17; рис. 3 и 5.

⁶ Дуань Цзин-сю, Указ. раб., рис. 4 (3).

⁷ В. Я. Толмачев, Указ. раб., табл. II, рис. 16 и 11.

⁸ Дуань Цзин-сю, Указ. раб., рис. 4 (4).

⁹ В. Я. Толмачев, Указ. раб., табл. II, рис. 9 и 13.

¹⁰ Там же, рис. 10.

¹¹ Там же, рис. 2 и 4.

¹² Там же, рис. 1.

¹³ Там же, рис. 14.

сикачи-альянской, держит перед грудью в обеих руках какой-то предмет. Седьмая, восьмая и двенадцатая¹⁴ изображены с широко расставленными ногами и раскинутыми в стороны руками. На шее у них угадывается какое-то украшение в виде ожерелья, а у двенадцатой имеется еще и наборный пояс. У шестой фигурки¹⁵ чуть подогнутые калачиком ноги, левой рукой она опирается о колено, а в поднятой вверх правой руке держит косу-горбушу больших размеров. Пятнадцатая бэйчэнская фигурка¹⁶ представляет собой парную скульптурную группу, чем резко отличается от всех рассмотренных выше. Восемнадцатая фигурка¹⁷ — последняя в рассматриваемом комплексе. К сожалению, качество ее изображения настолько низко, что дать ей более или менее подробное описание не представляется возможным.

Все перечисленные выше чжурчжэньские антропоморфные фигурки стилистически можно подразделить на две основные группы. К первой относятся фигурки, отличающиеся крайним схематизмом. К ним, в частности, принадлежат первая, вторая и третья шайгинские, а также вторая и третья находкинские. Ко второй относятся фигурки, выполненные в реалистической манере и, надо думать, с претензией на портретное сходство.

Среди последних больше всего таких фигурок, которые характеризуются ярко выраженными признаками их принадлежности к мужскому полу, а также спидифическим положением рук (одной руки), держащих что-либо перед грудью, и ног, как бы вытянутых по стойке «смирно» или чуть согнутых «калачиком». Многочисленность фигурок данного типа и их чрезвычайно широкое распространение на большой территории (от юго-западных и центральных районов Маньчжурии до юго-восточного Приморья и Нижнего Амура) при общих иконографических элементах и устойчивых изобразительных формах неоспоримо свидетельствуют о культовом характере рассматриваемых фигурок.

Но каково же было их функциональное назначение? Чтобы получить ответ на поставленный вопрос, необходимо обратиться к некоторым аналогиям, поиски которых приводят нас, с одной стороны, к огромным «каменным бабам» степей Евразии, а с другой — к многочисленным миниатюрным статуэткам и изображениям женщин с сосудом в руках.

И действительно, если взять предложенную Я. А. Шером классификацию «каменных баб»¹⁸, то она в своей основе оказывается вполне применимой и для чжурчжэньских бронзовых антропоморфных фигурок второй группы. Так, «каменным бабам» второй группы («мужские... изваяния с сосудом в правой руке, без оружия») соответствуют 9-я и 13-я бэйчэнские фигурки. Сюда же, по-видимому, можно отнести и все остальные чжурчжэньские фигурки, у которых сосуд не в правой, а в левой руке, что, кстати, нередко встречается и у «каменных баб». К третьей группе «каменных баб» («изваяния с изображением только лица или головы человека») можно отнести 7-, 8- и 12-ю бэйчэнские фигурки, которые не имеют, кроме ожерелий и поясов, столь характерного для прочих фигурок и «каменных баб» канонизированного набора атрибутов. Сикачи-альянская, 5-я шайгинская и 14-я бэйчэнская фигурки по своей иконографии почти полностью соответствуют «каменным бабам» пятой группы («мужские изваяния с сосудом в обеих руках»). К шестой группе Я. А. Шер отнес «женские изваяния с сосудом в обеих руках», которые отличаются от изваяний пятой группы «только признаками пола»¹⁹. В то же время, как это вполне обоснованно отмечает

¹⁴ В. А. Толмачев, Указ. раб., табл. II, рис. 7, 8 и 12.

¹⁵ Там же, рис. 6.

¹⁶ Там же, рис. 15.

¹⁷ Там же, рис. 18.

¹⁸ Я. А. Шер, Каменные изваяния Семиречья, М.—Л., 1966, стр. 25—29.

¹⁹ Там же, стр. 26.

Я. А. Шер, «каменные бабы» шестой группы стилистически близки к миниатюрным изображениям женщин с сосудами в руках. Отсюда он делает вывод, что как те, так и другие генетически связаны с определенным кругом более древних культовых представлений матрилокального рода²⁰. Несколько раньше к этой же мысли пришли А. Н. Бернштам²¹ и М. П. Грязнов. Последний в результате тщательного изучения многочисленных женских каменных изваяний андроновской эпохи определял их как «памятники культа предков-покровителей, культово-космический образ девы-прародительницы, родовое божество»²².

С таким заключением в целом нельзя не согласиться, но оно слишком общо и не дает прямого ответа на вопрос о происхождении и религиозно-культовом характере женских, а также пришедших им на смену мужских фигурок и изваяний с сосудами в руке. Чтобы получить более определенный ответ на поставленный вопрос, необходимо хотя бы вкратце проанализировать некоторые из известных нам женских божеств раннеклассовых обществ, которые обладают теми же иконографическими характеристиками, что и чжурчжэньские бронзовые фигурки и евразийские «каменные бабы». К числу таких божеств относится, в частности, зороастрийская Аши-Урти-Рти, или Аши-Рти, богиня благоденствия и плодородия, божество домашнего очага, выступающая в роли покровительницы дома, житейского благополучия, продолжения рода²³. Эта богиня нередко изображалась с сосудом в руке²⁴. Сходными с Аши-Рти функциями обладали китайская Гуаньинь, японская Каннон²⁵ (от буддийского Авалокитешвара), также нередко изображаемые с сосудом в руке. У скифов богиней домашнего очага (она же богиня — владычица земли, воды и всего живого) считалась Табити. Не исключено, что именно ее изображение имеется на золотой пластинке из Мерджан, где Табити показана сидящей на троне с сосудом в правой руке²⁶. Прямую генетическую связь со скифской Табити, как считают некоторые исследователи, имеют восточнославянские женские божества с сосудом в руке, керамические статуэтки которых неоднократно находили в поселениях VIII—X вв.²⁷

Перечень евразийских богинь с сосудом в руке можно было бы продолжить, но и без этого нам уже ясны основные и общие для них всех функции: с одной стороны, это божества домашних или семейных очагов, с другой — благоденствия и плодородия, покровительницы дома и продолжения рода. Но подобными прерогативами обладали и так называемые хозяйки очагов в доклассовых обществах Сибири, Центральной Азии и Дальнего Востока. К их числу относятся древнетюркская Умай, кетская Алалт, нанайская фадзя-мама (мать-огонь), эвенкийская Энэкэ (бабушка) и т. д. На существование прямой генетической связи между «хозяйками очагов» доклассовых обществ и богинями домашних очагов раннеклассовых обществ указывает и С. А. Токарев²⁸. Вместе с тем, этот же исследователь весьма убедительно доказал, что истоки мифологиче-

²⁰ Там же, стр. 60—64.

²¹ А. Н. Бернштам, Родовая структура Ту'Гю VIII в., «Из истории докапиталистических формаций», М.—Л., 1933, стр. 562—564.

²² М. П. Грязнов, Минусинские каменные бабы в связи с некоторыми новыми материалами, «Сов. археология», XII, 1950, стр. 156.

²³ Г. А. Пугаченкова, Маргианская богиня, «Сов. археология», XXIX—XXX, 1959, стр. 138.

²⁴ Там же, стр. 130, рис. 9 (2).

²⁵ Л. С. Васильев, Культы, религии, традиции в Китае, М., 1970, стр. 331—333.

²⁶ М. И. Артамонов, В. Форман, Сокровища скифских курганов в собрании Государственного Эрмитажа, Прага — Ленинград, 1966, табл. 331, стр. 77.

²⁷ Л. А. Динцес, Изучение русского народного искусства и наследие Н. Я. Марра, «Краткие сообщения о докладах и полевых исследованиях Института материальной культуры», XII, 1946, стр. 144—145, рис. 64 (а).

²⁸ С. А. Токарев, К вопросу о значении женских изображений эпохи палеолита, «Сов. этнография», 1961, № 2, стр. 18—19.

ского образа «хозяйки очага», а следовательно, и раннеклассовых богинь домашнего очага, уходят своими корнями к эпохе верхнего палеолита, или, иначе говоря, к материнско-родовой организации²⁹.

Что же касается причин возникновения культового почитания огня (а через него и очага), то они кроются в той исключительно важной роли, которую сыграл огонь в деле освоения человеком огромных пространств Евразии с ее богатейшими ресурсами мясной пищи, но, наряду с этим, и с весьма суровыми для первобытного человека климатическими условиями. Вполне понятно, что потеря огня с его живительным теплом в суровых климатических условиях севера Евразии грозила гибелью целым человеческим коллективам. Отсюда ежечасная и ежедневная забота о поддержании огня; наделение его сверхъестественными свойствами, душой; возникновение огромного числа религиозно-культовых представлений, обрядов и запретов, суть которых сводилась к одному — всеми средствами и способами, в том числе и с помощью магии, сберечь огонь.

Наблюдая за огнем, анализируя его свойства и «поведение», первобытный человек с удивлением отмечал, что огонь, как и человек, требует пищи, т. е. дров. Не гнушался он также мясной и растительной пищей. При этом, как и люди, особое предпочтение огонь отдавал жиру. После «обильного приема пищи» огонь оставлял «экскременты» в виде золы и угля. Прислушиваясь к шипению и потрескиванию дров, первобытный человек думал, что это разговаривает огонь. По представлениям древних, огонь, подобно человеческому телу, излучает тепло, способен к размножению. Как и любой живой организм, огонь смертен. Он может умереть от голода, если его вовремя не накормить. Смерть его может наступить и от других причин, например, от соприкосновения с водой.

Следует ли удивляться, что в сознании первобытного человека огонь был живым существом, имевшим к тому же очень много общего с людьми. Отсюда сравнительно ранняя антропоморфизация огня, или, точнее, его духа, который весьма скоро становится если не главным, то во всяком случае привилегированным членом родо-племенного объединения³⁰. Ему начинают воздавать всяческие почести: кормят наиболее лакомыми кусками пищи, сооружают из камней в виде оградки жилье — прообраз будущего очага.

С течением времени представление об огне — духе огня, который, судя по всему, чуть ли не с самого начала мыслился в образе женщины, усложняется и постепенно преобразуется в сложную по своим функциональным характеристикам фигуру «хозяйки очага». Последняя все чаще выступает в роли мифической покровительницы и прародительницы рода, родового огня. При этом «хозяйка очага» почти повсеместно изображается с сосудом в руках.

Что же это был за сосуд и какова природа его происхождения? Если обратиться к этнографическому материалу, то мы, пожалуй, сможем найти ответ на этот вопрос, рассмотрев и проанализировав некоторые обряды, так или иначе связанные с культом огня и почитанием «хозяйки (хозяина) очага».

Один из наиболее распространенных обрядов заключался в «кормлении» перед началом какого-либо празднества очажного огня жиром или маслом³¹. Данный обряд чаще всего совершали самые старые и почита-

²⁹ С. А. Токарев, Указ. раб., стр. 12—20; его же, Ранние формы религии и их развитие, М., 1964, стр. 254—265.

³⁰ Огонь, по представлениям бурят, был таким же членом рода, как и люди и, следовательно, имел общего с ними родоначальника, См. К. В. Вяткина, Очерки культуры и быта бурят, Л., 1969, стр. 53.

³¹ А. А. Попов, Материалы по истории религии якутов б. Вилюйского округа, «Сборник Музея антропологии и этнографии АН СССР», XI, М.—Л., 1949, стр. 272—274, 299, 304; Н. А. Кисляков, Очерки по истории семьи и брака у народов Средней Азии и Казахстана, Л., 1969, стр. 113, 120, 147; Г. М. Василевич, Эвенки. Историко-этнографические очерки (XVIII — начало XX в.), Л., 1969, стр. 162, 221.

емые женщины рода³². В этой связи большой интерес представляет бытовавший еще недавно у ульчей обычай «ихэрэ тауди», т. е. «зажечь лампу», соблюдавшийся при женитьбе на девушке из рода матери. Смысл этого обычая заключался, по словам ульчей, в стремлении каждой матери «к тому, чтобы после нее осталась женщина из ее родного рода, которая бы вместо нее „лампу зажигала“..., чтобы был продлен „ее род“, „ее дорога“»³³.

Здесь мы, по всей вероятности, имеем дело с отголоском древнего обычая, в соответствии с которым новобрачная, переходя в род мужа, должна была брать с собой светильник с зажженным от родового очага огнем. Это делалось для того, чтобы родовой огонь мог оберегать новобрачную и во всем ей покровительствовать, когда она окажется в роде мужа. Многочисленные находки на территории Евразии различного типа светильников в поселениях бронзового и железного века подтверждают, наряду с отмеченным выше ульчским обычаем, весьма широкое их использование не только в качестве осветительных приборов, но и прежде всего как предметов, способствующих поддержанию и хранению родового огня. Особого типа светильники применялись для транспортировки родового огня во время перекочевков. Так, например, эвенки в свое время перевозили огонь на новое стойбище в горшке или котелке³⁴. У бурят запрещалось оставлять огонь на старом месте, и во время перекочевков его переносили, захватив с собой обсыпанную пеплом тлеющую головню³⁵. Надо полагать, что ее при этом также клали в какой-либо сосуд.

Таким образом, теснейшая обрядово-культурная связь сосудов-светильников с родовым огнем очевидна. Нет поэтому ничего удивительного в том, что древние «хозяйки очагов», которых правильнее было бы называть «хозяйками родового огня и прародительницами рода», чаще всего мыслились и изображались с сосуда-светильниками в руках. А поскольку светильники заправлялись, как правило, жиром, то становится понятным и столь распространенное его применение во время обряда «кормления огня».

С упрочением патриархально-родового строя женский образ «хозяйки очага» в ряде случаев начинает вытесняться мужским, как это, например, случилось у бурят и якутов. На смену культа прародительницы рода (она же и хозяйка родового очага) приходит культ семейно-родовых предков. При этом, как отмечает А. Ф. Анисимов, «с переходом к патриархату в родовом культе огня-очага стираются постепенно матриархальные черты, мифологические образы принимают все более патриархальный характер, а сам культ превращается постепенно в семейный культ духов-охранителей, оберегающих патриархальную семью, обособившуюся экономически от родовой общины. Однако старые традиции матриархата еще долго продолжают сохраняться; даже пластические изображения духов не свободны от их исходной матриархальной формы»³⁶. Именно этим и следует объяснять тот факт, что большинство известных изображений мужских духов-предков имеет ту же иконографию, что и предшествующие им «хозяйки очагов».

В ряде случаев можно наблюдать как бы сосуществование на протяжении определенного отрезка времени материнско-родового культа женских прародительниц рода и вышедшего из его недр патриархального культа семейно-родовых духов-предков. Примером могут служить половецкие каменные изваяния, часть которых представлена женскими

³² С. А. Токарев, Ранние формы религии и их развитие, стр. 263; его же, К вопросу о значении женских изображений эпохи палеолита, стр. 15.

³³ А. В. Смольяк, Ульчи. Хозяйство, культура и быт в прошлом и настоящем, М., 1966, стр. 110.

³⁴ Г. М. Василевич, Указ. раб., стр. 221.

³⁵ К. В. Вяткина, Указ. раб., стр. 53.

³⁶ А. Ф. Анисимов, Общее и особенное в развитии общества и религии народов Сибири, Л., 1969, стр. 115.

статуями и, как это совершенно справедливо отмечает Г. А. Федоров-Давыдов, имеет прямое отношение к культу женщин-прародительниц, тогда как другая их часть, представленная мужскими статуями, связана с культом предков³⁷.

Теперь становится понятным и назначение сосудов в руках у древнетюркских каменных изваяний, которые, судя по аналогии с древними евразийскими «хозяйками очагов», представляют собой не что иное, как родовые светильники. Между тем, согласно Л. Р. Кызласову, этот сосуд изображался для того, чтобы покойный мог в виде изваяния «присутствовать и пить» из него на собственных поминках вместе со своими родственниками и соратниками³⁸. Такой же точки зрения придерживается и Я. А. Шер, который отмечает наряду с этим, что «форма большинства кубков, изображенных на изваяниях 1-й и 2-й групп, до недавнего времени сохранилась в особом типе керамических кубков, использующихся у народов Средней Азии в качестве парадной посуды для подачи воды, айрана, кумыса, сливок и сиропов»³⁹. Однако более тщательный анализ не подтверждает данную точку зрения.

Допустим на время, что в руках у изваяний действительно изображена поминальная посуда. Зная широко распространенный в древности обычай класть в могилу покойного его личные вещи, а также оставлять на могиле посуду с жертвенной пищей, следовало бы ожидать, что в руках у изваяния изображена либо его личная посуда, либо посуда с жертвенной пищей. Но, как отмечает Л. Р. Кызласов, все типы сосудов, которые держат изваяния, «редко попадали в инвентарь погребений и потому мало известны»⁴⁰. Не странно ли, правда? Но тот же самый факт перестает казаться странным, если предположить, что сосуды представляют собой изображения семейно-родовых светильников. Вряд ли кто осмелился бы на такое кощунство, как предание погребению родовой святыни. Только этим и следует объяснять крайне редкие случаи находок в могилах посуды, по формам в подавляющем большинстве более соответствующей светильникам (по крайней мере на примере археологического материала Приморья и Приамурья), чем парадной посуде, как это полагает Я. А. Шер.

В связи со сказанным нельзя не отметить, что на одном древнетюркском изваянии из Тувы изображен мужчина с сосудом в руках. У сосуда сферическое тулово и такое низкое и узкое горлышко, что в него с трудом можно просунуть палец⁴¹. Нет особой необходимости доказывать, что пить из такого сосуда было бы крайне неудобно. Кстати, по своей форме и размерам этот сосуд очень напоминает небольшие чжурчжэньские поливные светильники.

Рассматривая вопрос о назначении сосудов в руках древнетюркских и других изваяний, необходимо учитывать и такое немаловажное обстоятельство, как широко распространенный в древности у кочевых народов обычай сжигания жертвенной пищи духам на специальном костре. Только сожженная пища, т. е. освобожденная от своей материальной оболочки, была приемлемой для духов, которые, по представлению древних, вкушали не самую пищу, а лишь «ее запах, ее дух»⁴². Следовательно, сосуд в руках у изваяний не мог служить духу покойного в качестве посуды для приема пищи.

³⁷ Г. А. Федоров-Давыдов, Я. А. Шер, Каменные изваяния Семиречья. (рецензия), «Сов. археология», 1967, № 2, стр. 267.

³⁸ Л. Р. Кызласов, История Тувы в средние века, М., 1969, стр. 32.

³⁹ Я. А. Шер, Указ. раб., стр. 58.

⁴⁰ Л. Р. Кызласов, Указ. раб., стр. 32.

⁴¹ Там же, рис. 3 (2).

⁴² Г. П. Снесарев, Реликты домусульманских верований и обрядов у узбеков Хорезма, М., 1969, стр. 116.

Наконец, нельзя пройти мимо и такого факта, как замена изображения родового светильника в руках древнетюркских изваяний изображением птицы, которая, как и родовой огонь, была очень тесно связана с образом прародительницы, с представлениями о начале и продлении рода.

По утверждению С. М. Абрамзона, у древних тюрков «представление о божестве Умай было некогда связано с древним общечеловеческим мифологическим мотивом птицы (в особенности орла) — солнечного божества, творца всего живого, символизирующего плодovitость, плодородие»⁴³. У якутов лебедь-кликун считается воплощением богини плодородия, покровительницы якутов — Аисыт». У узбеков петух и курица являлись олицетворением плодородия и почитались «как самые чистые»⁴⁴. У нанайцев большой популярностью пользовались талисманы в виде серебряной птицы или белого лебедя, которые давали якобы силу, богатство и счастье»⁴⁵. У тех же нанайцев образ птицы был теснейшим образом связан с мифическим родовым деревом, «незримо растущим во вселенной», где находятся владения женского родового духа, с которым были связаны представления о плодovitости женщин и, следовательно, о начале и продлении рода. «Среди ветвей этого дерева жили и плодились будто бы души людей-сородичей, воплощавшиеся в последующих поколениях того рода, которому принадлежало во вселенной это мифическое дерево начала жизни. Зародыши будущих людей — еще не воплотившиеся в женщин родовые души — мыслились в виде птичек чока, спускающихся по ветвям дерева все ближе к земле. Спустившись на землю, чока, полатали нанайцы, вселялись в утробы женщин своего рода, давая начало новому потомству»⁴⁶.

Подобно нанайским чока, огонь, наряду с очистительными свойствами, обладал также и плодоносящей силой, о чем, в частности, свидетельствует реликтовый обряд у хорезмских узбеков, в соответствии с которым бесплодные женщины, желая получить потомство, «обнажали живот и некоторое время держали его обращенным к огню очага, костра или просто зажженных свечей»⁴⁷. Из приведенных факторов можно, следовательно, заключить, что образ птицы в мифологии народов алтайской семьи языков функционально когда-то имел много общего согнем и был неразрывно связан с культом прародительницы рода, «хозяйки очага». Данное обстоятельство и объясняет правомерность замены одного атрибута (родового светильника) другим (птицей) в общей иконографии прародительниц рода и патриархально-родовых духов-предков.

Таким образом, весь комплекс рассмотренного выше материала говорит о том, что в руках древнетюркских и предшествующих им евразийских изваяний изображены родовые светильники, которые как бы подтверждали и навечно закрепляли принадлежность данного духа-предка к роду, владеющему светильником. Примерно эту же цель преследовал и бытовавший до недавнего прошлого у некоторых народов обычай разводить жертвенный костер от родового огня»⁴⁸. Ибо только сожжение жертвенной пищи или даже трупа покойного на родовом огне позволяло приобщить дух умершего к своему роду и, следовательно, ожидать от него покровительства живым сородичам.

⁴³ С. М. Абрамзон, Рождение и детство киргизского ребенка (из обычаев и обрядов тяньшаньских киргизов), «Сборник Музея антропологии и этнографии АН СССР», XII, М.—Л., 1949, стр. 84—85.

⁴⁴ Г. П. Снесарев, Указ. раб., стр. 324.

⁴⁵ П. П. Шимкевич, Материалы для изучения шаманов у гольдов, «Записки Приамурского отдела имп. Русского Географического общества», т. I, вып. 2, Хабаровск, 1896, стр. 124.

⁴⁶ А. Ф. Анисимов, Указ. раб., стр. 114.

⁴⁷ Г. П. Снесарев, Указ. раб., стр. 191.

⁴⁸ Обычай обязательного зажигания жертвенного костра только от родового огня еще недавно можно было наблюдать у бурят. См. К. В. Вяткина, Указ. раб., стр. 53.

Подводя итог, мы можем теперь отметить, что чжурчжэньские антропоморфные мужские статуэтки из бронзы представляют собой, как, впрочем, и древнетюркские «каменные бабы», онгоны духов-предков⁴⁹, а это, в свою очередь, свидетельствует о существовании и сравнительно широком распространении у чжурчжэней в XII в. культа патриархально-родовых предков. Таким образом, правомерность отождествления миниатюрных чжурчжэньских антропоморфных мужских бронзовых статуэток с сосудом в руках с древнетюркскими «каменными бабами» вполне оправдывается не только их иконографической, а в ряде случаев и типологической общностью⁵⁰, но и длительным существованием тесных культурно-этнических и политических связей между народами южной части советского Дальнего Востока и Маньчжурии и тюрко- и монголоязычным миром Центральной Азии⁵¹.

⁴⁹ Д. К. Зеленин, Култ онгонов в Сибири, «Труды Института антропологии, археологии и этнографии», XIV, Этнографическая серия, вып. 3, М.—Л., 1936, стр. 263.

⁵⁰ В этой связи обращают на себя внимание бронзовые подвесные антропоморфные фигурки из тюркских памятников VI—VIII вв., почти полностью идентичные с чжурчжэньскими. См. Л. М. Левина, К вопросу об антропоморфных изображениях в джетыясарской культуре, «История, археология и этнография Средней Азии», М., 1968, стр. 169, рис. 2 (9).

⁵¹ Э. В. Шавкунов, Культура чжурчжэней Приморья по материалам археологических раскопок 1960—1965 гг., «История, археология и этнография Дальнего Востока», «Владивосток, 1967, стр. 26—31.

И. П. Ладария

К ИЗУЧЕНИЮ ДЕРМАТОГЛИФИКИ НАСЕЛЕНИЯ ЗАПАДНОГО КАВКАЗА

О дерматоглифике населения Кавказа в литературе мало сведений. Описаны вариации пальцевых узоров у нескольких этнических групп¹, изучены по полной программе три группы в Грузии² и значительное число дагестанских популяций³. За последнее время обширные коллекции собраны Г. Л. Хитъ среди тюркоязычных народов Кавказа, но цифровые данные ею еще не опубликованы⁴. В 1970 г. грузинскими антропологами начато систематическое исследование современного населения Кавказа по комплексной программе, включающей и кожный рельеф кисти⁵.

Автором в 1967—1968 гг. проводилось антропологическое изучение народов абхазо-адыгейской группы в плане этногенеза; в данном сообщении рассматривается только кожный рельеф кисти.

Всего обследовано 11 этнотерриториальных групп Западного Кавказа общей численностью 1434 человека. Перечислим их, указав пункты, где проводилась работа (см. карту).

1. Абхазы Очамчирского р-на Абхазской ССР (сел. Члоу, Атар Абхазская, Тхина) — 75 мальчиков, 55 девочек.
2. Абхазы Гудаутского р-на Абхазской ССР (г. Гудаута, сел. Абгархук, Лыхны, Дурипш) — 100 мальчиков, 50 девочек.
3. Абхазы Гагрского р-на Абхазской АССР (сел. Бзыбь, Лидзава) — 61 мальчик, 59 девочек.
4. Мегрелы г. Зугдиди Грузинской ССР — 74 мальчика, 56 девочек.
5. Имеретины Самтредского р-на Грузинской ССР (сел. Диди Джихаиси) — 70 мальчиков, 65 девочек.
6. Сваны г. Местиа Грузинской ССР — 80 мальчиков, 35 девочек.
7. Аджарцы Батумского р-на Грузинской ССР (сел. Хелвачаури) — 80 мальчиков, 41 девочка.
8. Адыгейцы Шовгеновского р-на Адыгейской АО (аул Шовгеновский) — 60 мальчиков, 70 девочек.
9. Черкесы Хабезского района (аул Бесленей) и Адыге-Хабльского р-на (аул Адыге-Хабль) Адыгейской АО — 100 мальчиков, 59 девочек.
10. Абазины г. Черкесска и Учкеекеновского р-на Карачаево-Черкесской АО (аул Красный Восток) — 88 мальчиков, 44 девочки.
11. Кабардинцы г. Нальчика Кабардино-Балкарской АССР — 70 мальчиков, 42 девочки.

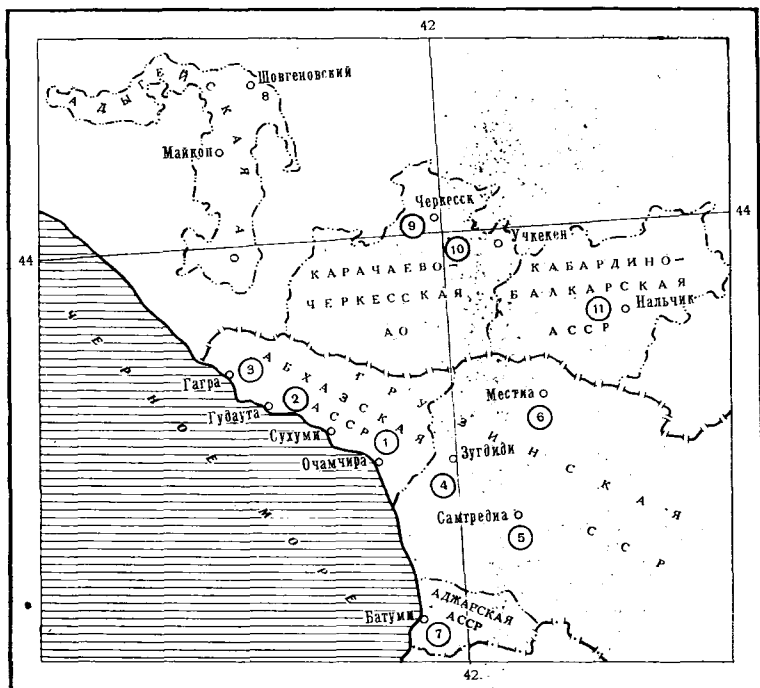
¹ М. В. Волоцкой, Генетика кожного рельефа, «Антропологический журнал», 1937, № 3.

² Т. Д. Гладкова, Особенности дерматоглифики аджарцев, мингрельцев, сванов, «Сов. антропология», 1956, № 3.

³ А. Г. Гаджиев, Антропология малых популяций Дагестана, Махачкала, 1971.

⁴ Г. Л. Хитъ, Дерматоглифика тюркоязычных народов Кавказа в связи с проблемами их происхождения, «Тезисы докладов на Всесоюзной научной сессии, посвященной итогам полевых археологических и этнографических исследований 1970 г.», Тбилиси, 1971.

⁵ Э. Н. Джавахишвили, Предварительные результаты антропологической экспедиции 1970 г., «Тезисы докладов...».



Локализация исследованных групп Западного Кавказа. Номера (1—11) соответствуют номерам групп в тексте (стр. 121)

Обследовались в основном дети школьного возраста. Отпечатки пальцев и ладоней делались при помощи типографской краски. Коллекции обработаны по методике Г. Камминса и Ч. Мидло⁶.

Картографирование обнаружило большую пестроту распределения всех без исключения признаков при значительной их вариабельности (к сожалению, ввиду ограниченности места карты в статье не приводятся). Отсутствие каких-либо закономерностей распределения признаков прослеживается и в мужских, и в женских группах. Цифровая характеристика групп содержится в табл. 1—5.

Выбор признаков для расового анализа

Для населения Кавказа в целом наиболее диагностическими признаками, обнаруживающими устойчивые межгрупповые сочетания, являются индексы — дельтовый и Камминса, t , добавочные межпальцевые трирадиусы, узоры на Hu и Th/I' . По нашим данным, для Западного Кавказа могут быть выделены в качестве основных признаков только дельтовый индекс, индекс Камминса и Th/I .

Прокоррелировав методом рангов все шесть признаков на территории Западного Кавказа, мы обнаружили в мужских группах лишь два достоверных межгрупповых сочетания: дельтовый индекс связан средне-высокой положительной корреляцией с индексом Камминса, а также с Th/I (r_s равны 0,64 и 0,73 соответственно, при $d. f. = 9$). Остальные три

⁶ H. Cummins, Ch. Midlo, Finger prints, palms and soles, N. Y., 1961.

⁷ Г. Л. Хитъ, Дерматоглифическая дифференциация населения СССР (IX Международный конгресс антропологических и этнографических наук. Доклады советской делегации), М., 1973.

признака не образуют достоверных комплексов. В женских группах не найдено ни одного достоверного сочетания признаков.

Следует добавить, что территориальные комплексы признаков в мужских и женских группах, как правило, совершенно различны по величине и знаку. Таким образом, исторические процессы, приведшие к сложению этих комплексов, оказали разное действие на эти группы. Отчасти это может быть связано с несоответствием величин признаков в мужских и женских группах в этническом аспекте: при вычислении ранговых корреляций между мужчинами и женщинами всех исследованных популяций выяснилось полное отсутствие сколько-нибудь значительной взаимосвязи по всем шести признакам (r_s для Dl_{10} , Jc , Hu , Th/I , t и добавочных межпальцевых трирадиусов составляет соответственно 0,17; 0,49; 0,36; — 0,19; 0,05; — 0,13)⁸.

В двух популяциях были вычислены по четырехпольным таблицам методом χ^2 внутригрупповые корреляции признаков. Выяснилось, что корреляция между шестью основными признаками либо отсутствует, либо невелика: r составляет 0,2—0,3. Наиболее велико число достоверных связей у адыгов-мужчин (3 коэффициента из 15). У адыгеек отмечена достоверная связь между дельтовым индексом и t ($r = -0,17$), а также между Jc и Hu ($r = 0,12$).

У абхазов (мужчин и женщин) t скоррелирован обратной связью с узорами на Hu и с добавочными межпальцевыми трирадиусами ($r = -0,2$ и $-0,3$ соответственно).

Что касается остальных признаков, то II, III и IV межпальцевые подушечки связаны разной по величине корреляцией с индексом Камминса, добавочными межпальцевыми трирадиусами и друг с другом. Промежуточный трирадиус t' находится в обратной зависимости от t (r колеблется от — 0,57 до — 0,71).

Для сопоставления популяций по комплексу признаков был применен метод межгрупповой шкалы (он же метод комбинационных полигонов Г. Ф. Дебеца) с использованием пределов вариаций признаков в наших группах. Центр окружности каждого полигона соответствует min , конец радиуса — max признака, весь радиус принят за 100%. Разница между величиной признака в группе и min выражена в процентах межгруппового размаха. Для мужчин и женщин были построены отдельные шкалы. При рассмотрении полигонов бросается в глаза их большое разнообразие как по форме, так и по площади фигур⁹. Среди мужских групп можно выделить два наиболее сходных полигона (рис. 1). Это черкесы и имеретины, которые обнаруживают сходство почти по всем признакам, за исключением дельтового индекса и добавочных межпальцевых трирадиусов. Дельтовый индекс у черкесов несколько ниже, а добавочные межпальцевые трирадиусы отмечены чаще, чем у имеретинцев.

Женские группы еще более разнообразны и, кроме того, непохожи на соответствующие мужские. Ни одна популяция не имеет себе подобной по соотношению основных признаков кожного рельефа (рис. 2).

Таким образом, для этнотерриториальных групп Западного Кавказа характерно исключительное разнообразие величин признаков и их сочетаний. Однако мы провели попытку суммарного сопоставления по шести признакам (усредненная сумма радиусов полигонов) (рис. 3), учитывая всю ее условность при наличии таких резких различий между группами.

⁸ То же явление обнаружено Н. А. Никольской при сопоставлении значительного числа мужских и женских групп населения Восточной Европы, см. Н. А. Никольская, Дерматоглифика некоторых народов Восточной Европы (в связи с проблемами их происхождения), Автореф. канд. дис., М., 1974.

⁹ Для расширения сопоставлений были использованы неопубликованные данные Г. Л. Хить по дерматоглифике азербайджанцев, армян и хевсур.

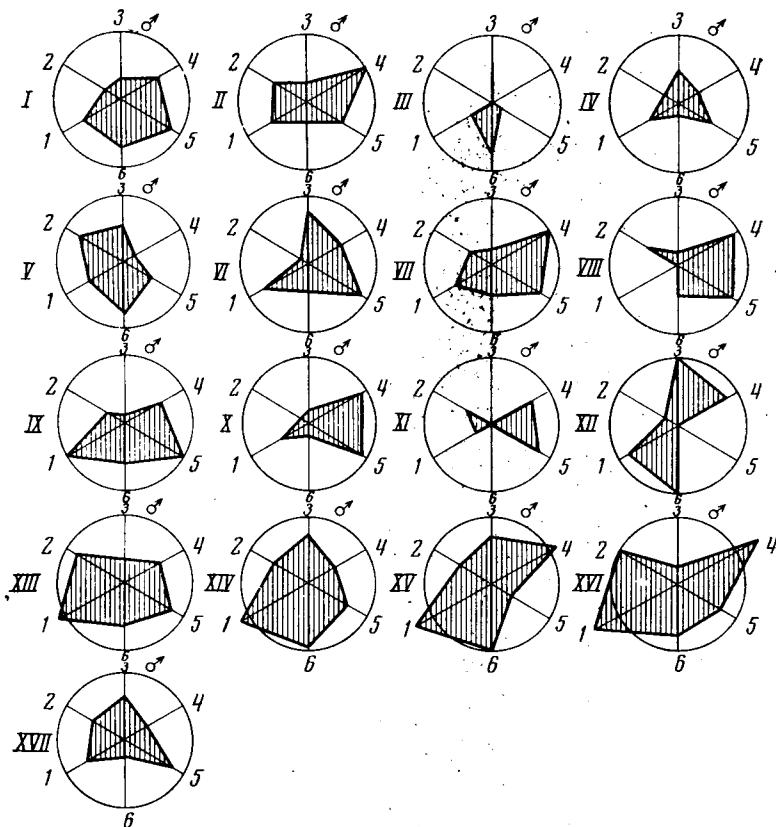


Рис. 1. Комбинационные полигоны. Мужские серии: I — аджарцы, II — абхазы Очамчирского р-на, III — абхазы Гагрского р-на, IV — абхазы Гудаутского р-на, V — абхазы суммарно, VI — кабардинцы, VII — черкесы, VIII — сваны, IX — имеретины, X — мегрелы, XI — абзины, XII — адыгейцы, XIII — армяне, XIV — аджарцы (данные Г. Л. Хить), XV — азербайджанцы, XVI — хевсуры, XVII — кахетинцы. Обозначение радиусов: 1 — Dl_{10} , 2 — Ic , 3 — t , 4 — добавочные межпальцевые триадиусы, 5 — H_y , 6 — Th/I

Среди мужчин полярные места занимают абзины и хевсуры: первым свойственна минимальная, вторым — максимальная выраженность признаков. Остальные группы, за исключением армян и азербайджанцев, близких к хевсурам, располагаются довольно компактно, хотя при этом не выявляется никакой закономерности.

Сходства женских групп с соответствующими мужскими почти не наблюдается. Лишь абзины и абхазки занимают крайне близкое положение к нулевой точке шкалы, что в общем соответствует расположению абзинов и абхазов.

Было проведено также статистическое попарное сопоставление групп по шести признакам суммарно. Использовался метод средней разницы (в процентах межгруппового размаха признаков в пределах каждого пола).

В мужских группах наиболее значительной оказалась разница между сванами и адыгейцами (67,3%), абзинами и адыгейцами (65,5%). Меньшая, но тоже довольно значительная разница обнаруживается между адыгейцами и всеми остальными группами. Наименьшими оказались различия между аджарцами и имеретинами (16,5%), аджарцами и чер-

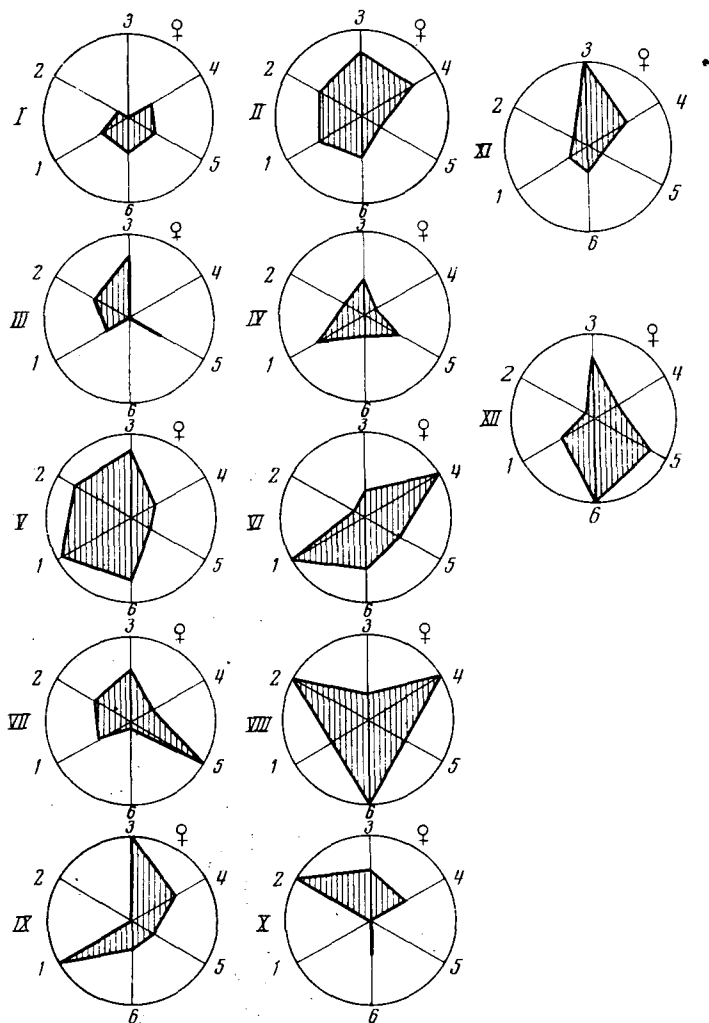


Рис. 2. Комбинационные полигоны. Женские серии: I — абхазки Гагрского р-на, II — абхазки Гудаутского р-на, III — абхазки Очамчирского р-на, IV — абхазки суммарно, V — мегрелки, VI — имеретинки, VII — аджарки, VIII — сванки, IX — адыгейки, X — черкешенки, XI — абазинки, XII — кабардинки. Обозначение радиусов то же, что и на рис. 1

кесами (17,6%), аджарцами и абхазами (18,3%), сванами и черкесами (18,1%).

Среди женщин наиболее близки группы адыгеек и абaziнок (18,3%), абхазок и аджарок (19,2%). Сванки максимально отличаются от адыгеек (57,1%), абзинок (54,2%) и аджарок (51,8%), а имеретинки — от аджарок (51,1%).

Вычисляя расстояние между суммарной абхазской группой и каждой из остальных, для мужчин получаем следующие данные (в %): аджарцы — 18,3, черкесы — 25,7, кабардинцы — 26,6, мегрелы — 29,7, абзины — 31,4, имеретины — 31,9, адыгейцы — 43,3, сваны — 43,5. Для женщин порядок расположения и величина средней разницы, как правило, иные (в %): аджарки — 19,2, абазинки — 23,1, черкешенки — 29,2, кабардинки — 29,5, адыгейки — 30,8, имеретинки — 35,8, сванки — 42,8, мегрелки — 43,0.

Таким образом, обе части абхазской популяции (мужчины и женщины

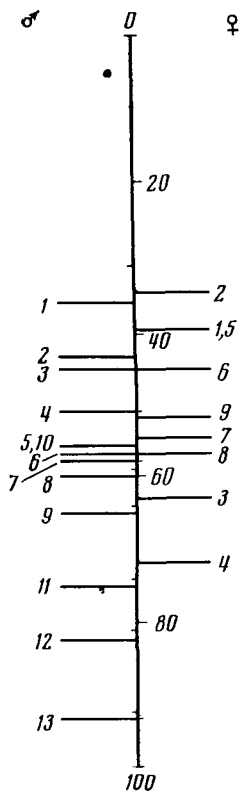


Рис. 3. Сопоставление групп суммарно по шести признакам: 1 — абзины, 2 — абхазы суммарно, 3 — мегрелы, 4 — сваны, 5 — черкесы, 6 — аджарцы, 7 — кабардинцы, 8 — имеретины, 9 — адыгейцы, 10 — кахетинцы, 11 — армяне, 12 — азербайджанцы, 13 — хевсуры

ны), рассмотренные порознь, наиболее сходны с аджарцами и максимально отличны от сванов.

Между абхазо-адыгейскими народами не обнаружено большого сходства.

Внутригрупповой анализ абхазов

Три абхазские территориальные группы были детально проанализированы с целью определения степени их гомогенности. Для этого был применен метод отклонения каждой территориальной группы от сводной абхазской в процентах «абхазского» размаха вариаций.

По дельтовому индексу абхазы Гудаутского р-на ближе всех к суммарной абхазской группе. Абхазы Гагрского р-на имеют наибольший дельтовый индекс, абхазы Очамчирского р-на — наименьший. По индексу Камминса картина приблизительно та же. У гудаутских и гагрских абхазов ладонный трирадиус t присутствует несколько реже, у абхазов Очамчирского р-на — чаще, чем в суммарной группе. По наличию узоров на гипотенаре очень близки между собой группы очамчирских и гудаутских абхазов, и обе они отличаются меньшим процентом узоров от суммарной абхазской группы.

Абхазы Гагрского р-на имеют максимальное количество узоров на гипотенаре. Процент добавочных межпальцевых трирадиусов у абхазов Гудаутского и Гагрского р-нов выше, чем у абхазов Очамчирского р-на и суммарной абхазской группы. По наличию узора на Th/I группы располагаются следующим образом: меньший процент узоров у абхазов Очамчирского и Гагрского р-нов, больший — у абхазов Гудаутского р-на. В целом эти две группы имеют противоположные комбинации всех признаков, кроме Th/I . Одновременно гудаутские абхазы по всем признакам, за исключением Th/I , приближаются к суммарной абхазской группе.

Среди женщин признаки распределились несколько иначе. Типологических сочетаний здесь не наблюдается. Абхазки Гудаутского р-на отклоняются от суммарной серии в сторону меньших величин по всем признакам, кроме узоров на Hu , межпальцевых трирадиусов и Th/I . Абхазки Гагрского р-на имеют большие величины обоих индексов и больший процент t , чем сборная серия, мало отличаясь от последней по остальным признакам. Очамчирские абхазки обладают более высоким дельтовым индексом, процентом добавочных межпальцевых трирадиусов и узоров на Th/I .

Было проведено также попарное сопоставление абхазских популяций по каждому признаку методом χ^2 с применением четырехпольных таблиц. Реальные различия отмечены редко. Достоверные различия обнаружены среди мужчин — по дельтовому индексу, добавочным межпальцевым трирадиусам и индексу Камминса, среди женщин — по Th/I и t .

Проверялась также однородность суммарной абхазской серии по каждому признаку путем сложения величин χ^2 попарных сопоставлений и числа степеней свободы. Обнаружено, что в целом абхазская мужская группа неоднородна по индексу Камминса, дельтовому индексу и доба-

Типы пальцевых узоров (%) и Dl_{10}

Группа	Пол	A + T	R	U	R + U	W	DI ₁₀
Абхазы Очамчирского р-на	♂	4,3	2,9	52,0	54,9	40,8	13,65
	♀	11,6	3,1	57,4	60,5	27,8	11,61
Абхазы Гудаутского р-на	♂	6,9	3,4	56,1	59,5	33,6	12,67
	♀	11,0	2,0	53,2	55,2	33,8	12,28
Абхазы Гагрского р-на	♂	8,4	3,9	57,2	61,1	30,5	12,21
	♀	14,1	2,7	52,4	55,1	30,8	11,67
Абхазы суммарно	♂	6,4	3,4	55,0	58,4	35,2	12,88
	♀	12,3	2,6	54,3	56,9	30,7	11,83
Мегрелы	♂	6,9	3,2	57,3	60,5	32,6	12,57
	♀	4,8	2,0	59,5	61,4	33,8	12,90
Имеретины	♂	4,3	3,1	52,4	55,4	40,3	13,60
	♀	5,7	2,9	54,8	57,7	36,6	13,09
Сваны	♂	13,4	1,6	54,6	56,3	30,4	11,71
	♀	10,9	2,3	55,7	58,0	31,1	12,01
Аджарцы	♂	8,4	1,4	52,7	54,1	37,5	12,91
	♀	11,7	2,9	55,4	58,3	30,0	11,83
Адыгейцы	♂	5,5	2,8	51,3	54,2	40,3	13,48
	♀	7,3	1,6	55,1	56,7	36,0	12,87
Черкесы	♂	6,7	4,2	54,1	58,3	35,0	12,83
	♀	10,7	3,4	65,1	68,5	20,9	11,02
Абазины	♂	9,0	3,2	56,8	59,9	31,1	12,21
	♀	12,5	2,9	58,1	60,9	26,6	11,41
Кабардинцы	♂	3,1	2,9	58,3	61,1	35,7	13,25
	♀	8,6	6,4	58,1	64,5	26,9	11,83

Типы линий A и D (%) и индекс Камминса

Группа	Пол	Типы линий А				Типы линий D				Индекс Кам-минса
		(1+2)	3+4	5+6+7	M _A	7+8+ +X+0	9+10	11+12+ +13	M _D	
Абхазы Очамчирского р-на	♂	15,4	38,7	46,0	3,61	13,4	32,6	54,0	9,81	8,78
		11,8	60,0	28,1	3,33	16,3	33,7	50,0	9,67	8,36
Абхазы Гудаутского р-на	♀	14,0	61,5	24,5	3,21	9,5	43,5	47,0	9,64	8,19
		10,0	59,0	31,0	3,42	9,0	45,0	46,0	9,74	8,46
Абхазы Гагрского р-на	♂	17,2	65,6	17,2	3,00	14,8	44,3	24,6	9,52	7,79
		18,6	53,4	27,9	3,19	13,5	40,7	45,8	9,64	8,03
Абхазы суммарно	♀	15,3	55,3	29,4	3,28	11,9	40,3	47,7	9,71	8,29
		13,7	57,3	28,9	3,30	13,1	39,6	47,3	9,68	8,27
Мегрелы	♂	12,9	60,8	26,3	3,27	20,3	43,3	36,5	9,32	7,91
		17,0	41,1	42,0	3,50	7,2	40,2	52,7	9,91	8,67
Имеретинцы	♀	12,1	57,2	30,7	3,37	12,8	45,7	41,4	9,57	8,32
		16,9	53,0	30,1	3,22	16,9	46,1	37,0	9,40	8,05
Сваны	♂	11,3	47,5	41,2	3,54	8,8	35,6	55,6	9,93	8,80
		4,3	61,4	34,2	3,60	7,1	38,6	54,3	9,94	8,90
Аджарцы	♀	13,8	55,0	31,2	3,25	8,2	43,7	48,1	9,80	8,33
		12,2	42,7	45,1	3,66	9,7	51,2	39,0	9,59	8,32
Адыгейцы	♂	14,2	51,7	34,2	3,65	19,2	42,5	38,3	9,29	8,13
		18,6	52,1	29,3	3,21	24,3	31,4	44,3	9,40	7,93
Черкесы	♀	11,5	50,5	38,0	3,53	13,5	44,0	42,5	9,58	8,47
		6,7	53,4	39,8	3,62	10,2	37,3	52,5	9,79	8,84
Абазинцы	♂	15,4	44,4	40,3	3,50	10,3	44,9	44,9	9,69	8,54
		12,5	46,6	40,9	3,57	22,8	42,0	35,2	9,25	8,10
Кабардинцы	♀	10,7	60,7	28,6	3,26	17,2	51,5	31,4	9,29	7,94
		19,0	46,5	34,5	3,31	13,1	51,2	35,7	9,45	8,01

Таблица 3

Окончание главных ладонных линий В и С

Группа	пол	Линия В									Линия С										
		3	4	5'	5"	6	7	8	9	0	4	5'	5"	6	7	8	9	10	11	X	0
Абхазы Очамчирского р-на	♂	2,0	—	10,0	30,7	2,0	53,3	—	2,0	—	—	—	10,0	4,0	18,0	0,7	44,7	0,7	2,0	17,3	2,7
	♀	0,9	0,9	10,0	30,9	2,7	51,8	1,8	0,9	—	—	—	11,8	3,6	22,7	10,9	35,5	0,9	0,9	16,4	7,3
Абхазы Гудаутского р-на	♂	0,5	1,5	10,0	40,0	1,0	44,5	1,0	1,5	—	—	1,0	8,0	1,5	26,0	0,5	36,0	1,5	1,5	20,5	3,5
	♀	2,0	—	12,0	35,0	2,0	44,0	1,0	1,0	—	—	—	9,0	—	19,0	—	47,0	1,0	1,0	18,0	5,0
Абхазы Гагрского р-на	♂	0,8	0,8	9,8	45,1	1,6	41,0	0,8	—	—	—	—	13,9	0,8	24,6	—	35,2	0,8	—	20,5	4,1
	♀	—	—	12,7	40,7	—	45,8	—	0,8	—	—	—	12,7	0,8	25,4	—	40,0	0,8	—	15,3	5,1
Абхазы суммарно	♂	1,1	0,9	9,9	38,3	1,5	46,4	0,6	1,3	—	—	0,4	10,2	2,1	23,1	0,4	38,6	1,1	1,3	19,5	3,4
	♀	0,9	0,3	11,6	35,7	1,5	48,2	0,9	0,9	—	—	—	11,3	1,5	22,6	0,3	40,5	0,6	0,9	16,5	5,8
Мегрелы	♂	—	3,4	13,5	42,6	1,3	37,8	0,7	0,7	—	—	—	19,6	—	29,7	—	36,5	0,7	0,7	11,5	1,4
	♀	—	—	12,5	27,7	2,7	56,3	—	—	—	—	—	6,3	—	25,0	2,7	48,2	—	—	11,6	6,3
Имеретины	♂	—	—	17,9	37,9	2,1	36,4	1,4	4,3	—	—	0,7	10,7	0,7	18,6	—	42,1	7,1	—	15,7	4,3
	♀	1,5	1,5	14,6	37,7	5,4	36,9	0,8	1,6	—	—	0,8	14,6	0,8	18,5	—	50,0	3,1	—	10,8	1,5
Сваны	♂	—	—	11,3	30,6	—	56,3	1,8	—	—	—	—	7,5	—	18,8	—	46,3	1,2	—	10,6	15,6
	♀	—	—	11,4	34,3	1,4	51,4	—	1,5	—	—	—	7,1	—	15,7	—	41,4	—	—	18,6	17,1
Аджарцы	♂	1,9	—	13,1	36,3	—	46,2	—	2,5	—	—	—	6,9	1,3	35,0	—	45,0	0,6	0,6	7,5	3,1
	♀	1,2	—	15,9	35,4	3,6	42,7	1,2	—	—	—	—	7,3	—	35,4	—	45,1	1,2	—	6,1	4,9
Адыгейцы	♂	—	—	14,2	35,8	2,5	43,3	4,2	—	—	—	—	17,5	2,5	22,5	—	45,8	1,7	—	7,5	2,5
	♀	—	1,4	19,3	28,6	2,9	44,3	2,1	1,4	—	—	0,7	20,0	2,1	13,6	—	40,0	0,7	2	13,6	9,3
Черкесы	♂	—	—	17,0	33,0	3,0	45,5	1,0	—	0,5	—	—	11,0	3,0	24,0	1,5	42,5	1,0	—	10,0	7,0
	♀	—	0,9	11,0	33,1	0,9	52,6	1,7	—	—	—	—	8,5	0,9	22,9	2,5	50,8	0,9	—	8,5	5,1
Абазины	♂	—	—	13,6	34,7	2,8	47,2	1,7	—	—	—	—	8,5	2,3	23,9	2,3	46,6	1,7	—	10,8	3,9
	♀	—	3,4	1,70	36,4	2,3	38,6	2,3	—	—	—	—	15,9	5,7	26,1	—	35,2	2,3	—	12,5	2,3
Кабардинцы	♂	1,4	5,0	14,3	41,4	4,3	33,6	—	—	—	0,7	5,7	7,1	2,9	28,6	0,7	40,7	—	—	12,1	1,4
	♀	—	—	14,3	50,0	—	33,3	2,4	—	—	—	—	9,5	4,8	23,8	—	34,5	1,2	—	19,0	7,1

Истинные ладонные узоры

Группа	Пол	Hy	Th/I	II	III	IV
Абхазы Очамчирского р-на	♂	33,3	5,3	12,7	46,7	45,3
Абхазы Гудаутского р-на	♀	34,5	0,9	—	37,3	47,3
Абхазы Гагрского р-на	♂	32,5	4,0	1,5	33,0	43,0
Абхазы суммарно	♀	31,0	7,0	3,0	45,0	38,0
Мегрелы	♂	22,9	4,9	—	31,1	41,0
Имеретинцы	♀	33,9	5,9	1,7	39,0	47,5
Сваны	♂	30,3	4,7	4,7	36,9	43,2
Аджарцы	♀	33,2	4,6	1,5	40,2	44,5
Адыгейцы	♂	38,5	4,1	8,8	31,8	58,1
Черкесы	♀	31,3	9,8	3,6	40,2	33,9
Абазинцы	♂	40,0	8,6	5,0	39,3	35,7
Кабардинцы	♀	35,4	8,5	1,5	40,8	48,5
	♂	38,8	6,9	5,0	43,1	42,5
	♀	38,6	12,8	4,3	37,1	38,6
	♂	37,5	9,4	7,5	26,3	38,1
	♀	48,8	1,2	3,7	34,1	40,2
	♂	22,5	12,5	5,0	36,7	51,7
	♀	32,1	5,0	3,6	38,6	48,6
	♂	36,5	7,0	8,5	34,0	44,0
	♀	33,9	3,4	5,9	33,9	25,4
	♂	36,9	2,3	4,5	38,6	39,8
	♀	29,6	4,5	3,4	30,7	53,4
	♂	37,9	6,4	3,6	35,7	47,8
	♀	42,9	13,1	—	26,2	47,6

Таблица 5

Осевые ладонные и добавочные межпальцевые трирадиусы

Группа	Пол	t	t'	t''	tt'	tt''	t't''	tt't''	0	t''t''	tt	Добавочные межпальцевые трирадиусы				
												IV	III	II	суммарно	
Абхазы Очамчирского р-на	♂	52,7	22,0	12,7	3,3	6,7	—	1,3	1,3	—	—	15,3	—	12,7	28,0	
		57,3	23,6	6,4	1,8	8,2	0,9	—	1,8	—	—	10,0	—	—	10,0	
		60,0	17,5	6,0	3,5	8,5	1,5	0,5	2,5	—	—	12,0	—	1,5	13,5	
Абхазы Гудаутского р-на	♂	58,0	21,0	3,0	6,0	4,0	3,0	—	5,0	—	—	15,0	1,0	3,0	19,0	
		62,3	29,5	3,3	0,8	4,1	—	—	—	—	—	6,6	—	—	6,6	
		42,4	31,4	11,0	5,1	5,9	2,5	—	1,7	—	—	11,9	—	1,7	13,6	
Абхазы Гагрского р-на	♀	58,3	22,0	7,4	2,8	6,8	0,6	0,6	1,5	—	—	11,7	—	4,7	16,4	
		52,1	25,6	7,0	4,3	6,1	2,1	—	2,7	—	—	12,2	0,3	0,6	13,1	
		50,0	14,9	8,8	4,7	18,2	2,7	0,7	—	—	—	17,6	—	8,8	26,4	
Абхазы суммарно	♂	58,9	15,2	12,5	1,8	8,9	—	—	2,7	—	—	10,7	—	3,6	14,3	
		46,4	20,7	10,7	3,6	7,9	8,6	—	2,1	—	—	15,0	—	5,0	20,0	
		48,5	26,2	9,2	6,9	6,9	0,8	—	1,5	—	—	17,8	3,1	1,6	22,5	
Имеретинцы	♀	45,0	31,3	10,6	5,6	3,1	2,5	1,3	—	—	—	22,5	—	5,0	27,5	
		48,6	31,4	10,0	1,4	4,3	1,4	1,4	1,4	—	—	18,6	—	4,3	22,9	
		55,0	18,7	3,8	3,2	10,6	—	0,6	8,1	—	—	12,5	—	7,5	20,0	
Сваны	♂	54,9	9,8	9,8	7,3	10,9	2,4	1,2	3,7	—	—	9,8	—	3,6	13,4	
		76,7	13,3	—	2,5	1,7	0,8	—	5,0	—	—	19,2	—	5,0	24,2	
		63,6	24,3	3,6	2,1	5,0	—	—	0,7	—	0,7	13,6	0,7	3,6	17,9	
Аджарцы	♀	47,5	30,0	6,5	5,0	7,5	2,0	0,5	—	—	—	1,0	18,0	9,5	27,5	
		54,2	27,1	4,2	4,2	5,1	—	—	3,4	—	—	1,7	11,0	—	5,1	16,1
		43,8	23,9	11,4	6,8	6,8	3,4	1,1	2,8	—	—	16,5	0,6	4,5	21,6	
Абазинцы	♂	63,6	27,3	1,1	—	4,6	2,3	1,1	—	—	—	13,6	—	3,4	17,0	
		70,0	11,4	4,3	7,9	6,4	—	—	—	—	—	14,3	0,7	3,6	18,6	
		58,3	29,8	2,4	2,4	6,0	1,2	—	—	—	—	14,3	—	—	14,3	

вочным межпальцевым трирадиусам. В основном эти различия можно отнести за счет абхазов Очамчирского р-на, так как в шести случаях попарных достоверных различий пять приходится на сочетания с участием очамчирских абхазов. Приблизительно так обстоит дело и с женской группой: суммарная выборка неоднородна по t и Th/I , что в значительной степени связано с характеристиками абхазок Очамчирского р-на.

Выводы

1. Дерматоглифические признаки распределяются среди изученных популяций Западного Кавказа дисперсно и широко варьируют.

2. Каждая популяция характеризуется своеобразным сочетанием величин признаков. Выделить сходные типы сочетаний не представляется возможным.

3. Указанные закономерности прослеживаются как в мужских, так и в женских группах. При этом не наблюдается соответствия величин признаков в мужских и женских группах в этническом аспекте.

4. Различия между тремя территориальными группами абхазов по сумме признаков приблизительно одинаковы. Очамчирских и гагрских абхазов (мужчин) разделяет большее расстояние.

5. По сумме признаков сводная абхазская серия ближе всего к аджарцам и наиболее далека от сванов.

К. Никкуль

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ОЛЕНЕВОДСТВА У СААМОВ

(ПО МАТЕРИАЛАМ РАЙОНА СУЕНЬЕЛЯ)

Несколько веков назад жизненный уклад саамов был тесно связан с природными условиями. Добывая первобытными средствами дичь и рыбу, они вполне могли прокормить себя. Равновесие между человеком и природой сохранялось в течение столетий и было нарушено только под влиянием происходивших в природе изменений. Прежде всего уменьшилось количество дичи, что было связано с появлением переселенцев с юга, владевших огнестрельным оружием. На карте, составленной на основании литературных материалов Г. Тегенгрена (рис. 1), обозначены районы Финляндии, где встречались дикие олени в середине XVIII в. Более темной штриховкой выделены местности, где диких оленей было больше всего. Еще на рубеже XVIII—XIX вв. стада диких оленей водились в восточной части гряды сопок Суелотшиеля и за восточной границей Финляндии. Если сравнить эту карту с картой, составленной Т. И. Итконеном, где показывается отступление саамов к северу Финляндии (рис. 2), то нельзя не отметить прямую связь между районами обитания диких оленей и расселением саамов.

Судя по рассказам самих саамов, олени представляли собой важнейший объект охоты. Ловля диких оленей производилась различными средствами: с помощью ям, вырытых на их пути, установкой изгороди — *аггес* (обычно между двумя озерами), в которую вставлялись сплетенные из корней осины силки. Остатки подобной изгороди сохранились до наших дней (см. рис. 3).

В 1930-х годах я занимался межевыми работами в саамских угодьях в районе р. Лотта, носящей саамское название Суеньель. Благодаря изолированному местоположению, население этих мест сохранило свой чисто саамский характер, а знакомство с проживавшими здесь саамами помогло мне в изучении истории этого народа. Мне удалось записать здесь 1597 саамских названий местностей. Когда я распределил эти названия по группам в соответствии с их происхождением, то заметил, что сами саамы не смогли указать на происхождение 201 названия. Это, по-видимому, объясняется тем, что они очень древние. 192 названия связаны с рыболовством, 171 — с дикими и домашними оленями. На прилагаемой карте (рис. 4) черными кружками отмечены места, носящие названия, связанные с домашними, а светлыми кружками — с дикими оленями (первых 79, вторых 71). Черными квадратиками на карте отмечены те места, происхождение названий которых невозможно определить — их нельзя с уверенностью отнести ни к одной из выделенных мною групп. Приведу для примера такое название местности, как Чоарвьегге (Роговое болото). Оно может быть отнесено как к диким, так и к приручен-

ным оленям, но также может быть связано и с рогами лося. Судя по нашей карте, названия, происходящие от домашних оленей, встречаются поблизости от озер, т. е. вблизи летних жилищ, тогда как названия местностей, связанные с дикими оленями, разбросаны по всей карте.

На диких оленей саамы охотились ради мяса и шкуры. Домашние же олени использовались как вьючные или упряжные животные при перемене кочевья или переезде к озерам (находившимся в пределах родового угодья) на время рыбной ловли. Сезонные миграции были тесно связаны с рыболовством, и прежде всего с периодом нереста. Благодаря достаточному числу диких оленей саамской семье хватало нескольких транспортных оленей, и убой домашних животных не был необходимостью. Наличие диких оленей в местах расселения саамов заставляло последних постоянно следить за тем, чтобы домашние олени не смешивались с дикими. Для этого устанавливалась летняя изгородь; домашних оленей содержали поблизости от летних угодий и пастбищ. Такие лет-

ние пастбища назывались *палгаспайкк*. Здесь для оленей выстраивались особые навесы — *леяхкк*, где эти животные были защищены от зноя и комаров. Исходящий от оленей сильный запах отгонял комаров, а в некоторых случаях комаров изгоняли при помощи окуривания.

Данные о суеньельском оленеводстве часто основаны на имеющихся в литературе неточных источниках. Следует делать различие между наблюдениями исследователей и толкованием этих наблюдений. Во всяком случае имеются данные о том, что в Суеньеле более 100 лет назад было мало домашних оленей. Это отмечают многие исследователи. Так, Я. Фельман, совершивший летом 1829 г. переход по реке от Куола до Инари, отмечал, что на каждое хозяйство саамов приходилось не более шести голов оленей. Всего же здесь насчитывалось около 50 хозяйств. Следовательно, общее число домашних оленей не превы-

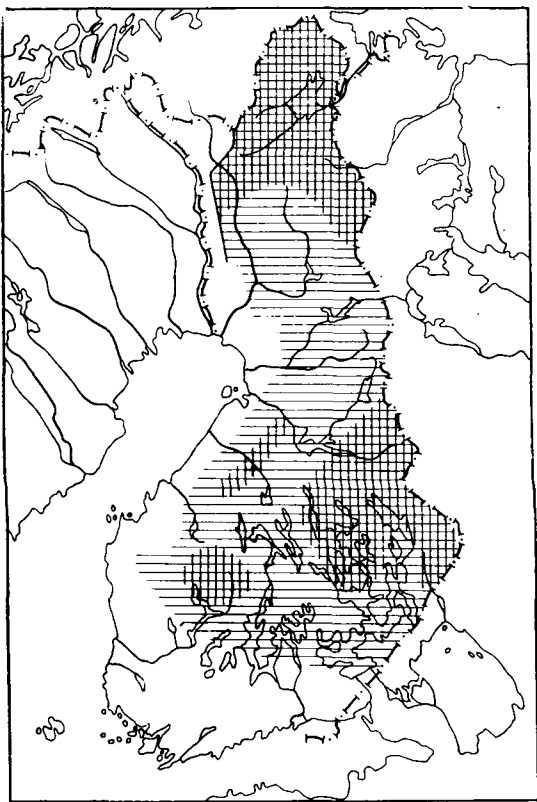


Рис. 1. Районы Финляндии, где в середине XVIII в. водились олени. Составлена по данным Тегенгрена (объяснение условных обозначений см. на стр. 131)

шало 300. М. А. Кастрен и Э. Ленрот прошли всю местность Суеньель в 1842 г. Из путевых заметок Кастрена видно, что стада домашних оленей в то время были очень невелики. Невольно удивляешься сведениям С. Паулахарью о том, что незадолго до первой мировой войны в саамских хозяйствах имелись олени стада по 100 и даже 800 голов, а также заключению географа В. Таннера, что в Суеньеле число домашних оленей доходило в то время до 9 тыс. Основываясь на этих данных, приходится допустить, что за 80 лет число оленей увеличилось в 30 раз. По-ви-

димому, увеличение оленьих стад связано с тем, что в XIX в. произошли значительные изменения в промысловой жизни саамов.

Нет оснований считать сообщения упомянутых выше исследователей ошибочными. Я думаю, что их данные о количестве оленей достоверны, но ошибка, очевидно, заключается в неправильном их истолковании. Если Кастрен считает, что наличие озер способствовало смене «тяжелых условий труда оленевода более легким рыболовным промыслом», то он, безусловно, ошибается: просто в связи с наличием большого числа диких оленей саамы не ощущали особой нужды в оленях домашних. Таннер же отмечает, что в начале XIX в. саамы были преимущественно оленеводами. Что же касается Фельмана и Кастрена, то, быстро пройдя эту местность, они не смогли достаточно основательно ознакомиться с промыслом саамов; к тому же в то время поголовье оленей могло почему-либо уменьшиться. Таннер на основе данных конца XIX в. распределяет важность промыслов саамов в такой последовательности: оленеводство, рыболовство, охота. Однако Фельман и Кастрен считали рыболовство более важным промыслом у саамов, и с этой точкой зрения согласны Н. Н. Харузин и Т. И. Итконен. Таннер, хорошо знакомый с историей саамов Суеньеля, восхищается их умением обращаться с оленями и делает вывод, что саамы имели издавна большие стада оленей. Они занимались улучшением породы оленей, и их животные были действительно крупными и сильными. В более раннее время, когда у саамов стада оленей были небольшие, они запрягали в сани и важенок, и этот обычай сохранился у них и тогда, когда стада стали больше. С появлением у саамов крупных оленьих стад и одновременным сокращением числа диких оленей исчезла необходимость в устройстве изгородей для домашних оленей. Олени паслись преимущественно на родовых пастбищах саамов, и сбор их осенью не представлял особых трудностей.

Но следует отметить, что это сокращение поголовья диких оленей, которое шло одновременно с развитием у саамов оленеводства, не было отмечено названными выше исследователями с достаточной ясностью. К такому заключению я пришел в 1930-х годах, когда, встречаясь с саамами, прислушивался к их рассказам, которые они слышали от родителей. Как мы уже отмечали, домашних оленей приходилось содержать в прошлом на огороженных пастбищах, и увеличение площадей пастбищ из поколения в поколение является доказательством постепенного увеличения стад. Этот процесс в прошлом столетии шел параллельно с уменьшением поголовья диких оленей. Таким образом, можно сказать, что самый факт постройки изгородей как бы позволяет согласовать точ-

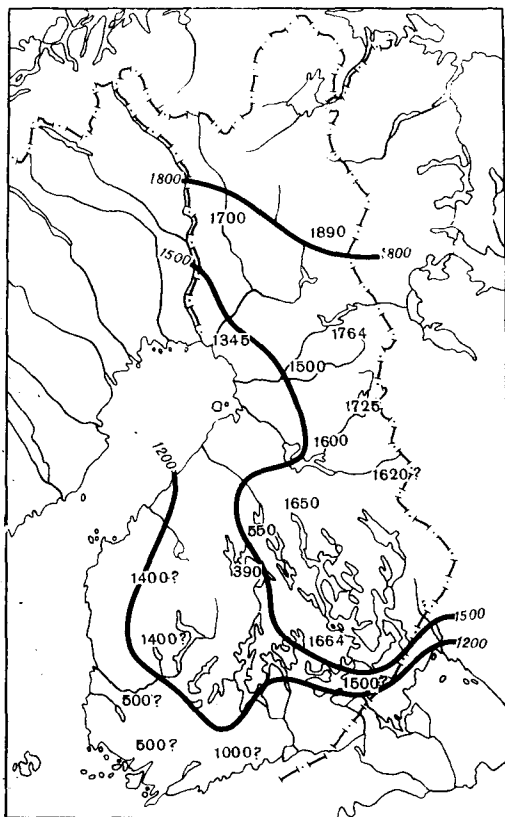


Рис. 2. Отступление саамов к северу Финляндии. Составитель Т. И. Итконен



Рис. 3. Остатки изгороди аггес. Фото автора, сделано на границе охотничьих угодий Суеньель и Пазреки на сопке Стуоритшиель

ки зрения Фельмана и Кастрена, с одной стороны, и мнение Паулахарью и Таннера — с другой. Я привожу конкретные примеры того, как шло это развитие в районе пяти указанных ниже озер.

Озеро Пайй Аккяур. Первую изгородь здесь установил Сиргий Ромман из рода Сверлов приблизительно в 1825 г. Площадь пастбища составляла тогда примерно 1 км^2 . Сюда, однако, пробрались волки, которые нанесли большие потери поголовью оленей. Тогда Ромман перевел стадо на остров с противоположной стороны озера; южную часть острова он огородил так, чтобы олени не могли переходить через небольшой пролив. Семья Роммана жила на острове, носящем название Палгассуело (Пастбищный остров). Здесь Ромман для защиты оленей от комаров выстроил навес. Расстояние от северной части острова до соседних островов и до материка было большое, поэтому олени не пытались переплывать с острова на материк или другие острова. За животными можно было наблюдать из окон. Сыновья Роммана — Тэппан и Хуоттар — дважды увеличивали площадь пастбищ. Сын Тэппана Карп в свою очередь увеличил площадь пастбища и установил изгородь, окружавшую территорию приблизительно в 15 км^2 . Его двоюродный брат Иллеп построил изгородь, охватывающую уже площадь более 20 км^2 . Два последних увеличения пастбища были осуществлены в конце XIX в. Есть основания предположить, что изгороди были выстроены между 1825 и 1900 гг. Впоследствии изгородью перестали пользоваться, так как перестали держать домашних оленей. Навес, выстроенный Иллепом, был превращен в хранилище для рыбы.

Озеро Пайй Няннамяур. На этом озере были угодья рода Федоровых. Изгородь была установлена Онташком Рейгом приблизительно в 1800 г. Он же или его сын Олс позднее установили другую изгородь, которая огораживала пастбище полуострова, выходящего на Вуелл Няннамяур. Перешеек, расположенный между верхней и нижней частями озера, было легко наблюдать из селения, которое находилось на южном берегу верхнего озера. Примерно 100 лет назад там был построен навес для оленей. Еще в 1930 г. от этого навеса оставался большой камень под названием Лэкиедге. В начале нынешнего столетия

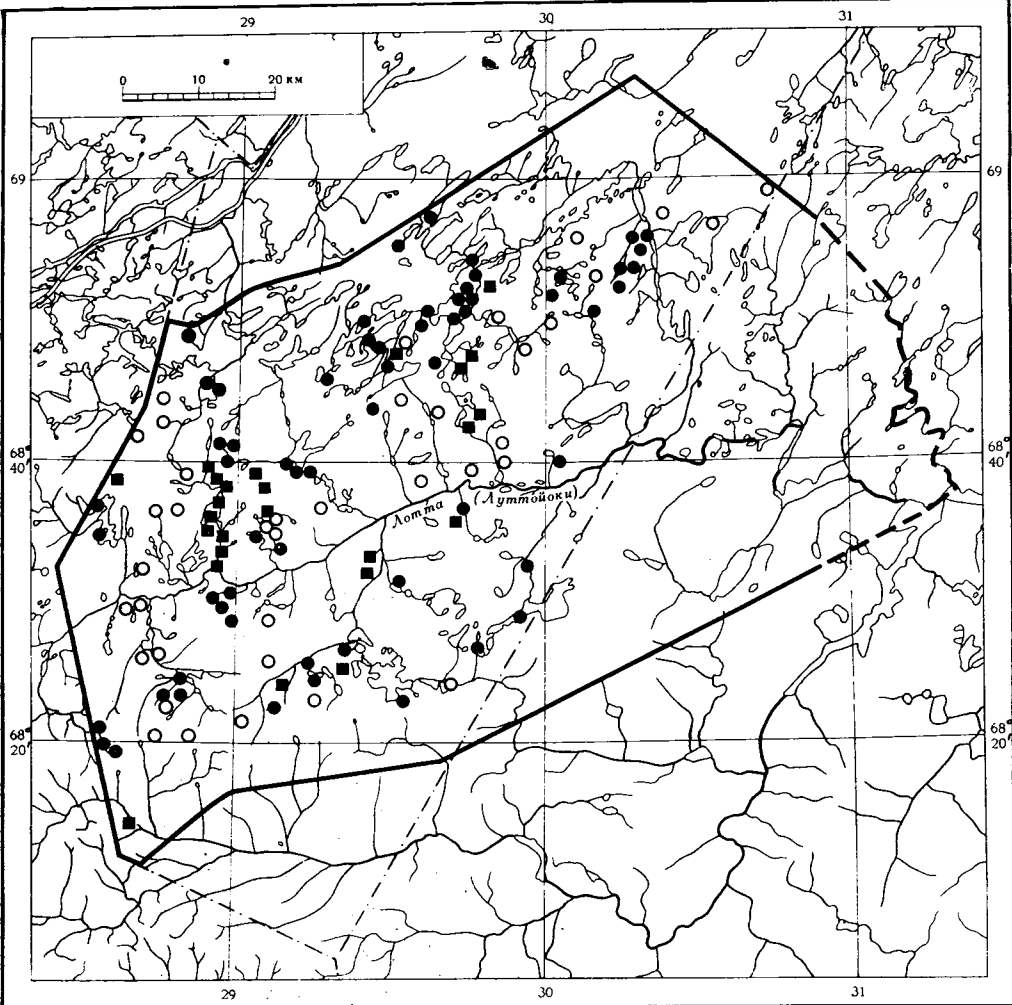


Рис. 4. Район Суеньеля (объяснение условных обозначений см. на стр. 131)

Тэмм Иллеп выстроил от Пуерр-лухта к Чуолл-лухту изгородь, отделяющую пастбище Куотстшоанярга. В отличие от изгороди *aggес*, используемой для ловли диких оленей, *чуолл* обозначает изгородь, устанавливаемую для того, чтобы олени не переходили через нее. Предполагается, что еще до Рейга имелась изгородь, установленная Еункой Пэттом приблизительно в 1775 г. Около 1910 г. Иллеп увеличил площадь пастбища, обнеся изгородью местность, расположенную между верхней и нижней частями озера.

Озеро Алгажяур. Здесь изгородь была установлена приблизительно в 1850 г. Крессаном Олсом из рода Гавриловых. Будучи бездетным, он усыновил Олса Пэтта из рода Мошниковых. В конце XIX в., приблизительно в 1890 г., Пэтт поставил новую изгородь между озерами, увеличив площадь пастбища примерно до 20 км².

Озеро Вуеннияур. Оно первоначально принадлежало роду Гавриловых, но позже по решению деревенского собрания было передано Семеновым. Однако еще в начале XIX в. один полуостров на восточном берегу принадлежал Гавриловым. Здесь изгородь была установлена в прошлом столетии. Затем Илсе Оск (умер в 1917 г.) поставил дру-

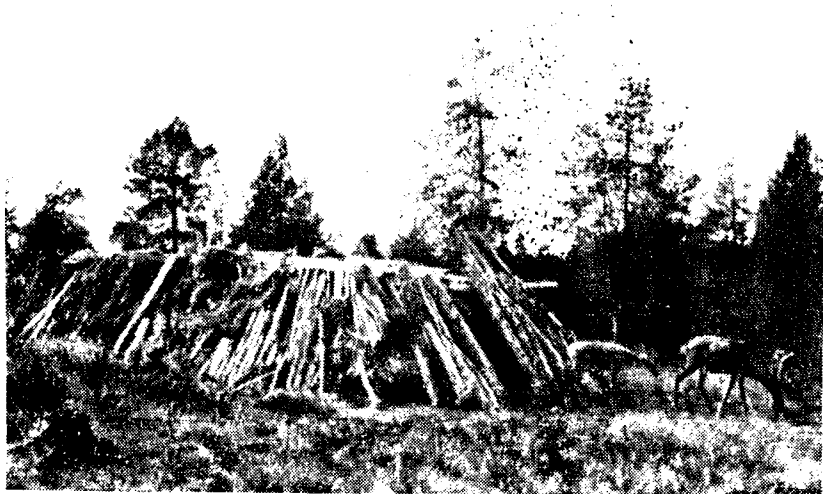


Рис. 5. Навесы для летнего содержания оленей

гую изгородь. Что касается изгородей Семеновых, находившихся в западной части озера, то более старая огораживает летнее пастбище Устеннярг, а следующая, более протяженная, должно быть, относится к 1910 г.

Озеро Мадзажяур. Здесь располагались угодья Фофановых. Около 1840 г. Павел Васк огородил небольшое пастбище в северной части озера. Его наследники постепенно увеличивали площадь. В 1885 г. сын Павла Ондра Васк расширил пастбище примерно вдвое. В годы первой мировой войны его брат Евван Васк поставил новую изгородь, значительно увеличив пастбище. Последнюю, самую протяженную, изгородь поставил второй брат Ондра, Матви, со своим сыном Онташеком.

Подводя итоги, можно сказать, что саамы прошли путь от первобытной охоты к продуктивному оленеводству. Во всяком случае хозяйство



Рис. 6. Навьюченный олень

описываемых нами саамов Суеньеля развивалось именно в таком направлении. Этому способствовало и то, что они долгое время сохраняли старые обычаи, принесенные из Арктики, и полукочевой образ жизни.

У финнов это развитие шло другим путем. Они переняли от саамов искусство оленеводства, но, так как они были земледельцами, оленеводство осталось у них второстепенным занятием.



ПОИСКИ ФАКТЫ ГИПОТЕЗЫ

В. А. Вельгус

АЛЕКСАНДРИЙСКИЕ ФОКУСНИКИ В ДРЕВНЕМ КИТАЕ

(ИЗ ИСТОРИИ КУЛЬТУРНЫХ СВЯЗЕЙ НАРОДОВ
СРЕДИЗЕМНОМОРЬЯ И ВОСТОЧНОЙ АЗИИ)

При изучении старинных источников одной из наиболее трудных задач зачастую является идентификация этногеографических названий. Спорные, а порой даже и общепринятые, но недостаточно аргументированные отождествления требуют дополнительных поисков, повторного изучения сведений самих источников и сопоставления их с данными других наук.

В китайских исторических сочинениях — «Записях историка» Сыма Цяня (II—I вв. до н. э.) и «Истории Ранней династии Хань» Бань Гу (I в. н. э.) упоминается иноземная страна Ли-сянь (Ли-сюань, Ли-цзянь). Принимая предложенную еще в начале нашего века японским востоковедом Сиратори Куракити¹ и французским синологом П. Пельо² идентификацию Ли-сянь с Александрией в Египте, мы считаем необходимым попытаться найти какие-то дополнительные и более фундированные свидетельства, подтверждающие справедливость такого отождествления, так как вплоть до наших дней в литературе высказывались весьма противоречивые мнения относительно того, что скрывается под названием «Ли-сянь». Изучая в этой связи соответствующие сведения китайских источников, мы заинтересовались имеющимися в них данными о заморских фокусниках в Китае, а также доступными для нас сегодня сведениями из истории фокусов вообще, которые могли бы помочь более правильно истолковать эти данные.

В 123-й главе «Записей историка» и в 96-й главе части первой «Истории Ранней династии Хань», там, где речь идет об ответном посольстве из Парфии в Китай (которое прибыло в Китай, по-видимому, между 111 и 105 гг. до н. э.), упоминаются искусные фокусники-иллюзионисты из страны Ли-сянь (Ли-цзянь), привезенные этим посольством в дар Ханьскому двору.

И в том и в другом источнике, в тех же главах, при описании страны Тяо-чжи зафиксировано, что эта страна «... известна искусными фокусниками-иллюзионистами». Тяо-чжи была расположена в Нижней Месопотамии и отождествляется с Харакеной или с ее главным городом — Хараксом (Спасину Харакс).

Итак, получается, что китайские сведения II—I вв. до н. э. и I в. н. э. сообщают о существовании двух стран, знаменитых в те времена своими

¹ Сиратори Куракити, Относительно страны Да-цинъ и страны Фулиндъ, «Сигаку дзасси», т. XV, № 4, 1904, стр. 25, 26 (на японск. яз.).

² P. Pelliot, Li-Kien, autre nom du Ta-t'sin, «T'oung Pao», t. XVI, 1915, p. 690, 691.

фокусниками-иллюзионистами. Одну из них — Ли-сянь (Ли-цзянь) ученые локализуют то в Петре (Рекем — к северо-востоку от Акабского залива в Красном море), то в Рагах в Мидии (возле Тегерана), то в Гиркании (возле Каспийского моря), то в Малой Азии, то в Александрии в Египте и т. д.; другую страну — Тяо-чжи локализуют в районе южнее слияния рек Тигра и Евфрата.

Вопрос о фокусниках-иллюзионистах становится, таким образом, весьма важным. И если в конце концов окажется возможным проследить и убедительно удостовериться в том, что фокусники-иллюционисты из страны Ли-сянь, прибывшие в Китай с парфянским посольством, были действительно пришельцами из Александрии, Египта, то это будет чрезвычайно веским аргументом в пользу верности фонетического отождествления Ли-сянь и Ли-цзянь с Александрией в Египте. А некоторые выводы культурно-исторического плана последуют сами собой.

Положение о том, что александрийские фокусники были знамениты с древних времен, впервые выдвинул в 1915 г. П. Пельо в качестве дополнительного довода при отождествлении Ли-сянь (Ли-цзянь) с Александрией в Египте.

Мнение Пельо нашло серьезного сторонника в лице Сиратори Куракити. Последнему не было известно, на основании каких материалов Пельо утверждал, что александрийские фокусники были знамениты в древности, так как источники для своих доводов Пельо не привел. Сиратори Куракити не располагал также данными о том, когда и где возникло иллюзионное искусство. Однако, хорошо зная обстоятельность исследований Пельо, он всецело полагался на авторитет французского ученого.

Опровергая мнение своего японского коллеги профессора Фудзита Тохати о том, что фокусники-жонглеры из страны Ли-сянь (Ли-цзянь) могли быть мидийскими магами, центр деятельности которых находился в Рагах, Сиратори Куракити справедливо отмечал, что их деятельность не имела никакого отношения к публичным выступлениям. Мидийские маги, как указывал Сиратори Куракити, представляли собой религиозный коллектив, они читали проповеди, раздавали амулеты, отвращали зло, изгоняли бесов, очищали души, молились за здоровье и т. п. (этим же занимались также и зороастрийцы).

Далее, опираясь на данные китайских источников вплоть до источников VII—VIII вв., Сиратори Куракити показал, что фокусники из стран, расположенных к Китаю намного ближе, чем Александрия, попали в Китай значительно позднее, чем фокусники из Ли-сянь (Ли-цзянь). Так, Сиратори Куракити нашел, что индийские фокусники появились в Китае между 307 и 322 гг. и именно в этот период познакомили Китай со своим иллюзионным искусством. Затем, например в 448 г., в Китай прибыли фокусники-иллюционисты с северо-запада (из некоей страны Пань-Пань). Это обстоятельство окончательно убеждает Сиратори Куракити в том, что родиной и центром деятельности жонглерско-иллюзионного искусства была Александрия в Египте.

Сиратори Куракити был первым и единственным ученым, который поставил перед собой задачу разобраться в вопросе о фокусниках на китайских материалах, подойти к этому вопросу в историческом и этнографическом плане и выяснить, насколько можно быть уверенным в том, что фокусники из Ли-сянь действительно пришли из Александрии. Но Сиратори Куракити не мог сравнить данных китайских источников с литературой об иллюзионистах-магах на западноевропейских языках, так как в те времена (1904—1931 гг.) и литературы этой было мало, и была она не столь доступна, как теперь. Не удивительно поэтому, что в рассуждениях Сиратори Куракити встречается ряд неточностей. Однако попыток, подобных той, которую предпринял Сиратори Куракити, никто из исследователей не предпринимал.

В наши дни уже довольно широко известен папирус Весткар, в котором содержатся народные предания, сказки, сложившиеся около 2400 г. до н. э. и записанные приблизительно в XVI в. до н. э. Одно из преданий рассказывает о некоем иллюзионисте Джеди — человеке, не состоявшем на царской службе и проживавшем в Джед-Снофру (Снефру), около современного Медума, южнее Каира, во времена фараона Хуфу (Хеопса, правившего около 2900 г. до н. э.). В папирусе так говорится об искусстве, продемонстрированном Джеди перед фараоном: «Тогда принесли гуся и отрезали ему голову. Положили гуся у западной стены зала приемов, а его голову положили у восточной стены зала приемов. Джеди проговорил магические заклинания, и поднялся гусь и пошел, переваливаясь, и голова его тоже поднялась ему навстречу. И вот голова гуся вновь приросла к шее. Встрепенул гусь и загоготал... Принесли Джеди утку, и с нею он сделал то же самое. Затем фараон приказал привести быка. Отрубили ему голову и повергли на землю. И вот произнес Джеди свои магические заклинания, и бык встал и пошел за ним сам, без поводка, который волочился по земле»³.

Из папируса мы узнаем, что Джеди был человеком многосемейным, славился как великий чародей, имел много книг и что относились к нему с почтением: даже мудрецы царствующего рода. Поэтому, хотя папирус и свидетельствует о раннем развитии иллюзионного искусства в древнем Египте, мы не можем причислить Джеди к фокусникам-профессионалам, тем более странствующим. Он скорее напоминает нам тех волшебников-чародеев, которые еще задолго до появления alexсандрийских фокусников-жонглеров приходили в Китай откуда-то из западных земель. Подобные чародеи были и у самих китайцев. По-видимому, у китайцев в первых веках до нашей эры существовали и свои гипнотизеры-дрессировщики. Мы располагаем, в частности, сведениями о некоем Хуан-гуне, который умел заставлять тигра подчиняться себе. Он пользовался при этом, как сообщают источники, заклинаниями и приемами народов юэ (родственных малайско-полинезийским народам). Однако все это, как и эпизод с Джеди в древнем Египте, не имеет никакого отношения к выступлениям перед публикой на зрелищных представлениях. Вряд ли это были профессионалы в нашем понимании, и они не странствовали ради заработка.

Повествование о Джеди важно для нас и тем, что оно сообщает о родине и примерной эпохе возникновения трюка с обезглавливанием. Этот трюк просуществовал многие тысячелетия, вплоть до наших дней. И как мы увидим далее из китайского текста, тот же трюк, но более усовершенствованный, когда переставлялись головы быков лошадям и наоборот, привезли с собой alexсандрийские фокусники в 120 г. в Китай.

В наши дни мы уже располагаем сведениями о том, что еще задолго до существования Александрии иллюзионным искусством славились Египет и Ассирия-Вавилония, египетские и халдейские маги. Само слово «маг» происходит от халдейского «магдим» (так называли ассирийско-вавилонских астрологов). Египетские и халдейские маги-иллюзионисты многие века слыли лучшими специалистами в своей области и оказали влияние на развитие искусства своих собратьев в других странах. Меньшей славой пользовались индийские маги, их искусство котировалось ниже, чем искусство египтян и халдеев. Известно также, что активная деятельность египетских, халдейских и индийских бродячих фокусников начинается с VI в. до н. э., когда образовалось Персидское царство и рухнули границы многих государств, вошедших в эту монархию. Однако с возникновением Александрии в Египте этот город становится центром иллюзионного искусства: «В Александрии, крупнейшем центре эллини-

³ Полный текст см. «Фараон Хуфу и чародеи» (пер. И. С. Кацнельсона и Ф. Л. Мендельсона), М., 1956, стр. 65—68.

стической культуры, восточные мистики встречаются с греческими философами, египетские и ассирио-вавилонские маги — с греческими учеными. Магия, неразрывно связанная с иллюзионным искусством, получает новый толчок для своего развития»⁴.

Халдеи, выходцы из Ассирии, большей частью занимались знахарством, предсказанием будущего, с помощью иллюзионных трюков пытались убедить зрителя в том, что они являются посредниками для общения с душами умерших.

Если говорить о Китае, то туда, как свидетельствуют китайские исторические источники, прибывали не знахари, а фокусники-жонглеры. Следовательно, надо полагать, не халдеи, не выходцы из района Вавилонии, а именно александрийцы. Чрезвычайно веским доводом в пользу этого предположения являются сообщения «Краткой истории династии Вэй» (составлена в III в.) и текста 116-й главы «Истории Поздней династии Хань» (составлена в 445 г. на основании более ранних источников и описывает события 25—220 гг.).

В «Краткой истории династии Вэй» читаем:

«...Страна Да-цинъ (район Сирии, Финикии, Палестины и Египта с центром в Александрии) называется еще Ли-цзянь. Она лежит на западе огромного моря (имеется в виду Персидский залив и северная часть Индийского океана), которое расположено к западу от стран Ань-си (Парфия) и Тяо-чжи (Спасину Харакс)... Эта страна находится на западе от моря и потому в обиходе обычно называют ее „Хай-си“ („Страной на западе от моря“). У ее народа очень распространены фокусники. Они могут изрыгать огонь изо рта, сами себя связывать и развязывать, подпрыгивая, [жонглировать ногами с] двенадцатью шарами [и делают все это] необыкновенно ловко и искусно...»⁵.

В 116-й главе «Истории Поздней династии Хань» есть место, где идет речь о посольстве из страны Шань (находилась в восточном районе современной Бирмы). Текст этого места гласит:

«...В первом году Юн-нин (120 г. н. э.) от Юн-ю-дяо, правителя страны Шань, снова прибыло посольство ко двору с поздравлениями и поднесло в дар музыкантов, а также фокусников, которые могли совершать превращения [вещей], изрыгать огонь, отделять свои конечности, переставлять головы быков лошадям [и наоборот], а также искусно подпрыгивая, [с помощью ног жонглировать] шарами, число которых доходило до десяти. Фокусники сами говорили: „Мы люди из Хай-си“ (в переводе — „Страны на западе от моря“). А Хай-си — это и есть страна Да-цинъ. Страна Шань имеет [путь] сообщения с Да-цинъ в юго-западном направлении...».

Из этих двух текстов мы узнаем, что фокусники-жонглеры, прибывшие в Китай в 120 г., называли себя александрийцами. Они прибыли из Бирмы, а Бирма была связана морем (через р. Иравади) с Египтом, Александрией. Фокусники эти продемонстрировали усовершенствованный древний номер египетского происхождения с отрезанием и перестановкой голов животным. Но самое главное, они привезли с собой совсем еще свежий трюк — умение освобождаться от пут, а также вынимать свои конечности из суставов (по-видимому, оба эти номера тесно связаны один с другим).

Дело в том, что трюк освобождения от пут впервые продемонстрировал видный философ-мистик Аполлоний Тианский (Тиана в Каппадокии; Каппадокия была к этому времени уже римской провинцией). Аполлоний много путешествовал и не раз бывал в Египте, он продемонстрировал этот трюк перед римским императором Домицианом (81—96 гг.).

Сопоставление хотя бы этого факта с сообщениями китайских историков позволяет (учитывая при этом роль Александрии в развитии фокусов) полагать, что именно александрийские фокусники уже лет через 20—30 донесли трюк Аполлония до Китая.

⁴ А. А. Вадимов, М. А. Тривас, От магов древности до иллюзионистов наших дней, М., 1966, стр. 25, 26.

⁵ Здесь и далее в приводимых отрывках из источников в круглых скобках даются пояснения автора настоящей статьи.

Это довольно убедительный довод, который свидетельствует о том, что отождествление Ли-сянь (Ли-цзянь) из китайских источников с Александрией является вполне оправданным. Сходство трюка Апполония с номером, привезенным в Китай фокусниками из Ли-сянь, произошло мимо внимания ученых прежде всего потому, что мало кто занимался вопросом о фокусниках в Китае и о самих китайских фокусниках.

Невольно напрашивается вопрос: а что же индийские фокусники? Ведь и они издавна были довольно известны. Неужели они позже александрийских появились в Китае?

В буддийском сочинении «Лес жемчужин в саду закона», «Фа юань чжу линь» (составлено в 668 г. монахом Дао-ши) Сиратори Куракити обнаружил самое раннее прямое указание на то, что индийские фокусники-жонглеры прибыли в Китай между 307- и 332 гг. Как полагал японский ученый, эти фокусники впервые познакомили Китай с искусством индийских иллюзионистов.

Однако в том же сочинении, в 41-й главе, мы встретили следующий текст:

«...Сюй Гуан во времена царства У (220—280 гг.) постоянно демонстрировал иллюзионное искусство на рынках: [он] взращивал ююбы, апельсины, каштаны, [которые тут же вырастали], и сразу можно было есть их [плоды] а у тех, кто продавал [такие плоды] на рынке, они вдруг исчезали. Он очень верно предсказывал наводнения и засуху...».

Насколько удалось установить, речь в тексте идет о конце 250-х — начале 260-х годов. И поскольку известно, что фокус со взращиванием плодовых деревьев чисто индийского происхождения, мы должны констатировать, что индийское иллюзионное искусство было знакомо Китаю уже в III в. (а не в IV в., как полагал Сиратори Куракити). Кроме того, текст этот важен и тем, что он является первым по времени источником, который свидетельствует о существовании в Китае с а м и х к и т а й с к и х бродячих фокусников-иллюзионистов, выступавших перед толпой на рыночных площадях, людных местах. Более ранние сведения различных китайских источников воздают хвалу и н о з е м н ы м фокусникам-жонглерам и говорят лишь о них.

В свете изложенного особого внимания заслуживают два идентичных текста из уже упомянутых «Записей историка» Сыма Цяня и «Истории Ранней династии Хань» Бань Гу. У Сыма Цяня в той же 123-й главе, которая упоминалась ранее, а у Бань Гу в главе 61-й, там, где повествуется о прибытии в Китай посольства с первыми фокусниками жонглерами-иллюзионистами из Ли-сянь (Ли-цзянь), т. е. из Александрии, мы читаем:

«...В то время (имеется в виду 105 г. до н. э.) государь, [причем уже] не в первый раз, предпринял путешествие для обозрения своих владений в приморских районах и взял с собой всех гостей из иностранных государств. [По дороге] проезжали через большие города, многонаселенные, и щедро раздавали народу ткани и разные вещи, чтобы [гости] видели богатство страны и щедрость [императорского двора]. После этого показываемы были большие [состязания] в борьбе, удивительные зрелища-представления и разные дикие звери [птицы, рыбы]; стремились привлечь побольше зрителей: раздавались подарки, устраивались винные пруды и рощи, [обвешанные] мясом. Позволяли иноземным гостям обозревать государственные казнохранилища и сокровищницы, чтобы продемонстрировать обширность [и богатство] страны. И гости изумлялись и поражались».

За этим следует непосредственно интересующее нас сообщение:

«А с прибавлением работы [— представлений] фокусников-иллюзионистов, [постоянным] год от года чрезвычайным умножением и изменением видов искусства борьбы и удивительных зрелищ-представлений — с этого времени они (т. е. зрелища-представления) начали чрезвычайно процветать и стали популярными».

Это сообщение до сих пор не нашло должного освещения и должной оценки ни в специальных исследованиях по истории развития китайского театра⁶, ни в работах по истории культурных связей, ни в изысканиях источниковедческого характера⁷.

По-видимому, определенную роль в этом отношении сыграло мнение известного комментатора «Записей историка» — Чжан Шоу-цзе (VIII в.). Если один из авторитетных комментаторов «Истории Поздней династии Хань», Янь Ши-гу (581—645), говоря о фокусниках, прибывших в Китай с парфянским посольством из страны Ли-цзянь, отмечал, что первоначально иллюзионное искусство пришло в Китай из западных земель, то Чжан Шоу-цзе в своих пояснениях к малопонятному месту текста, который мы только что приводили, считал, что речь в тексте идет об усовершенствовании в иллюзионном искусстве самих китайских фокусников, превзошедших в этом даже жонглеров, прибывших из Ли-сянь. В такой трактовке текст следовало бы читать не так, как мы его понимаем — «А с прибавлением работы [—представлений] фокусников-иллюзионистов», — а иначе, т. е.: «А с совершенствованием работы [—представлений] фокусников-иллюзионистов». Это, казалось бы, незначительное расхождение в переводе текста (с «прибавлением» или же с «совершенствованием») дает существенное различие и в его трактовке. Говоря об «усовершенствовании» работы фокусников, Чжан Шоу-цзе полагает, что у китайцев в те времена (т. е. во II в. до н. э.) были свои фокусники, которые принимали участие в публичных выступлениях. Точки зрения Чжан Шоу-цзе на этот счет — в силу авторитета Чжан Шоу-цзе, а возможно под влиянием традиционного толкования — до сих пор придерживаются некоторые исследователи⁸.

В связи с изложенным следует признать, что Чжан Шоу-цзе ошибался в своем толковании текста.

Рассмотренный материал дает основание заключить, что александрийские фокусники сыграли важную роль в развитии театральных представлений в Китае.

В те времена, во II в. до н. э., ранние формы китайского театра только начали развиваться. Это были различные развлекательные представления, элементы которых вошли в сформировавшийся позднее китайский традиционный театр. Эти представления были известны под официальным названием «сань юэ» или под распространенным названием «бай си» (дословно: «различные зрелища-представления»). Название «сань юэ», т. е. «развлекательная, неупорядоченная музыка», или, говоря проще «простонародная музыка», существовало в Китае издавна, по-видимому, на протяжении I тыс. до н. э. Первоначально под этим названием имелись в виду народные обрядовые песни, танцы, игры. С увеличением репертуара зрелищных представлений за ними всеми укрепилось общее название «сань юэ».

По дошедшим до нас материалам зрелища-представления, входившие в понятие «сань юэ» («бай си»), можно подразделить на следующие ос-

⁶ См., например: Чжоу И-бо, Материалы по истории развития китайского театра, Пекин, 1960 (на кит. яз.); T. Z b i k o w s k i, On early Chinese theatrical performances, «Rocznik orientalistyczny», t. XXVI, № 1, 1962; И. В. Г а й д а, Китайский театр «си-цзюй», М., 1971.

⁷ Это место текста, точнее фраза «А с прибавлением работы [—представлений] фокусников-иллюзионистов», опущена, например, у И. Бичурина в его «Собрании сведений о народах, обитавших в Средней Азии в древние времена» (М.—Л., 1950, т. II, стр. 164) и в широко известном произведении Аоки Масару по истории китайского театра «История китайской драмы нового времени», Пекин, 1958, стр. 4 (на кит. яз., пер. с японск. Ван Гу-лу). На это сообщение не обратил внимания и Сиратори Куракити в своих работах; опущен этот текст и у Р. Хеннига в его «Неведомых землях» (М., 1961, т. I, стр. 272), где он говорит о ли-цзяньских фокусниках и об иностранных гостях.

⁸ См., например, Цзэн Чжао-юй и др., Отчет о раскопках каменного склепа с древними рисунками в Инань, Шанхай, 1956, стр. 38 (на кит. яз.).

новые группы: 1) борьба; 2) представления, изображавшие зверей, птиц, рыб (в том числе представления с макетами, изображавшими зверей, птиц, рыб огромных размеров или фантастических); 3) танцы, пение, музыка («неклассические», «неупорядоченные», т. е. развлекательные, в отличие от «упорядоченных», исполнявшихся при официальных церемониях, жертвоприношениях); 4) представления с зачатками сюжета (небольшие инсценированные рассказы); 5) акробатические представления, жонглерские и иллюзионные номера.

Борьба издревле существовала в Китае, однако в качестве зрелищного представления она впервые демонстрировалась лишь во II в. до н. э. Инсценированные рассказы были тогда только в самой начальной стадии развития, и нам известны один-два из них.

Если в зрелищные представления первой, третьей и четвертой групп (борьба, танцы, пение, музыка и представления с зачатками сюжетного повествования) лишь включались отдельные элементы зрелищ чужеземных стран, то зрелищные представления, отнесенные нами к группам второй и пятой (т. е. представления, изображавшие зверей, птиц, рыб; акробатические представления, жонглерские и иллюзионные номера), были чисто иноземным искусством, пришедшим в Китай из западных земель во II в. до н. э. Но что именно и от какого народа воспринял в данной области Китай, на этот счет до сих пор в научной литературе нет определенных высказываний в связи с отсутствием четких свидетельств источников.

В свете изложенного можно, пожалуй, достаточно определенно говорить о том, что с иллюзионным искусством впервые познакомили китайцев александрийцы из Египта и что именно их искусство наиболее увлекало зрителей и дало решительный толчок дальнейшему развитию традиционного китайского театра.

ПЕРВОЕ ПОВОЛЖСКОЕ АРХЕОЛОГО-ЭТНОГРАФИЧЕСКОЕ СОВЕЩАНИЕ

24—26 декабря 1974 г. в Казани проходило Первое Поволжское археолого-этнографическое совещание, организованное Институтом языка, литературы и истории (ИЯЛИ) им. Г. Ибрагимова Казанского филиала АН СССР и Татарским отделением Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры. Совещание было посвящено итогам полевых исследований 1973—1974 гг.¹ В его работе приняли участие археологи и этнографы Москвы, Ленинграда, Казани, Сыктывкара, Горького, Уфы, Йошкар-Олы, Саранска, Пензы, Куйбышева, Перми, Свердловска, Воронежа, Ижевска.

Открывая совещание, директор ИЯЛИ М. К. Мухарямов отметил, что археологи и этнографы вносят большой вклад в решение научных проблем, связанных с древней и средневековой историей народов Поволжья и Приуралья, их происхождением, изучением современных этнических процессов. В 1973—1974 гг. не было ни одной области и автономной республики Поволжья и Приуралья, где не работали бы археологические экспедиции. Мухарямов указал также, что благодаря инициативе и постоянной помощи Института этнографии АН СССР, этнографические исследования в этих местах приняли систематический характер.

Было проведено два пленарных заседания, кроме того, работали три секции: этнографическая, первобытной и средневековой археологин.

На пленарное заседание были вынесены четыре доклада.

А. Х. Халиков (Казань) в докладе «Археологические исследования в Поволжье и Приуралье, их итоги и задачи» подробно осветил важнейшие археологические открытия последнего десятилетия на территории региона. Докладчик говорил о совершенствовании методики исследований, о работе над составлением археологических карт. Он особо подчеркнул, что результаты исследований последних лет «ставят на реальную основу вопрос о начале подготовки «Археологин Поволжья и Приуралья». Доклад Р. С. Габяшева, Е. П. Казакова, П. Н. Старостина и А. Х. Халикова (Казань) был посвящен анализу опыта работы казанских археологов в зоне Куйбышевского водохранилища.

С докладом «Современное состояние и задачи этнографических исследований в Среднем Поволжье и Приуралье» выступила К. И. Козлова (Москва). Она указала на возрастающее значение этих исследований для разработки многих аспектов этнической истории и культуры народов, населяющих регион. Одной из главных задач, по мнению докладчицы, является организация крупных сравнительно-исторических изысканий как по тюркским и финно-угорским народам Волго-Камья, так и по народам региона в целом. Проведение таких исследований требует унификации приемов фиксации, систематизации и хранения материала.

Доклад Л. Н. Терентьевой (Москва) был посвящен основным принципам и методике составления региональных этнографических атласов. Особое внимание было уделено вопросам составления регионального атласа народов Поволжья.

На этнографической секции состоялось 15 докладов, 6 из них были посвящены различным аспектам «Историко-этнографического атласа татарского народа», сбор и систематизацию материала для которого начали этнографы ИЯЛИ им. Г. Ибрагимова.

Принципы составления атласа татарского народа были освещены в докладе Р. Г. Мухамедовой (Казань). Она указала на то, что этот атлас, как и другие этнографические атласы, будет тематическим. Атлас охватит те районы Среднего Поволжья и Приуралья, где живут казанские татары и татары-мишари, культура которых легла в основу национальной культуры татарского народа.

Р. Г. Мухамедова и Ю. Г. Мухаметшин (Казань) сообщили о программе для сбора материала по теме «Поселения и жилища» для историко-этнографического

¹ См. «Первое Поволжское археолого-этнографическое совещание. (Тезисы)», Казань, 1974.

атласа татарского народа². Они обратили внимание на целесообразность координации работы по составлению программ для сбора аналогичного материала к атласам других народов Поволжья и Приуралья.

Р. К. Уразманова (Казань) поделилась опытом типологизации календарных обрядов и праздников татар. Она отметила, что в формировании календарной обрядности у татар видную роль, наряду с аграрным, сыграл и семейно-родовой культ.

В докладе С. В. Сусловой (Казань), посвященном классификации татарских серег XIX — начала XX в., выявлены специфические для казанских татар типы серег. Систематизация большого фактического материала позволила докладчице прийти к выводу, что в этом виде украшений отразились наслоения различных времен и этнических влияний.

О тканях домашнего производства в конце XIX — начале XX в. у чепецких татар сообщила Ф. Ш. Сафина (Казань).

Ф. Л. Фаттахова (Казань) сообщила об этнографическом исследовании татар (этнографическое самоназвание «ногаи»), расселенных в Татарской слободе Костромы.

Башкирские этнографы представили 4 доклада.

С. Н. Шитова (Уфа) выступила с докладом «Основные итоги изучения материальной культуры башкир». Она отметила, что для этнографического изучения башкир в последние годы характерно не только исследование всех разделов материальной культуры, но и плановость охвата территории с учетом основных родоплеменных групп. Коллективом ученых, создающих башкирский историко-этнографический атлас, начато составление типологических таблиц, разработана карта-основа, проведено пробное картографирование одежды и утвари.

Доклад М. В. Мурзабулатова (Уфа) был посвящен системе скотоводства у зауральских башкир в XIX — начале XX в.

С традиционными средствами передвижения у юго-восточных башкир ознакомил собравшихся М. Г. Муллагулов (Уфа). Большое место в докладе было уделено характеристике различных типов седел.

Н. В. Бикбулатов (Уфа) сделал доклад об особенностях систем родства башкир и татар Среднего Поволжья и Приуралья. Для этих систем характерна большая общность структуры и терминологии. Имеющиеся различия отразили особенности становления и развития семейно-общественных отношений этих народов.

В. Ф. Вавилин (Саранск) представил два доклада, посвященные этносоциологическому исследованию сельских поселений и комплексов жилища в Мордовской АССР. По итогам этого исследования была дана характеристика сельского жилища мордовь-мокши Мордовской АССР в советский период. Докладчик подчеркнул, что на формирование типа жилища, его интерьер, а также на тип хозяйственных построек влияют как физико-географические условия, так и функциональный тип населенного пункта, уровень урбанизации региона и социально-классовая структура семьи. Комплексы жилищ мордовь-мокши и русских сходны по большинству параметров и характеристик.

В докладе П. М. Мезина (Саранск) «К вопросу о материальной культуре сельского населения мордовь-мокши на территории Мордовской АССР» рассматривалась, в основном, одежда. При этом главное внимание было уделено степени распространения традиционных черт в одежде различных половых возрастных групп.

Е. Н. Котова и Т. А. Крюкова (Ленинград) представили доклад «Этнографическое изучение удмуртов и марийцев в так называемых „контактных зонах“ их расселения», С. И. Лебедева (Ижевск) — «Этнографическая экспедиция по удмуртам в Пермскую область и Марийскую АССР (1972—1973 гг.)». Докладчики обратили особое внимание на необходимость установления возможно более тесных контактов работников музеев с экспедиционными отрядами.

На секции первобытной археологии были заслушаны доклады, посвященные памятникам неолита, бронзы и раннего железа. В двух докладах давался обзор новых памятников эпохи камня и бронзы. Это доклады В. Н. Шитова (Саранск) «Каменный век и ранняя бронза в Среднем Примокшанье» и Т. М. Гусенцовой (Ижевск) «Исследование памятников эпохи камня и бронзы в бассейне р. Кильмезь».

Проблемы, связанные с волосовской культурой, были затронуты в докладах В. В. Никитина (Йошкар-Ола) «Волосовские племена марийского Поволжья» (по итогам археологических работ последних лет) и С. В. Кузьминых (Казань) «О глиняных тиграх волосовского типа».

Большой интерес вызвал доклад Г. И. Матвеевой и И. Б. Васильева (Куйбышев), посвященный уникальному энеолитическому могильнику у с. Съезжее Куйбышевской области. Исследователям удалось зафиксировать многие детали погребального обряда и обнаружить вещевой материал, позволивший предварительно датировать могильник III тыс. до н. э.

Три доклада были посвящены абашевской культуре. А. Д. Пряхин (Воронеж) остановился на абашевских поселениях Поволжья; И. Б. Васильев (Куйбышев) — на новых абашевских памятниках Куйбышевской области; В. С. Горбунов (Уфа) — на Чуракилинских курганах абашевской культуры, исследовавшихся в последние годы в Чишминском районе Башкирской АССР.

² «Программа-вопросник к атласу этнографии татарского народа для сбора материала по теме „Поселения и жилища“». Казань, 1973 г.

Итоги изучения памятников срубной культуры были отражены в докладах Ф. Ш. Хузина (Казань) «Кармановская стоянка срубной культуры» и Ю. А. Морозова (Уфа) «Новые памятники срубной культуры в Башкирии».

М. Ф. Обыденнов (Уфа) посвятил доклад итогам исследования курганного могильника черкаскульской культуры у д. Красногорка Мелеузовского района Башкирской АССР.

В ряде докладов были освещены проблемы ананьинской культуры. Так, С. В. Кузьминных (Казань) сообщил о некоторых особенностях металлургии бронзы у ананьинских племен; В. С. Патрушев (Йошкар-Ола) — о зооморфных изображениях, обнаруженных в Акозинском и Старшем Ахмыловском могильниках; Л. И. Ашихмина (Свердловск) — о ранней ананьинской керамике Удмуртского Прикамья.

На секции были сделаны также доклады М. В. Елькиной (Свердловск) — о памятниках эпохи раннего железа на Барсовой Горе близ Сургута и Ю. А. Поляковым (Пермь) — об исследовании памятников гляденовской культуры в Верхнем и Среднем Прикамье, М. Р. Полесских (Пенза) — об изучении городищ памятников Пензенской области.

Судя по представленным докладам, археологи Поволжья стали больше обращать внимания на изучение сарматских памятников. В. А. Скарбовенко (Куйбышев) доложила об исследовании сарматских памятников у сел Утевка и Гвардейцы Куйбышевской области; А. Х. Пшеничнюк и Н. Г. Рутто (Уфа) — о новых сарматских памятниках Башкирского Приуралья.

На секции средневековой археологии были заслушаны доклады, освещающие проблемы средневековой археологии Поволжья и Приуралья. Часть их была посвящена памятникам середины I тыс. н. э. В. А. Скарбовенко (Куйбышев) сообщила о погребении гуннского времени у с. Владимирова Куйбышевской области, Т. И. Останина (Ижевск) — о погребальном обряде, выявленном при исследовании 153 захоронений Нивского могильника середины I тыс. н. э. в Удмуртской АССР, относящегося к мазунинской культуре; В. Ф. Черников (Горький) остановился на материалах вновь открытого могильника V—VIII вв. н. э. у д. Желтухино Городецкого района Горьковской области.

Значительный интерес представил доклад Э. А. Савельевой (Сыктывкар), содержащий материалы I Веслянского могильника (Коми АССР), датируемого серединой I тыс. н. э.

В. А. Кананин и Р. Д. Голдина (Ижевск) сообщили об исследованиях на Верхней Каме. И. М. Петербургский и В. Н. Мартянов (Саранск) доложили о новых исследованиях средневековых памятников на территории Мордовской АССР и сопредельных районов.

Значительная часть докладов этой секции была посвящена проблемам, связанным с историей Волжской Болгарии. Так, Е. П. Казаков (Казань) говорил об исследовании Танкеевского могильника — одного из крупных некрополей раннего периода Волжской Болгарии. А. Х. Халиков, Ф. Ш. Хузин и Г. М. Давлетшин (Казань) сообщили об итогах изучения Билярского городища. Как отметили докладчики, полученный при раскопках вещевой материал служит богатым источником для изучения материальной и духовной культуры волжских булгар домонгольского периода.

В докладе Н. И. Игонина (Москва), Г. В. Фролова, А. Х. Халикова (Казань) изложены предварительные результаты аэрофотосъемки и аэровизуального изучения Билярского городища, его окрестностей и ряда других археологических памятников разного времени на территории Татарской АССР и Ульяновской области.

Результатам изучения гончарной слободы на Билярском городище был посвящен доклад Н. А. Кокориной (Казань).

В докладе Е. А. Халиковой (Казань) на основе изучения 600 захоронений в мусульманских некрополях предпринята попытка рассмотреть распространение ислама в Волжской Болгарии в домонгольский период.

Д. К. Валиева (Казань) говорила об изучении изобразительного искусства волжских булгар. Она указала, что обращение к булгарскому искусству дает возможность выявить истоки искусства народов Поволжья и Прикамья.

Доклад А. Г. Петренко (Казань) был посвящен раскопкам последних лет на городищах Булгары, Биляр и Сувар, в результате которых получен материал, позволяющий рассматривать историю животноводства у булгар в двух этапах — домонгольском и золотоордынском.

А. Б. Булатов (Казань) сообщил интересные данные о волжских булгарах, содержащиеся в труде арабского писателя XIV в. Джебляни.

Н. Д. Аксенова (Куйбышев, ТАССР) рассказала об археологических исследованиях в восточной части Болгарского городища. О результатах раскопок богатой усыпальницы в городе Бельжамене (торговый и политический центр Золотой Орды) говорилось в докладе А. Г. Мухаммадиева (Казань).

А. Х. Халиков и Л. С. Шавахин (Казань) сообщили об археологических исследованиях в различных районах Казани и ее окрестностях с целью определения времени и места основания Казани.

Доклад В. А. Обориной (Пермь) был посвящен русским памятникам XVI—XVII вв. в Приуралье и Зауралье и мерам по их охране.

Заключительное пленарное заседание совещания было посвящено восьмидесятилетию со дня рождения известного советского этнографа, историка и географа Н. И. Воробьева. С докладом о его жизни и творчестве выступила Р. Г. Мухамедова (Казань).

Совещанием было принята резолюция, положительно оценивающая основные направления исследований в области этнографии и археологии, и избрана координационная комиссия. Следующее совещание намечено провести в Уфе в конце 1976 г.

П. Н. Старостин, Р. К. Уразманова

СИМПОЗИУМ ПО ЭТНИЧЕСКОЙ ИСТОРИИ КИТАЙЦЕВ

В связи с подготовкой коллективного исследования «Этническая история китайцев и проблемы формирования китайской нации» Институт этнографии АН СССР и Институт Дальнего Востока АН СССР провели 2—3 декабря 1974 г. очередной, третий симпозиум, посвященный вопросам, связанным с этнической историей древних китайцев и их соседей в V в. до н. э.— III в. н. э.¹ Этот период занимает важное место в этнической истории китайцев, так как именно тогда завершился процесс первоначального формирования древнекитайского этноса. Интенсивные контакты между отдельными государствами, существовавшими на Среднекитайской равнине накануне объединения страны Цинь Шихуаном (III в. до н. э.), а затем создание централизованных империй Цинь и Хань в значительной степени ускорили оформление этнической общности хуася, складывавшейся на протяжении нескольких предшествовавших столетий. Этническое самосознание хуася формировалось на основе представлений о единстве, связанном с общностью происхождения, культуры, языка и обычаев; по этим признакам хуася отличали себя от «варваров четырех стран света».

Целью симпозиума было детальное рассмотрение процесса трансформации этнической общности хуася в условиях существования централизованной империи и систематических контактов ее с соседними народами. Как подчеркнул в своем вступительном слове директор Института Дальнего Востока АН СССР М. И. Сладковский, углубленное изучение этой проблемы приобретает в современных условиях особую актуальность в связи с тем, что официальная историческая наука в КНР пытается фальсифицировать истинную картину межэтнических отношений в рассматриваемый период.

На симпозиуме были представлены доклады, которые группировались вокруг трех основных проблем.

Первая группа докладов была посвящена исследованию культуры древнекитайской этнической общности и характеристике ее самосознания.

Ю. Л. Кроль (Ленинградское отделение Ин-та востоковедения АН СССР) в своем докладе «Концепция „Китай — варвары“» проанализировал господствовавшие в древнекитайском обществе конфуцианские представления о «Чжун-го». По мнению докладчика, этот термин, который в более позднее время стал употребляться для обозначения Китая, в ханьское время сохранял еще свое первоначальное значение «Срединные государства» или «Центральные царства», что отражало реальность доциньского периода. Ю. Л. Кроль показал, что, согласно конфуцианским представлениям, географические условия той или иной местности определяли особенности психологического стереотипа ее населения. Идея об этнической исключительности жителей Чжун-го была тесно связана с концепцией культурных особенностей как неких врожденных свойств, изменить которые невозможно.

Доклад Ю. Л. Кроля вызвал оживленную дискуссию. Выступавшие согласились с его основными положениями. В прениях было также высказано мнение, что уже в ханьское время отдельные древнекитайские авторы начинают употреблять термин «Чжун-го» для названия всей империи Хань как этнической территории древних китайцев, т. е. в значении, принятом в более поздний период.

М. В. Крюков (Ин-т этнографии АН СССР) выступил с докладом «Формирование особенностей материальной культуры древних китайцев». Рассмотрев специфические формы материальной культуры древних китайцев в том виде, как они зафиксированы источниками эпохи Хань, докладчик попытался проследить закономерности их исторического генезиса. Выяснилось, что различные элементы материальной культуры, которые рассматривались в тот период как этнически значимые, обладают различной степенью стабильности. Среди них есть такие, которые, однажды возникнув, сохранялись без существенных изменений на протяжении поразительно длительного времени (манера запихивания халата направо, особенности прически, способ варки круп на пару и др.). С другой стороны, некоторые компоненты материальной куль-

¹ О работе первых двух симпозиумов см. «Сов. этнография», 1974, № 6, стр. 139—

туры сейчас воспринимаются как исконно китайские; между тем в действительности они возникли сравнительно поздно (обычай ношения штанов, употребление палочек для еды и т. д.). Само по себе формирование традиционных черт материальной культуры древних китайцев, а также тесно связанных с ними норм поведенческого стереотипа, проходило в процессе непрерывного взаимодействия различных по своему происхождению этнокультурных общностей.

В ходе обмена мнениями по докладу М. В. Крюкова был поднят вопрос о правомерности применения к этнической общности эпохи Хань термина «древнекитайский». Некоторые из выступавших настаивали на том, что данный этап формирования этой общности следует называть «протокитайским».

П. М. Кожин (Ин-т археологии АН СССР) познакомил участников симпозиума с результатами своих исследований по истории колесного транспорта в Китае в рассматриваемый период. Важнейшим качественным сдвигом в развитии повозки (колесницы) иньско-чжоуского типа было создание в эпоху Хань одинарной запряжки, пришедшей на смену более ранней парной. Это привело к существенным конструктивным изменениям: появлению оглобелей (вместо прежнего дышла), облегчению кузова и т. д. Если в предшествующее время колесница употреблялась исключительно как орудие ведения боя и имела значение своеобразной «престижной марки» аристократов, то теперь повозка стала в полном смысле слова средством транспорта. По мнению докладчика, указанные изменения в функциях колесницы коррелируются с развитием социально-экономических отношений в древнем Китае, в частности, с разложением общины и появлением мелкого крестьянского хозяйства.

Анализу погребального обряда ханьской эпохи был посвящен доклад С. И. Кучеры (Ин-т востоковедения АН СССР). Используя недавние археологические находки близ Маньчэна и Сюйчжоу (КНР), докладчик рассмотрел историю возникновения древнекитайского обычая облачать умерших в одеяния из нефритовых пластинок. Сообщения о подобном ритуале, содержащиеся в некоторых письменных памятниках, долгое время не могли быть проанализированы с достаточной полнотой и точностью. Однако раскопки, произведенные в 1968—1969 гг., обнаружили в погребениях представителей высшей знати ханьского времени нефритовые одеяния, сшитые золотыми и серебряными нитями. Проследив особенности более ранних представлений, связанных с нефритом, С. И. Кучера пришел к заключению, что этот обычай связан с верой в магическую силу нефрита, способного предохранить тело усопшего от разложения.

Вторая группа докладов, представленных на симпозиум, была посвящена проблеме языка и письменности.

М. В. Софронов (Ин-т Дальнего Востока АН СССР) в докладе «Древнекитайский язык и диалекты эпохи Хань» детально проанализировал словарь «Фаньянь», составленный Ян Сюном в I в. до н. э. Этот диалектологический лексикон содержит три основные категории слов: 1) общепотребительную лексику, понятную на всей территории Ханьской империи; 2) слова, характерные для отдельных койне; 3) диалектальную лексику, распространенную в том или ином районе страны. Изучение изоглосс «Фаньяня» позволяет представить этнолингвистическую ситуацию в Ханьской империи и дать материал для суждений о степени консолидации древнекитайского этноса. Указания Ян Сюна на границы распространения выделенных им диалектов чрезвычайно важны для определения реальной территории расселения ханьского этноса в III в. до н. э.—III в. н. э.

М. В. Старостин (МГУ) представил доклад, выводы которого во многом перекликаются с предыдущим. Но в данном случае автор использовал совершенно иные источники, а именно — стихотворные произведения ханьского времени, позволяющие судить о системе рифм. Различия в рифмах, прослеживающиеся по произведениям отдельных ханьских поэтов, также дают представление о территориальном размещении диалектов той эпохи.

При обсуждении доклада М. В. Старостина некоторые из выступавших, признавая плодотворность предложенного автором подхода к проблеме, вместе с тем указали на необходимость более глубокого текстологического и источниковедческого анализа сочинений, отобранных для исследования.

А. М. Карапетьянц (Ин-т стран Азии и Африки при МГУ) рассмотрел исторические и функциональные различия в древнекитайских летописях VIII—V вв. до н. э. и ханьских комментариях к этим летописям, а также сформулировал свою точку зрения на сущность традиционного канона, оказавшего впоследствии большое влияние на идеологию и культуру Китая. Понимание этого вопроса важно для определения форм и общего направления формирования этнической традиции в Китае.

Третья группа докладов была связана с широким кругом вопросов взаимодействия между формирующимся китайским этносом и соседними этнокультурными общностями.

Э. А. Новгородова (Ин-т востоковедения АН СССР) доложила о наиболее существенных результатах своих многолетних археологических исследований на территории МНР. Проследившая развитие культуры племен, населявших степные пространства Монголии во II—I тыс. до н. э., она продемонстрировала глубокое своеобразие исторических путей развития местного населения, неизменно именовавшегося в официальных китайских источниках «северными варварами», но в действительности достигшего высокого уровня культуры. В результате постоянных контактов северные

соседи оказали влияние на формирование особенностей материальной культуры Китая ханьского времени.

Выступая в связи с докладом Э. А. Новгородовой, И. М. Золотарева (Ин-т этнографии АН СССР) привела данные, касающиеся динамики распределения антропологических типов на территории древней Центральной Азии. Она обратила внимание на возможность относительно быстрой смены антропологического типа на одной и той же территории, что часто бывает связано с миграциями населения, а не только с собственно антропологическими причинами. В качестве примера И. М. Золотарева привела территорию Монголии, где современное население, бесспорно, принадлежит к центральноазиатской расе, в то время как в I тыс. н.э. здесь почти повсеместно существовали антропологические типы смешанного или даже почти европеоидного облика. В выступлении было высказано предположение, что значительное выравнивание распределения антропологических характеристик в разных территориальных группах монголов произошло за счет массового передвижения населения из северо-восточной части Монголии на запад и на юг.

В. С. Стариков (Ин-т этнографии АН СССР, Ленинград) в своем докладе говорил об особенностях этнического взаимодействия коренного населения Южной Маньчжурии с китайскими переселенцами, появившимися здесь в последних веках до нашей эры. С необходимостью противостоять агрессии древнекитайских государств докладчик связывает появление в Южной Маньчжурии первых городов и «поселков городского типа». В ханьское время население этого региона продолжает сохранять свои прежние этнические и культурные традиции.

В докладе Р. Ш. Джарылгасиновой (Ин-т этнографии АН СССР) «Ханьские барельефы из Шаньдун и миф о Тангуне» показано, что некоторые сюжеты каменных барельефов Улянцы (Шаньдунский п-ов) получают объяснение в свете древнекорейских этногенетических мифов, в частности, мифа о Тангуне. Является ли этот факт отражением родства древнего населения Шаньдуна с древнекорейскими племенами или здесь следует видеть следы корейского влияния на ханьцев, заселивших к последним векам до нашей эры весь Шаньдун, покажут дальнейшие исследования.

С. И. Кучера (Ин-т востоковедения АН СССР) в своем докладе «Некоторые вопросы истории Турфана» рассказал о связях населения этого района с империей Хань и о результатах их политических и культурных контактов.

Выступая в прениях по этому докладу, Б. А. Литвинский (Ин-т востоковедения АН СССР) указал на необходимость использования не только китайских, но и других источников по истории Восточного Туркестана, в том числе археологических.

Р. Ф. Итс (ЛГУ) посвятил свой доклад проблеме взаимодействия между ханьской культурой, активно распространявшейся в III в. до н.э.—III в. н.э. в южном направлении, и местными культурами, прежде всего культурой Чу. На основе данных о раскопках погребений в Чанша и близлежащих районах, докладчик пришел к выводу об устойчивых культурных традициях сохранявшихся у местного населения в течение длительного времени после присоединения этой территории к Циньской, а затем к Ханьской империи. Уже в V—III вв. до н.э. культура господствующего класса в Чу испытала древнекитайское влияние. Но даже творчество такого чужого поэта, как Цюй Юань, вошедшее в сокровищницу китайской литературы, обнаруживает вполне очевидные местные черты.

Историческую недостоверность представлений о том, что вся территория, номинально присоединенная к Ханьской империи в результате завоевательных войн II—I вв. до н.э., стала в этот период китайской, показал в своем докладе Д. В. Деопик (Ин-т стран Азии и Африки при МГУ). Более того, такие районы, как Фуцзянь и большая часть Гуйчжоу, даже формально не входили в эту эпоху в состав Хань. Существование в Гуандуне, Гуанси и Юньнани таких крупных этнополитических объединений, как намьюэ (наньюэ), дьянь и др., свидетельствует о том, что определяющим моментом этнического развития этих районов была история коренного населения.

П. В. Познер (Ин-т востоковедения АН СССР) представил доклад «Ба и Шу в древнекитайских письменных источниках». Изучив упоминания о царствах Ба и Шу (совр. Сычуань) в «Шаншу», «Чуньцзо», «Цзочжуань» и «Шицзи», докладчик пришел к выводу, что сведения об участии этих царств в походе чжоусцев на столицу Инь являются позднейшей интерполяцией. Ба и Шу реально выступают на политическую арену лишь через несколько веков после чжоуского завоевания. Успех Лю Бана, основателя династии Хань, в его борьбе с Сян Юем после падения Циньской империи в значительной мере объясняется тем, что он опирался на царства Ба и Шу и использовал враждебность местного населения к жителям Средних царств.

Важно подчеркнуть, что подавляющее большинство докладов было посвящено ранее совершенно не разработанным вопросам. Результаты симпозиума представляются собой значительный шаг вперед в изучении этнической истории народов Восточной Азии.

Очередной, четвертый, симпозиум предполагается посвятить проблемам этнического развития Китая в средние века.

М. В. Крюков

1974 год для сотрудников и студентов кафедры этнографии и антропологии Ленинградского университета был шестым годом полевых этнографических, палео-этнографических и антропологических исследований, которые проводятся в соответствии с планами научной работы кафедры и преследуют цель привить студентам навыки самостоятельной практической работы.

В экспедициях кафедры участвуют все ее сотрудники и все студенты от I-го до IV курса включительно. Экспедиции осуществляют свою работу в сотрудничестве с академическими учреждениями страны (Институт этнографии, Институт археологии, институты Сибирского отделения АН СССР, Коми филиала, Дагестанского филиала и Якутского филиала АН СССР), местными вузами, музеями, обществами охраны памятников и научно-исследовательскими институтами. Подобная кооперация позволяет приблизить полевые исследования к насущным потребностям этнографии и антропологии и дает возможность охватывать довольно большие этнические территории.

В 1974 году, как и прежде, полевые исследования вели две экспедиции: Сибирская комплексная (нач. Р. Ф. Итс) и Северо-Кавказская археолого-этнографическая (нач. А. В. Гадло). Студенты и аспиранты кафедры антропологии были направлены на самостоятельную антропологическую работу в Туву и в Республику Мали. Помимо указанных экспедиций, кафедрой по просьбе Коми филиала АН СССР и Ленинградского общества охраны памятников культуры были созданы два отряда: Северокомийский этнографический (нач. Г. Н. Романова), в задачу которого входило изучение домашних промыслов и традиционного хозяйства оленевых коми; и Ленинградский историко-архитектурный (нач. С. С. Григорьев), собиравший материал по материальной и духовной культуре дореволюционного села бывшей Петербургской губ.

В составе Сибирской комплексной экспедиции работали два этнографических отряда: Обский (нач. Р. Ф. Итс) и Тувинский (нач. Б. П. Шишло). В задачу отрядов входил сбор материала по традиционной культуре хантов и тувинцев, живущих в зоне начавшихся крупномасштабных строек. У хантов работа носила характер предварительной разведки, однако удалось собрать интересный материал по поселениям, традиционным видам занятий, по семейно-родовому составу, по погребальному обряду. В работе отряда принимал участие стажер из Кембриджа (Институт полярных исследований) Ф. Лайтон, рассказавший об итогах экспедиции на заседании Антропологического института Королевского об-ва Великобритании.

Тувинский отряд продолжил работы, начатые в прошлые годы на территории будущего Тувинского моря (Улугхемский район, пос. Чаа-холь, Урбюн, Кара-тал и др.), причем в данный сезон удалось собрать малоизвестный материал по семейным обрядам и доламаистским верованиям тувинцев. Итоги работ экспедиции в Сибирь были доложены на Ученом совете истфака ЛГУ во время научной сессии.

Северо-Кавказская экспедиция работала двумя отрядами — палеоэтнографическим, продолжившим изучение аланской проблемы с учетом начавшегося совместного с венгерскими коллегами (Будапештский университет им. Л. Этвеша) исследования проблем этнической истории мадьяр, и этнографическим, собиравшим материал по патронимической организации карачаевцев.

В 1975 г. обе экспедиции продолжали свои работы, расширив (учитывая предложения СО АН СССР и Кемеровского университета) зону исследования.

Р. Ф. Итс

* * *

В июле 1974 г. в Котласском и Вилегодском районах Архангельской области (по реке Вычегде и ее притоку реке Виледи) работала фольклорная экспедиция филологического факультета МГУ, организованная кафедрой русского народного творчества.

Цель экспедиции — изучение современного состояния фольклора русского Севера.

Работа велась тремя группами (30 человек) под руководством Б. Н. Кочетова, А. В. Кулагинной и Ф. М. Селиванова (начальник экспедиции). Общее количество записанного материала — 9040 текстов (включая варианты).

Группа В. Н. Кочетова (11 человек) в верхнем течении реки Виледи обследовала 30 деревень Селянского и Вилегодского сельсоветов. Ею записано свыше 2500 текстов: эпических песен — 18 (17 баллад, в основном поздних, и 1 историческая песня), сказок (волшебных, о животных и бытовых) и анекдотов — 120, произведений несказочной прозы — 76 (71 быличка и 5 преданий), произведенный обрядовой поэзии — 109 (3 календарных песни, 21 свадебная лирическая, 17 величальных и корильных, 68 заговоров и «рецептов» народной медицины), описаний свадебных обрядов — 6, необрядовых песен — 344 (135 протяжных лирических, 7 частых, 110 плясовых и хороходных, 92 песни литературного происхождения и романса), частушек — 1570, произведений малых жанров — 293 (267 загадок, 15 пословиц и поговорок, 11 присказок и прибауток), детского фольклора — 27.

Часть песен записана от хоров в деревнях Дресвянка и Новораспаханная (хор из Дресвянки еще совсем недавно «играл» на сцене местного клуба традиционную свадьбу, но воспроизвести этот обряд для собирателей не смог).

Группа А. В. Кулагинной (10 человек) работала в районе среднего течения реки Виледи. Было обследовано 45 населенных пунктов Павловского сельсовета и 63 — Ильинского. Записан 3151 текст: 1 былина, 20 баллад, 31 сказка, 40 быличек и поверий, 10 рассказов о прошлом, 6 описаний свадебного обряда, 16 свадебных причитаний, 6 свадебных лирических песен, 38 величальных и корильных, 5 похоронных причитаний, 92 загадки и «рецепта» народной медицины, 98 лирических протяжных, 130 плясовых, игровых и хороводных песен, 157 песен литературного происхождения и романсов, 2273 частушки, 19 пословиц и поговорок, 18 баек и колыбельных песен, 15 произведений детского фольклора, 35 гаданий и примет и 141 загадка. Несмотря на тщательные поиски, не удалось записать ни одного произведения календарной обрядовой поэзии.

Сохранности фольклора в Вилегодском районе способствуют выступления в районном центре — с. Ильинском женского хора (16 человек), которым руководит И. А. Ердюкова. В репертуаре хора — свадебные песни, протяжные и частые песни, плясовые, хороводные и баллады.

Группа Ф. М. Селиванова (9 человек) работала на реке Вычегде на территории Сольвычегодского, Харитоновского и Коряжемского сельсоветов. Обследовано 35 населенных пунктов. Записано свыше 3000 текстов, в том числе 4 баллады, 1 духовный стих, 53 сказки, 65 пословиц и поговорок, 63 загадки, 100 заговоров и гаданий, 43 былички, 8 описаний свадебных обрядов, 49 свадебных песен, величальных и корильных, 88 протяжных песен, 70 частых, плясовых, игровых, и хороводных, 24 предания и рассказы о прошлом, 47 произведений детского фольклора, 95 песен литературного происхождения, романсов и др.

На основании собранного материала можно, видимо, констатировать, что эпическая традиция в обследованном районе очень слабая. Записи былины (начало «Ивана Годиновича»), немногих поздних исторических песен и баллад («Оклеветанная жена», «Муж жену губил», «За Невагою») не опровергают этого вывода. Наиболее широко в Котласском и Вилегодском районах бытуют необрядовые песни и частушки.

**В. Н. Кочетов, А. В. Кулагина,
Ф. М. Селиванов**

* * *

В июле 1974 г. в Полтавской обл. (в Полтаве, Миргороде, с. Диканьке и окрестных селах) работала девятая экспедиция кружка юных этнографов (собрателей

игр) Московской областной детской экскурсионно-туристской станции (Мособлдетс).

Кружок работает на базе средней школы поселка Лесной городок Одинцовского района Московской области. Руководят им учителя-филологи В. М. Григорьев и Л. И. Григорьева. С 1970 г. кружок по заданию группы фольклора Института этнографии АН СССР им. Н. Н. Миклухо-Маклая собирает материалы по народным играм и праздничным обрядам. Основное направление работы кружка — стационарное изучение современного игрового репертуара школьников поселка Лесной городок и окрестных сел (микрорайон Лесногородской школы). За шесть лет там зафиксировано более двух тысяч игровых форм¹. Такое большое количество объясняется тем, что фиксируются все виды игровой деятельности, включая простейшие забавы и различные переходные формы игры, а не только традиционные игры, имеющие устойчивые правила и названия.

Интересно, что в современной детской народной игре прекрасно уживаются рядом переходные формы самых разных этапов исторического развития игры. Какая из форм получит распространение, зависит не столько от традиции, сколько от сложившихся в данный момент условий, влияний (особенно со стороны кино и телевидения) и взаимной договоренности участников игры. Поэтому уследить за переменной и прихотливой картиной жизни современной игры способны разве только сами играющие, в нашем случае — школьники. В особенности это относится к подросткам, которые стараются скрыть от посторонних многие свои игры и тем самым вводят в заблуждение взрослых наблюдателей. Однако то же самое стремление к независимости, самостоятельности делает для подростков чрезвычайно привлекательным участие в «настоящем исследовании».

Увлеченность юных этнографов позволяет им преодолеть трудности освоения первоначальных навыков собирательской работы. Первые сообщения о своих наблюдениях юные собиратели делают устно. Записывает игры руководитель или опытный член кружка (инструктор-старшеклассник или студент). Зато наблюдения подростков порой отличаются замечательной зоркостью и знанием самых сокровенных сторон игры. Быстро находят подростки общий язык и с информаторами-сверстниками. Но наиболее ценно в работе коллектива юных собирателей то, что появляется возможность каждую новую игру практически опробовать перед

¹ Вспомним, что в знаменитом сборнике Е. А. Покровского «Детские игры, преимущественно русские» (М., 1887) описано около пятисот игр и даже в своде «Игры народов СССР», составленном В. Н. Всеволодским-Гернгроссом (М., 1933) чуть более 1300 различных игр.

записью, а затем неоднократно повторить ее в процессе описания правил и хода игры. Без этого неизбежны упущения в записи, которых не избежал ни один из собирателей прошлого.

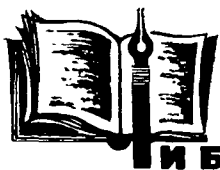
Материалы, собранные стационарно в микрорайоне своей школы, кружок дополнял и проверял путем наблюдений и опросов во время походов и экспедиций по Подмоскovie и в другие районы страны (Поволжье, Ока, Псковщина, Эстония, Белорусия, Украина, Грузия).

В 1974 г. участники экспедиции проводили опрос в разных местах Полтавщины по спискам игр, типичных для Подмоскovie. Оказалось, что все эти игры (более 500) бытуют и на Полтавщине. Совсем иначе обстоит дело с играми, записанными в прошлом веке здесь же, на Украине. Из 76 игр, помещенных в сборнике «Игры народов СССР», были обнаружены лишь «цурки» — вариант «чижика», известного повсеместно и вне Украины. Еще 5 старинных украинских игр сохранились в памяти некото-

рых пожилых людей. Остальные 70 игро- нику из опрошенных знакомы не были. Попутно записывался на магнитофон традиционный украинский игровой фольклор, например, хороводные песни. И тут выяснилось, что к сборнику, из которого мы исходили, еще и сейчас можно сделать немало добавлений по традиционному фольклору.

Интересно отметить, что даже терминология игр становится общей для разных мест страны. И тем не менее нельзя сказать, что игры школьников сейчас везде одинаковы. Однако различаются они не набором отдельных игр, а соотношением игровых форм разных типов и другими структурными особенностями. Но выявить их во время маршрутной экспедиции трудно. Необходимо расширить стационарное изучение игр в разных районах страны. Целесообразно привлечь к этому школьников, тщательно разработа- тав методику.

В. М. Григорьев



КРИТИЧЕСКИЕ СТАТЬИ И ОБЗОРЫ

МАРКСИЗМ И ПЕРВОБЫТНОСТЬ

[о книге Э. Террея «Марксизм и примитивные общества»]*

Книга французского социолога и этнографа Э. Террея состоит из двух самостоятельных очерков. В первом из них — «Морган и современная этнография» — предпринята попытка дать обстоятельный анализ теоретических воззрений выдающегося американского этнографа, в частности раскрыть материалистический характер его взглядов на историю и показать значение разработанных им понятий и методов для современной науки о первобытности. Во втором, озаглавленном «Исторический материализм и сегментарные, базирующиеся на родовых связях общества», автор, основываясь на материалах, содержащихся в работе французского исследователя К. Мейясу «Экономическая антропология гуро Берега Слоновой Кости»¹, пытается показать значение материалистического понимания истории для исследования первобытного общества.

Выход в 1972 г. английского перевода книги Э. Террея спустя всего лишь три года после ее появления на французском языке служит одним из показателей возрастающего интереса зарубежных этнографов к марксизму вообще и материалистическому пониманию истории в особенности. И это явление имеет свою серьезную причину. Она заключается в глубоком теоретическом кризисе, охватившем к настоящему времени зарубежную этнографическую науку. О наличии такого кризиса говорится, в частности, на первой же странице предисловия издателя к оригинальной публикации рассматриваемой книги. Вопрос о том, насколько применим исторический материализм к исследованию «примитивных» обществ, указывается в этом предисловии, дебатировался уже давно. И современный теоретический кризис в этнографии создает «большую возможность для оценки как самого вопроса, так и условий, имеющих существенное значение для ответа на него» (стр. 1).

По мнению автора предисловия, исторический материализм может быть применен к первобытному обществу и тем самым исследование может стать подлинно научным только при соблюдении двух необходимых условий. Первое из них заключается в критическом пересмотре как идей буржуазной этнографии, так и накопленных ею материалов (стр. 2). Второе условие состоит в таком преобразовании фундаментальных понятий исторического материализма, которое позволит производить точные исследования в этой новой и специфичной области (стр. 2).

Выдвижение второго условия связано с определенным взглядом издателя и автора книги на исторический материализм. И на этом взгляде необходимо остановиться особо, ибо он в значительной степени определил направление теоретических изысканий Э. Террея.

* E. Terray, *Le marxisme devant les sociétés «primitives»*, Paris, 1969; англ. перевод: E. Terray, *Marxism and «primitive» societies*, N. Y.—London, 1972 (в дальнейшем все ссылки на книгу даются в тексте по английскому изданию).

¹ C. Meillassoux, *L'anthropologie économique des Gouro de Côte d'Ivoire*, Paris, 1964.

В последние десятилетия некоторые зарубежные исследователи, в частности К. Полани и Дж. Далтон, пришли к выводу, что «экономический детерминизм», под которым они понимают и марксово материалистическое понимание истории, верен, но лишь по отношению к капиталистическому обществу. Что же касается докапиталистических обществ вообще, в том числе и первобытного, то к ним он совершенно неприменим². И эта точка зрения оказала известное влияние на взгляды как автора предисловия, так и самого Э. Террея, которые рассматривая материалистическое понимание истории как универсальную концепцию, в то же время считают, что исторический материализм в том его виде, в котором он был создан К. Марксом и существует сейчас, применим в основном лишь к капиталистическому обществу. Использование его в существующем виде для изучения первобытности означает не что иное, как «механическое применение к результатам этнологических исследований специальных категорий, предназначенных для понимания капиталистического способа производства» (стр. 2). Докапиталистические общества вообще, первобытное в частности, находятся, по мнению как автора предисловия, так и Э. Террея, в настоящее время вне сферы исторического материализма. Во взглядах на них безраздельно господствует идеализм. И преодолеть такое положение можно только путем создания общей теории всех докапиталистических обществ, которая войдет в исторический материализм в качестве его составной части. «Марксисты-исследователи,— пишет Э. Террей,— стоят теперь перед задачей вытеснить эту идеологию (идеалистическую.— Ю. С.) из ее последнего убежища, ввести область, давно зарезервированную за социальной антропологией, в сферу исторического материализма и тем продемонстрировать универсальную применимость его понятий и методов. Сделав это, они обеспечат превращение социальной антропологии в особую часть исторического материализма, посвященную социально-экономическим формациям, в которых капиталистический способ производства отсутствует и в исследовании которых сотрудничают этнологи и историки» (стр. 184).

В этой точке зрения есть доля истины, но в целом согласиться с ней нельзя. Основная ошибка как автора предисловия, так и самого Э. Террея заключается в том, что они оказались не в состоянии понять различие между историческим материализмом, с одной стороны, и теориями конкретных общественно-экономических формаций — с другой. В результате они не смогли правильно понять и отношение между марксистским материалистическим пониманием истории и детально разработанной К. Марксом теорией капитализма. К. Маркс создал теорию лишь одной общественно-экономической формации — капиталистической. Остальные общественно-экономические формации не были изучены им столь же детально, что, конечно, не могло в какой-то степени не сказаться и на понятийном аппарате исторического материализма. Но это отнюдь не означает, что исторический материализм в том его виде, в каком он был создан К. Марксом, применим лишь к обществам с капиталистическим способом производства. Если понятия марксистской политической экономии капитализма в большинстве своем нельзя приложить к первобытному обществу, то основные положения и фундаментальные категории исторического материализма в равной степени справедливы в отношении как капиталистического, так и первобытного обществ.

В трудах классиков марксизма содержится не только теория капиталистического общества, но и ценнейшие идеи, относящиеся к докапиталистическим формациям вообще и к первобытной в частности. Но, как справедливо отмечает автор предисловия, исследователи-марксисты не могут ограничиваться их повторением. Необходимо развивать их дальше (стр. 2). Однако движение вперед должно состоять вовсе не в преобразовании категорий исторического материализма, имеющем целью дополнить уже существующее материалистическое понимание истории, применимое в основном лишь к капитализму, новой его частью, специально относящейся к докапиталистическим обществам, как полагает Э. Террей. Необходимо, руководствуясь материалистическим пониманием истории, в одинаковой степени применимым ко всем формациям, разрабатывать теории докапиталистических формаций.

Необходима детальная разработка теории каждой докапиталистической формации, и в частности первобытного общества. Эти теории не представляют составных час-

² К. Polanyi, *Primitive, archaic and modern economies*, N. Y., 1968, p. 61, 65, 66, 70, 71. 84; G. Dalton, *Introduction*, там же, стр. XVII.

тей исторического материализма, подобно тому как не является таковой созданная К. Марксом политэкономия капитализма. Соответственно исторический материализм не состоит и не может состоять из разделов, каждый из которых применим лишь к одной формации или группе сходных в каком-либо отношении формаций. Если бы это случилось, то он перестал бы быть общим методом познания общественных явлений, т. е. перестал бы быть самим собой.

Иное дело, что разработка теорий докапиталистических общественных формаций не может не сказаться на самом историческом материализме, не может не привести к изменению отдельных его положений, уточнению его категорий, может быть даже к появлению новых понятий. Но это вполне в порядке вещей. Любой метод неизбежно должен совершенствоваться в процессе его применения. Иначе он просто перестает действовать. Материалистическое понимание истории не составляет исключения.

Именно с тем, что Э. Террей рассматривает докапиталистические общества вообще, первобытное в частности, как находящиеся в настоящее время вне сферы исторического материализма, связана высокая оценка им работы К. Мейясу «Экономическая антропология гуро Берега Слоновой Кости». «Появление «Экономической антропологии гуро» Клода Мейясу,— пишет он,— может оказаться поворотным пунктом в истории этнографии» (стр. 95). Но даже если бы Э. Террей был действительно прав в своем утверждении, что «Клод Мейясу является первым исследователем, воспитанным на понятиях и методах традиционной этнографии, который отважился применить категории исторического материализма к конкретному «примитивному» обществу» (стр. 95), это отнюдь еще не дает основания говорить о принципиальной новизне его подхода к исследованию первобытности. Советские этнографы всегда руководствовались материалистическим пониманием истории в исследовательской работе. И даже в этом смысле первобытное общество давно уже находится в сфере материалистического понимания истории³. Однако, хотя Э. Террей в целом неправ, в его словах содержится известная доля истины.

Теория любой конкретной общественно-экономической формации есть прежде всего теория ее экономической структуры. Однако теория экономики доклассового общества пока еще недостаточно разработана. Основная причина такого положения длительное время заключалась в отсутствии прочного фактического фундамента. До возникновения научной дисциплины, специально занимающейся исследованием экономических отношений доклассового и формирующегося классового общества (в зарубежной литературе она получила название *экономической антропологии*), о всесторонней разработке теории первобытной экономики не могло быть и речи⁴. Но и после ее появления должен был пройти определенный период, прежде чем был накоплен достаточный материал. В настоящее время детальная разработка теории первобытной экономики стала не только возможной, но и настоятельно необходимой. Теоретическое

³ Советские этнографы руководствовались и руководствуются материалистическим пониманием истории как при решении общих проблем истории первобытности, так и при изучении отдельных конкретных доклассовых обществ. Не имея возможности перечислить все работы, назовем несколько, на наш взгляд, наиболее интересных: Ю. П. Аверкиева, Разложение родового строя и формирование раннеклассовых отношений в обществе индейцев Северо-Западного побережья Северной Америки, «Труды Ин-та этнографии АН СССР», т. 70, М., 1961; е е же, Индейское кочевое общество XVIII—XIX вв., М., 1970; Ю. В. Бромлей, А. И. Першиц, Ф. Энгельс и проблемы первобытной истории, «Проблемы этнографии и антропологии в свете научного наследия Ф. Энгельса», М., 1972; А. М. Золотарев, Родовой строй и первобытная мифология, М., 1964; М. О. Косвен, Очерки истории первобытной культуры, М., 1957; «Общественный строй у народов Сибири. XVII — начало XX в.», М., 1970; А. И. Першиц, Развитие форм собственности в первобытном обществе как основа периодизации его истории, «Труды Ин-та этнографии АН СССР», т. 54, М., 1960; А. И. Першиц, А. Л. Монгайт, В. П. Алексеев, История первобытного общества, М., 1974; С. А. Токарев, Происхождение общественных классов на островах Тонга, «Сов. этнография», 1958, № 1; С. П. Толстов, Военная демократия и проблема «генетической революции», «Проблемы истории докапиталистических обществ», 1935, № 7—8; е го же, Древний Хорезм, М., 1948; Л. А. Файнберг, Общественный строй эскимосов и алеутов, М., 1964.

⁴ Подробнее об экономической антропологии, ее истории и современном состоянии см.: Ю. И. Семенов, Теоретические проблемы «экономической антропологии», в сб. «Этнологические исследования за рубежом», М., 1973.

осмысление колоссального фактического материала, накопленного за последние 50 лет, стало потребностью развития науки. И эта потребность в той или иной форме осознается специалистами по первобытной экономике. Наглядным выражением этого является развернувшаяся в последние годы в экономической антропологии дискуссия между сторонниками субстантивистского и формалистического направлений⁵.

Однако даже субстантивисты, не говоря уже о формалистах, не создали подлинной теории первобытной экономики. И причины здесь далеко не личного характера. Суть дела в том, что подлинно научная теория первобытной экономики может быть создана лишь на основе материалистического понимания истории, а все ведущие участники дискуссии, не исключая субстантивистов, стояли на иных методологических позициях. Подлинно научной теорией первобытной экономики может быть только марксистская ее теория. И тот факт, что выход из теоретического кризиса, который переживает экономическая антропология, может быть найден только с помощью исторического материализма, в какой-то степени начинает осознаваться к настоящему времени целым рядом специалистов по первобытной экономике. С этим связан и растущий среди них интерес к марксизму⁶.

Именно объективная потребность в разработке теории первобытной экономики и объективная необходимость обращения для этого к историческому материализму и нашли свое выражение в появлении работ К. Мейясу и Э. Террея. Однако стоящая перед наукой задача не была осознана последним в адекватной форме. Она была осознана им как необходимость дополнить исторический материализм особым разделом, относящимся к докапиталистическим формациям. Уже одно это не могло способствовать успеху его начинания. Но к тому же Э. Террей несколько своеобразно, если не сказать больше, трактует основные категории материалистического понимания истории.

Это прежде всего относится к центральному понятию исторического материализма — категории «общественно-экономическая формация».

Человеческое общество всегда, на всех этапах своего развития, состояло из значительного числа отдельных конкретных обществ, каждое из которых было особым социальным организмом, развивающимся более или менее самостоятельно, т. е. имеющим свою собственную историю⁷. Каждое единичное общество имеет свои особенности, которые отличают его от всех остальных. Индивидуальностью, неповторимостью отличается и развитие каждого такого социального организма. Создание подлинной науки об обществе требует раскрытия *общего* между социальными организмами, выявления *повторяющегося* в их развитии. Эта задача была решена К. Марксом и Ф. Энгельсом.

Из всего многообразия социальных связей ими были выделены такие, которые, возникшая и существуя независимо от воли и сознания людей, определяют их взгляды, намерения, стремления, а тем самым и все прочие общественные отношения. Этими материальными объективными связями являются производственные, социально-экономические отношения.

Выделение производственных отношений из массы всех остальных социальных связей было одновременно и выявлением существования нескольких основных их типов. Тем самым выяснилось, что разные социальные организмы могут иметь как одинаковую социально-экономическую структуру, т. е. образованную производственными отношениями одного и того же типа, так и неодинаковую, т. е. образованную производственными отношениями разных типов. Так как производственные отношения являются фундаментальными, определяющими, то все конкретные общества, имеющие своей основой одну и ту же систему социально-экономических отношений, несмотря на все различия, представляют собой в сущности одно и то же общество, относятся к одному и тому же типу. С другой стороны, социальные организмы с неодинаковой экономи-

⁵ Ю. И. Семенов, Указ. раб.

⁶ R. Frankenberg, *Economic anthropology. One anthropologist's view*, In: «Themes in economic anthropology», London, 1967; S. Cook, *The «anti-market» mentality re-examined: a further critique of the substantive approach to economic anthropology*, «Southwestern journal of anthropology», vol. 25, № 4, 1969; M. Sahlins, *Stone age economics*, Chicago — New York, 1972, и т. д.

⁷ См. Ю. И. Семенов, Категория «социальный организм» и ее значение для исторической науки, «Вопросы истории», 1966, № 8.

ческой структурой, какие бы черты сходства между ними ни существовали, в сущности своей глубоко различны, относятся к разным типам общества.

Таким образом, в результате выделения производственных отношений как основы любого общества и выявления существования среди них качественных различий огромное множество социальных организмов было сведено к нескольким основным типам, которые и были названы общественно-экономическими формациями. «Анализ материальных общественных отношений», — писал В. И. Ленин, — сразу дал возможность подметить повторяемость и правильность и обобщить порядки разных стран в одно основное понятие *общественной формации*»⁸.

Тип общества может существовать лишь в конкретных обществах данного типа. Каждая конкретная общественно-экономическая формация существует не рядом с отдельными обществами, а лишь в самих этих социальных организмах в качестве их глубокой общей основы, их внутренней сущности, а тем самым и их типа.

Но категория «общественно-экономическая формация» есть понятие не только о типе общества, основывающемся на определенной системе производственных отношений. Она значительно более сложна и многогранна. Каждая система производственных отношений связана с более или менее определенным уровнем развития производительных сил. Определенные производительные силы с определенной системой производственных отношений образуют единство — тот или иной способ производства. С развитием производительных сил одна система производственных отношений рано или поздно сменяется другой, более прогрессивной, что влечет за собой смену одного типа общества другим, более высоким его типом.

Таким образом, каждая общественно-экономическая формация является таким типом общества, который одновременно представляет собой и определенную стадию его поступательного развития. Соответственно эволюция всего человеческого общества в целом является не чем иным, как естественноисторическим процессом развития и смены общественно-экономических формаций. Именно такое понимание истории и называется материалистическим.

В книге Э. Террея мы сталкиваемся с иным пониманием общественно-экономической формации. На протяжении всего своего второго очерка он говорит об общественно-экономической формации гуро, имея в виду не тип, к которому относится общество гуро, и не стадию всемирно-исторического развития, на которой это общество находится, а само конкретное, единичное общество гуро. И мы имеем дело не с неудачной формулировкой, а с определенной концепцией. Везде, где только Э. Террей употребляет термин «общественно-экономическая формация», он применяет его для обозначения отдельного общества, т. е. социального организма, или системы социальных организмов. Наряду с общественно-экономической формацией гуро он упоминает общественно-экономические формации пигмеев мбути и масаев (стр. 140). Соответственно он везде пишет не о доклассовой, первобытной общественно-экономической *формации*, а о «примитивных» общественно-экономических *формациях* (стр. 104, 140, 144). Точно так же Э. Террей говорит не о капиталистической общественно-экономической *формации*, а об общественно-экономических *формациях*, в которых господствует капиталистический способ производства (ст. 146, 147, 183). Понятие об общественно-экономической формации как типе общества, являющемся стадией всемирно-исторического развития, в концепции общества, отстаиваемой Э. Терреем, отсутствует, что делает ее весьма отличной от марковского материалистического понимания истории.

Это обстоятельство сказалось и на анализе взглядов Л. Моргана, предпринятом Э. Терреем в первом очерке. Сам по себе этот очерк содержит много совершенно верных мыслей. Э. Террей справедливо указывает, что в книге Моргана «Древнее общество» изложена вовсе не *история* первобытности, как многие думают, а *теория* первобытной истории (стр. 24, 88). Обращаясь к трем последним частям «Древнего общества», озаглавленным «Развитие идеи управления», «Развитие идеи семьи» и «Развитие идеи собственности», Э. Террей указывает, что здесь слово «идея» имеет особый смысл. Морган этим хотел подчеркнуть, что в книге излагается не эмпирическая история власти, семьи и собственности, а выявляется объективная логика, объективная необходимость развития этих общественных явлений (стр. 25, 26).

⁸ В. И. Ленин, Полн. собр. соч., т. 1, стр. 137.

Материалистическое понимание истории у Моргана Э. Террей видит во взгляде на развитие способа добывания средств существования, на рост изобретений и открытий как на фактор, определяющий эволюцию собственности и всех прочих общественных отношений и институтов (стр. 51, 52, 56, 57, 65, 66). Как он считает, употребляемое Морганом понятие «средства существования» фактически не отличается от введенного К. Марксом понятия «производительные силы» (стр. 66). Но самое важное из того, что дает основание для характеристики Л. Моргана как мыслителя, самостоятельно пришедшего к материалистическому пониманию истории, ускользнуло от внимания Э. Террея. Мы имеем в виду выделение Морганом двух основных типов общества. «Опыт человечества,— писал он,— создал только два плана общественного строя... Оба они были определенными и систематическими организациями общества. Первый и более древний представлял собой *организацию социальную*, основанную на родах, фратриях и племенах. Второй и позднейший представлял собой *организацию политическую*, основанную на территории и собственности»⁹. Эти два типа общества Морган связывал с двумя типами собственности: первый — с коллективной собственностью, второй — с частной. В результате совершенствования способа добывания средств к существованию коллективная собственность уступила место частной собственности, и соответственно на смену родовому обществу пришло общество «политическое», т. е. классовое. Только выявив это, Морган смог прийти к материалистическому пониманию истории, которое не может быть ничем иным, как пониманием ее как естественно-исторического процесса развития и смены общественно-экономических формаций.

Не поняв этого, Э. Террей не смог правильно оценить целый ряд высказываний Моргана о том, что история человечества есть процесс, происходящий независимо от воли и сознания людей. В них он усмотрел всего лишь отзвуки дарвиновской теории эволюции органического мира (стр. 15, 16).

Не лучше, чем с категорией «общественно-экономическая формация», обстоит дело у Э. Террея и с понятием «способ производства». Критикуя К. Мейясу, который, если верить Э. Террею, сводил способ производства к форме хозяйства, к технике производства, последний дает собственное определение. «Способ производства,— пишет он,— есть система, состоящая из трех частей: экономического базиса (Base), политико-юридической надстройки и идеологической надстройки. В конечном счете экономический базис есть определяющий фактор внутри системы, и поэтому должен быть отправным пунктом для построения теории способа производства. Экономический базис в свою очередь есть комбинация системы производительных сил и системы производственных отношений» (стр. 97, 98).

Ссылка в качестве доказательства на «Капитал» совершенно неправомерна. Ни в «Капитале», ни в какой-либо другой работе К. Маркса мы не находим ничего даже отдаленно приближающегося к данному определению. К. Маркс, Ф. Энгельс, а вслед за ними подавляющее большинство марксистов под способом производства, как правило, понимали и понимают определенную систему производственных отношений вместе с определенными производительными силами¹⁰, т. е. то, что Э. Террей называет «экономическим базисом». В историческом материализме существует термин «экономический базис» или же просто «базис». К. Маркс, Ф. Энгельс и другие марксисты применяли и применяют его для обозначения существующей в обществе системы производственных отношений, являющейся основой, фундаментом всех прочих общественных отношений и форм общественного сознания¹¹. Следует отметить, что в ряде мест своей работы Э. Террей, вступая в противоречие со своим собственным определением, понимает способ производства только как определенное единство производительных сил и производственных отношений (стр. 147, 177).

Таким образом, Э. Террей допускает неточности даже при изложении основ исторического материализма. Еще больше сложностей возникает, когда он пытается преобразовать категории материалистического понимания истории, чтобы приспособить их к специфике докапиталистических обществ вообще, первобытного общества в частности.

⁹ Л. Г. Морган, Древнее общество, Л., 1934, стр. 38.

¹⁰ См. К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч. т. 13, стр. 7; т. 20, стр. 211, 497; т. 21, стр. 309; т. 23, стр. 9, 91; т. 25, ч. I, стр. 357, 364, 483, 484; т. 25, ч. II, стр. 450 и др.

¹¹ К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч. т. 13, стр. 6—8; т. 25, ч. II, стр. 354 и др.

В центре его внимания находится проблема соотношения производственных отношений и прочих общественных связей. Начинает он с труднейшего, по его собственным словам, вопроса об отношении между производственными и родственными отношениями в первобытном обществе. Э. Террей не согласен с мнением К. Леви-Стросса, что в «примитивных» обществах правила родства и брака «обладают операционной ценностью, равной той, что имеют экономические явления в нашем собственном обществе» (стр. 139). «Отсюда следует,— пишет Э. Террей, критикуя эту точку зрения,— что этнология должна покинуть анализ экономической инфраструктуры для анализа родственных отношений, ибо только последний ведет к пониманию «глубинной структуры» примитивных обществ. Но в таком случае последние не являются больше сферой применения исторического материализма, и автономия социальной антропологии оправдывается непреодолимой спецификой ее объекта» (стр. 139).

Достаточным опровержением данного взгляда служит, по его мнению, уже то, что родственные отношения доминируют в социальной структуре не всех примитивных «общественно-экономических формаций», а только части их. Они не доминируют, в частности, ни у масаев, ни у пигмеев мбути (стр. 140).

Но предложенное самим Э. Терреем решение вопроса об отношении между производственными и родственными отношениями в тех обществах, в которых последние являются доминирующими, не отличается особой ясностью. Как указывает он, родственные отношения состоят из особого «материала», имеют «генеалогический» базис, который видоизменяется под воздействием производства таким образом, чтобы отвечать его потребностям. В результате производственные отношения «реализуются» в родственных отношениях (стр. 143, 144). Помимо экономической «фазы» «способа производства» на «генеалогический» базис родственных отношений действуют также и политико-юридическая и идеологическая его «фазы» (стр. 143, 144). Политико-юридические и идеологические отношения также «реализуются» в родственных (стр. 139).

Взгляды автора по данному вопросу излагаются так, что остается совершенно неясным, имеются ли в рассматриваемых им обществах особые производственные, политико-юридические и идеологические отношения, отличные от родственных, или же они существуют только в форме последних. Его высказывания допускают и то и другое толкование.

Крайне противоречивы и взгляды Э. Террея на соотношение производственных и прочих социальных связей в докапиталистических обществах вообще. Прежде всего он подчеркивает качественное отличие всех этих обществ от капиталистического. По его словам, в капиталистическом «способе производства» «экономический базис» является не только *детерминирующим*, как в других «способах производства», но и *доминирующим* и соответственно с этим играет основную роль в производстве (стр. 146). Капиталистические производственные отношения есть отношения исключительно экономические.

Иначе обстоит дело с докапиталистическими производственными отношениями. Они не являются только экономическими (стр. 148). На следующей странице автор уточняет это положение. Характерными для докапиталистических «способов производства» «были,— пишет он,— *неэкономические* узы между производителями, средствами производства и иногда также непроизводителями. Эти узы были не только политическим или идеологическим представительством производственных отношений, но и входили в них как составляющие элементы» (стр. 149). Чуть ниже мы узнаем, что «в докапиталистических способах производства эти узы (т. е. неэкономические.— Ю. С.) выполняют функции, принадлежащие коммерческим отношениям в капиталистическом способе производства» (стр. 149). Неэкономические узы по существу оказываются уже единственным составным элементом докапиталистических производственных отношений. Ни о каких других их элементах автор не говорит ни слова. И завершается это утверждением, что в докапиталистических «способах производства» доминирующим фактором является не «экономический базис», а «идеологическая и политическая надстройка» (стр. 149). «Доминирование надстройки,— разъясняет Э. Террей,— означает *сравнительную интеграцию* трех фаз способа производства; это имеет место, когда юридические, политические или идеологические узы становятся условием процесса производства и соответственно надстройка по необходимости вводится в самый экономический базис» (стр. 150).

Таким образом, Э. Террей в конечном счете приходит к выводу, что в докапиталистических обществах роль производственных отношений выполняют неэкономические, надстроечные связи — политические, юридические, идеологические. Но если все обстоит именно так, то от материалистического понимания общества и истории ничего не остается. И Э. Террею не может помочь ссылка на то, что, согласно его точке зрения, в докапиталистических «способах производства» «экономический базис», не будучи доминирующим, является в то же время детерминирующим (стр. 146). О каком «экономическом базисе» и какой детерминации может идти речь, если сам этот базис не включает в себя никаких других отношений, кроме неэкономических, надстроечных? Сами понятия базиса и надстройки теряют при этом всякий смысл.

Единственным логическим выводом из всех приведенных выше рассуждений Э. Террея может быть только тот, к которому пришли К. Полани, Дж. Дальтон и некоторые другие субстантивисты: исторический материализм, являясь верным в отношении капиталистического общества, неприменим к докапиталистическим обществам. Вывод этот неверен. Фундаментом не только капиталистического, но и всех вообще социальных организмов является система производственных отношений, которые не могут быть никакими другими, кроме как объективными, материальными социально-экономическими отношениями. Однако социально-экономические, производственные связи в докапиталистических обществах вообще, и первобытном в частности, существенно отличаются от капиталистических. Специфический характер носят и отношения между базисом и надстройкой в докапиталистических обществах. И детальный анализ этого своеобразия — одна из самых важных задач, стоящих перед исследователями-марксистами. Пока она не будет выполнена, ошибки, подобные тем, которые допустил Э. Террей, будут повторяться. И не случайно сходные с выдвинутыми Э. Терреем положения мы находим в работах и других авторов.

Теоретические воззрения Э. Террея в конечном счете определяют и результаты предпринятого им анализа экономической структуры общества или, как он сам предпочитает называть, «общественно-экономической формации» гуру. Приступая к этому анализу, Э. Террей исходит из того, что, согласно материалистическому пониманию истории, в любой «общественно-экономической формации» должно быть не менее двух «способов производства» (стр. 73). Следует сразу же сказать, что ничего подобного этому положению исторический материализм не содержит. Конечно, в конкретном отдельном обществе может существовать не один способ производства, а несколько, но это вовсе не обязательно. Существовали и существуют социальные организмы с одним лишь способом производства.

Поиски не менее двух способов производства в «общественно-экономической формации» в значительной степени были облегчены крайней неопределенностью смысла, который вкладывает Э. Террей в термин «производственные отношения». Особенно неясным становится значение этого термина, когда автор обращается к докапиталистическим обществам вообще, в том числе к первобытному. Неопределенность эта проявляется и в том, что говоря о производственных отношениях, Э. Террей нигде не указывает на те признаки, которые, по его мнению, отличают один тип производственных отношений от другого, а тем самым и один способ производства (в обычном смысле слова) от другого. Ничего мы не узнаем от него и о том, сколько же, по его мнению, вообще существует типов производственных отношений и соответственно способов производства.

И в результате в основу выделения способов производства Э. Террей кладет не тип производственных отношений, как это принято в историческом материализме, а фактически формы кооперации труда. «Способов производства» в «общественно-экономической формации» существует, согласно его взгляду, столько, сколько имеется в ней форм кооперации труда. «Число разных форм кооперации, находящихся внутри одной такой формации, — пишет он, — указывает на комбинированное «присутствие» такого же числа способов производства» (стр. 177, 178). Так как в действительности способы производства отличаются друг от друга прежде всего характером системы производственных отношений, а однозначного соответствия между системами производственных отношений и формами кооперации не существует, то тем самым открывается возможность выделения любого числа «способов производства». И эту возможность Э. Террей широко использует.

У гуро он выделяет две основные формы кооперации: *сложную*, которая характеризуется использованием коллективных орудий труда и предполагает разделение труда (стр. 115), и *простую*, при которой работники выполняют идентичную или аналогичную работу (стр. 111). В свою очередь простую кооперацию он подразделяет на две субформы: расширенную простую кооперацию и ограниченную простую кооперацию (стр. 115).

Сложная кооперация имеет место в охоте с сетью, в которой принимают участие все мужчины деревни. Ей соответствуют производственные и надстроечные отношения, которые «реализуются» в племенно-деревенской системе. Это первый способ производства в обществе гуро (стр. 116—122). Он охватывает только мужчин (стр. 156). Простая кооперация обнаруживает существование второго способа производства, который «реализуется» в «линиджной системе» (lineage system) или замещающей ее «системе клала» (стр. 122, 123, 137). Этот «способ производства» охватывает и мужчин и женщин.

Как на характерную черту производственных отношений первого способа производства Э. Террей указывает на коллективную собственность на средства производства и эгалитарные правила распределения (стр. 137). Однако от него же мы узнаем, что о собственности на сети у гуро ничего не известно (стр. 120). А у народа со сходной экономической структурой — дига — сети, используемые в охоте, принадлежат не всей деревне, а тем или иным «линиджам» (стр. 120). У гуро, живших в лесах, добыча делилась между всеми участвовавшими в охоте. У гуро из саванны каждый охотник получал лишь то, что добывал сам. Лишь в некоторых деревнях происходило перераспределение добытого (стр. 121, 151). На этом примере можно отчетливо видеть, что одна и та же форма кооперации может сочетаться с разными социально-экономическими отношениями.

Обращаясь ко второму способу производства, Э. Террей соответственно двум субформам кооперации выделяет два вида производственных ячеек: «рабочую бригаду» (work-team) и состоящую из нескольких таких «бригад» «производственную общину» (production community). Последняя служит основной единицей. Она обычно «реализуется» в «линидже», что и дает основание именовать всю систему в целом «линиджной».

«Линидж» в лице своего старейшины является собственником земли (стр. 121). Именно «линидж», а не «рабочая бригада» является единицей потребления продуктов (стр. 126). Его члены совместно питаются (стр. 112), урожай, собранный ими, хранится в общественных зернохранилищах, находящихся под контролем старейшины. К последнему идет весь созданный группой продукт и от него возвращается к ее членам (стр. 126, 127). Перед нами, таким образом, картина чуть ли не полного коллективизма.

Однако буквально тут же мы узнаем, что молодые люди со временем получают участок земли и право полностью распоряжаться частью продукта (стр. 131). Автор рассказывает о случае, когда сын, расчистивший для себя участок земли, отказался работать на отца и последний ничего не мог с ним поделаться (стр. 132). Сообщается также, что в полигамных семьях жены делились на группы, каждая из которых имела особое рисовое поле, особое зернохранилище и собственный очаг (стр. 112). Далее мы узнаем, что скот был индивидуальной собственностью старейшин и богачей (стр. 113). Старейшины и знатные люди отдавали скот в пользование жителям других деревень и тем самым ставили последних в зависимое положение (стр. 134). И после этого не может уже удивить сообщение о существовании в традиционном обществе гуро рабов и клиентов (стр. 136, 171).

Автор ставит нас также в известность, что у гуро была широко распространена система *клала*. Она существовала там, где были ослаблены связи внутри «линиджа», и представляла собой замену «линиджной» кооперации. В состав группы клала могли входить люди, принадлежащие к разным «линиджам». Эта группа поочередно обрабатывала участки земли, принадлежавшие отдельным ее членам. Отношения внутри такой группы строились на началах строго взаимного расчета (стр. 124, 125). И эту систему отношений, идущую на смену «линиджной», Э. Террей относит к тому же самому способу производства.

Нетрудно заметить, что у Э. Террея не получилось стройной картины общества гуро. Отдельные его утверждения противоречат друг другу и имеющемуся материалу.

Он не смог, на наш взгляд, привести факты в систему, выявить их внутреннюю связь, понять сущность рассматриваемых социальных отношений.

Если учесть все, что было сказано выше об отстаиваемой Э. Терреем трактовке понятий материалистического понимания истории, то причина неудачи, постигшей его, станет еще более ясной.

И об этом нельзя не пожалеть, ибо не может быть никаких сомнений в искренности стремления Э. Террея доказать возможность использования исторического материализма для изучения первобытного общества и самому руководствоваться материалистическим пониманием истории в своих исследованиях. Будем надеяться, что в последующих своих работах автор рецензируемой книги сумеет преодолеть отмеченные недостатки и достигнет желаемой цели.

Ю. И. Семенов

ОБЩАЯ ЭТНОГРАФИЯ

В. Б. Мириманов. Первобытное и традиционное искусство, М., 1973, 319 стр.

Книга В. Б. Мириманова «Первобытное и традиционное искусство», выпущенная в серии «Малая история искусств», рассчитанная на широкого читателя, представляет собой несколько необычное и, скажем сразу, отрадное явление в нашей литературе. В этой работе, написанной, как сейчас принято говорить, на стыке искусствоведения, этнографии и истории первобытного общества, рассматривается целый комплекс важных и сложных проблем, связанных с возникновением и развитием изобразительного искусства и художественного творчества вообще в доклассовых обществах. Вместе с тем этот очерк, построенный на базе последних достижений советской и мировой науки, написан очень хорошим языком, без малейших следов злоупотребления специальной терминологией.

По всем разделам книги последовательно проводится одна идея — о художественном творчестве как специфически человеческой форме деятельности, в равной мере присущей всем народам, населяющим земной шар. Именно поэтому автор стремится показать единство основных этапов развития изобразительного искусства в разных регионах, особенно в тех случаях, когда совершенно невозможно говорить о прямой преемственности или непосредственном влиянии, например в Океании и во Франко-кантабрийском районе.

В. Б. Мириманов уделит большое внимание таким важным вопросам, как причины возникновения художественного творчества и его роль в развитии человеческого общества на ранних этапах последнего. Автор совершенно прав, когда утверждает, что «только появление *общественного* человека (курсив автора) могло вызвать к жизни тот специфический вид сознательной деятельности, который мы называем искусством» (стр. 22). Едва ли можно возражать и против мнения В. Б. Мириманова о том, что понятие художественной деятельности в применении к первобытному человеку не идентично понятию искусства «в том смысле, который приобрело это понятие позднее», поскольку формирующееся эстетическое чувство поначалу растворено, по выражению автора, в сложном синкретическом духовном комплексе (стр. 23). Однако заявление, будто «искусство как особый вид деятельности *социального* (курсив автора) человека также сыграло значительную роль в формировании современного вида *Homo sapiens*» (стр. 22), при всех оговорках, какие высказаны далее, видимо, все же чрезмерно категорично.

В. Б. Мириманов прав, когда рассматривает общность сюжетов и стилистики палеолитического искусства практически на всей территории ойкумены как свидетельство единства человечества. «Следует признать», — подчеркивает он, — что эта общность не может быть ни чем иным, как стихийным выражением общего начала, но не в плане отдельной этнической группы, а в масштабе общечеловеческой общности» (стр. 60). После схождения *Homo sapiens* как биологического вида продолжавшаяся трудовая деятельность, в которую теперь входило и художественное творчество как особый ее вид, в частности изобразительное искусство, способствовала дальнейшему совершенствованию производственных навыков человека и орудий его труда, причем процесс этот был весьма длительным. «Первобытному человеку», — подчеркивает автор, — понадобились сотни тысячелетий, чтобы проделать путь от грубого рубила до острого тонкого резца, которыми выгравированы были на камне первые изображения. Та же деятельность развила подвижность руки и сделала способной к художественному творчеству» (стр. 28).

Значительное место в книге уделено анализу тех функций, какие выполняло (и выполняет сейчас) искусство в жизни создавшего его общества. Функции искусства в первобытном обществе детально рассматриваются в специальной главе работы (стр. 55—102). В целом и предлагаемая автором классификация, и истолкование им различных функций представляются достаточно обоснованными и убедительными. Однако, видимо, целесообразно было бы при анализе социальной функции искусства (стр. 69—73) не ограничиваться указанием на активное участие искусства в политической борьбе или на

переплетение этой функции — в традиционном искусстве — с магико-религиозной (стр. 69). Ведь в рамках социальной функции одно из главных мест занимает сплачивание общества, интеграция его членов в единое целое; именно в этом смысле искусство теснейшим образом сочетает социальную и идеологическую, в частности магико-религиозную, функции. Роль изображений предков, например, никоим образом не ограничена только культовой стороной: эти изображения, как правило, служат и символом единства родового коллектива, состоящего в представлении его членов как из живых, так и из мертвых сородичей. Притом интегрирующую роль искусство играет и в раннеклассовых обществах; пример Бенина, о котором В. Б. Мириманов говорит на стр. 70, 71, хорошо это подтверждает.

Плодотворной представляется и постановка в рецензируемой книге вопроса о соотношении искусства и религиозных представлений. В. Б. Мириманов со всей определенностью выступает против попыток вывести происхождение искусства из религиозных представлений. Он подчеркивает, что искусство «появилось и было уже достаточно развито в эпоху, когда религиозные представления только зарождались» (стр. 91). В то же время, хотя и трудно возразить против тезиса автора о том, что «все основные религиозные культы и обряды везде и во все времена были тесно связаны с различными видами искусства» (стр. 91—92), столь категоричное утверждение, как «объективное... существование религии немислимо вне искусства» (стр. 91), нуждалось бы в более подробной аргументации.

Вместе с тем, выделившись в качестве особого вида человеческой деятельности, искусство развивалось по своим собственным законам, только ему присущим. Это ярче всего проявилось в эволюции художественной формы и художественного стиля. Данному вопросу В. Б. Мириманов вполне основательно уделил большое внимание. Пожалуй, впервые в работе, рассчитанной не на специалистов, археологов и искусствоведов, а на широкую читательскую аудиторию, мы встречаемся со столь детальным изложением периодизации верхнепалеолитического искусства (стр. 142—155). В. Б. Мириманов подчеркивает и убедительно аргументирует то, что общее направление развития шло здесь от натурализма ко все большему уровню абстракции, к превращению реалистического изображения на поздних этапах в символ, зачастую не имевший никакого внешнего подобия изображаемому предмету. При этом автор показывает, что формирование эстетического чувства было неразрывно связано с производственной деятельностью человека; в процессе производства первобытному художнику приходилось наблюдать в окружающем его мире те или иные закономерности в форме предметов, их внешнем облике (стр. 95—96). И так происходило в любом из рассмотренных в книге регионов — Франко-кантабрийском и Сахарском, в Океании и на юге Африканского континента.

Наряду с анализом важнейших теоретических проблем, возникающих при изучении первобытного искусства, В. Б. Мириманов знакомит читателя с лучшими образцами художественного творчества древних людей. В частности, я не могу припомнить в нашей научно-популярной литературе такого детального и богато иллюстрированного описания одной из главных сокровищниц первобытной живописи — пещеры Ласко (стр. 128—140). Значение такого рода описаний в работе, предназначенной для широкого читателя, едва ли нуждается в объяснении.

Не меньший интерес представляет и та часть книги, в которой рассматривается традиционное искусство современных народов Африки и Океании. Должен признаться, что меня, африканиста, в особенности порадовало то внимание, которое уделил автор именно африканскому искусству, как древнему сахарскому и южноафриканскому, так и современному. В. Б. Мириманов сейчас один из самых авторитетных советских специалистов по искусству народов «Черного континента», и это в полной мере проявилось в «африканских» главах книги.

Со времени появления в свет русского перевода книги А. Лота «В поисках фресок Тассили» с предисловием Д. А. Ольдерогге¹ у нас не было еще опубликовано книги, где было бы дано столь подробное и исчерпывающее описание древнего искусства Сахары (речь идет, разумеется, о неспециальной научно-популярной литературе: во второй половине 60-х годов вышло из печати несколько исследований самого В. Б. Мириманова, рассчитанных на специалистов²). При этом в рецензируемой книге охвачены не только Тассили, но и другие области, где распространены наиболее древние наскальные изображения, такие как Феццан, о котором у нас до сих пор писали мало (стр. 202—208). Автор опровергает европоцентристские теории возникновения сахарского искусства, показывая, что оно вполне самобытно, и сфера его распространения составляет столь же самостоятельный художественный регион, как и распространенная сравнительно недалеко Франко-кантабрийская область. Вместе с тем В. Б. Мириманов отстаивает тезис о том, что искусство древней Сахары возникло независимо от становления художественного творчества в южноафриканском регионе (стр. 219 сл., 222 сл.). Раздел книги, посвященный древнему искусству Африки, имеет вполне самостоятельное научное значение, хотя он логически и композиционно связан с разделом о первобытном искусстве вообще.

¹ А. Лот, В поисках фресок Тассили, М., 1958.

² См.: В. Б. Мириманов, Африка. Искусство, М., 1967; его же, К вопросу о происхождении сахарского искусства, «Искусство Африки», М., 1967; Г. Чернова, В. Мириманов, Искусство Африки, М., 1964.

Значительная часть книги рассматривает современное традиционное искусство Африки и Океании. На большом фактическом материале автор показывает, что при всем усложнении форм и общественной жизни искусство это выполняло (а в значительной мере выполняет и в наши дни) те же основные функции, что и искусство первобытного общества. И в связи с этим В. Б. Мириманов подчеркивает относительную независимость формы и стиля художественного творчества, замедленный в сравнении с другими сторонами производства и социальной жизни темп их изменения, что позволяет передавать совершенно новое общественное содержание в традиционной форме произведения искусства (стр. 106—111). Не менее интересны мысли В. Б. Мириманова о понятии свободы творчества в применении к художнику традиционного общества (стр. 280, 281). Свобода в нашем понимании была в таком обществе невозможна: традиция ограничивала и выбор сюжета, и форму его отображения. Особенно ярко это проявилось в знаменитом искусстве Бенина, где канон в конечном счете совершенно задушил инициативу художника (стр. 273—279). Связь искусства с религиозными представлениями традиционного общества — одна из важных причин, способствовавших канонизации тех или иных художественных приемов и форм. Автор демонстрирует это на примере знаменитых масок «чиварра» (или «тьварра») у народа бамбара, маски «канага» у догонов (стр. 281). Можно, пожалуй, добавить здесь, что разъяснение термина «канага», приведенное в словаре на стр. 303, недостаточно полно, поскольку речь идет не просто о символе связи земли и неба, но о символе всей космогонической концепции догонов³.

Книга превосходно оформлена полиграфически, в ней огромное количество безукоризненно выполненных иллюстраций.

Недостатки книги весьма немногочисленны и не сопоставимы с ее достоинствами. Так, в частности, на стр. 23—28, 97 рассматриваются некоторые общетеоретические вопросы. Ранее эти же вопросы со строго марксистско-ленинских позиций, вполне убедительно были разъяснены читателю (стр. 21, 22, 95, 96). Но вдруг автор, как бы испугавшись, что читатель не до конца понял его объяснения, начинает повторять уже сказанное. Такие повторы выглядят в тексте совершенно неорганичными и едва ли нужны.

И еще одно замечание. Как известно, серия «Малая история искусств» выпускается издательством «Искусство» совместно с издательством «Verlag der Kunst» в ГДР. Немецкое и русское издания должны бы, казалось, вполне соответствовать одно другому. Между тем если текст книги В. Б. Мириманова в целом идентичен в обоих изданиях, то библиографический аппарат издательства «Искусство» почему-то сочло возможным сократить. В результате немецкое издание вышло с указателем и подробной библиографией, а русское — без указателя и со списком литературы, настолько сокращенным, что, может быть, его бы вообще не стоило приводить. Хотелось бы, чтобы в последующих томах серии подобных сокращений не было.

В целом, однако, книга В. Б. Мириманова заслуживает самой высокой оценки. Эта работа, несомненно, большой успех и автора и издательства.

Л. Е. Куббель

³ См., например, J. Zwergmann, Masken und Figuren der Dogon im Linden-Museum, «Tribus», 1973, November, № 22, стр. 59—64.

A. Basu, A. K. Ghosh, S. K. Biswas, R. Ghosh (eds). *Physical anthropology and its extending horizons*. S. S. Sarkar memorial volume. Bombay — Calcutta — Madras — New Delhi, 1973, XI, 234 p.

Скончавшийся в 1969 г. индийский антрополог С. С. Саркар был автором многочисленных исследований по физической антропологии, демографии, этнографии. Сборник, посвященный его памяти, носит поистине интернациональный характер. Здесь представлены работы антропологов Австралии, Австрии, Англии, Бразилии, Мексики, Польши, СССР, США, Франции, Чехословакии и, конечно, Индии. В предисловии составители сборника, индийские антропологи А. Басу, А. Гхош, С. Бисвас и Р. Гхош, освещают научную деятельность С. Саркара, приводят список его трудов.

Содержание статей очень разнообразно. Ф. Сальзано (Бразилия) анализирует общее состояние антропологической науки на современном этапе. Сравнение того, как представлены различные разделы антропологии в трех известных учебниках, изданных в США и Англии, и двух крупнейших американских журналах с 1960 по 1969 гг. приводит автора к выводу об отсутствии серьезных сдвигов в тематике работ за последние годы (возможно, что использование данных предшествующих десятилетий привело бы к более отчетливому результату).

К. Кеннеди (США) подробно излагает историю исследования останков палеолитического человека в Южной Азии. Интерпретация материала в большинстве случаев затруднительна из-за неудовлетворительной датировки и недостаточной изученности находок. Имеющиеся данные дают основание предполагать, что древнейшее население Цейлона имело сходство с современными веддами, а палеолитические группы Северо-Западной Индии были предками создателей хараппской цивилизации.

В статье У. Поллитцера и Р. Элстона (США) суммированы результаты анализа метисных популяций, методы установления доли смешивавшихся компонентов. Приводимые примеры касаются исследованных Поллитцером и его коллегами групп, возникших от браков между индейцами, неграми и «белыми» США.

Ж. Иерно (Франция) использовал предложенный им метод для сопоставления 32 африканских популяций по комплексу признаков и выяснил, что на основании полусуммарных показателей общая классификация этих групп невозможна. Зато обнаружилась тенденция к сходству групп, близких по хозяйственно-культурному типу¹.

Работа Т. И. Алексеевой (СССР) представляет собой насыщенную фактически данными сводку советских исследований по морфофизиологической антропологии. Приводятся сведения о газообмене, минерализации скелета, уровне белков в крови и других физиологических признаках в различных этнотерриториальных группах СССР. Особенный интерес вызывают очень высокие (до 0,91) коэффициенты корреляции между содержанием микроэлементов в почвах и измерительными признаками головы и лица. Независимо от того, идет ли здесь речь о модифицирующем или селективном воздействии среды, в свете этих данных придется, очевидно, пересмотреть вопрос о расово-диагностическом значении традиционных антропометрических показателей.

Богата фактами и статья Н. Волянского (ПНР), посвященная влиянию среды на процесс онтогенеза. Здесь обсуждается зависимость морфологии и физиологии человека от географических, климатических и социальных факторов. Изложена теория генетической регуляции индивидуального развития, приведены данные, подтверждающие наличие гетерозиса у человека.

И. Вальшик, Р. Стуковский и Н. Янку (ЧССР) анализируют более частный вопрос о воздействии природной и общественной среды на возраст наступления первой менструации. Этот показатель зависит не только от климата, времени года, но и от уровня физической и психической нагрузки, что подтверждается сдвигом возраста менархе за последние десятилетия.

Генетическая тематика представлена в сборнике несколькими статьями. Сообщение Л. Санги (Индия) касается генетического аспекта кастовой структуры в Индии. Между кастами существуют различия и по морфологическим, и по биохимическим признакам. Возрастание инбридинга (как следствие брачных запретов) приводит к учащению наследственных дефектов. «Генетика и демография» — так называется краткая обзорная статья Д. Робертса (Великобритания), в которой приводятся примеры распространения наследственных болезней и их селективная роль в современном человечестве. Дж. Чавес (Мексика) и Д. Робертс обсуждают значение исследования близнецов для оценки относительной роли наследственности и среды, описывают методы диагностики зиготности. В работе Р. Керка (Австралия) анализируется мировое распределение различных вариантов сывороточных белков и эритроцитарных ферментов, их значение для этнической антропологии. Методический характер носят сообщения А. Ройчоудхури (Индия) о технике вычисления генных частот для основных серологических систем и М. Венингер (Австрия) об определении дерматоглифических признаков. Наконец, для палеопатологов представит интерес описание следов редкого наследственного заболевания, обнаруженных Д. Бросуэллом (Великобритания) на двух древнеегипетских скелетах.

Сборник носит название «Физическая антропология и ее расширяющиеся горизонты». Представляется, что такое название вполне оправданно. Широта географического и тематического охвата — большое достоинство этой книги. Работы авторов из 11 стран дают представление о крупных успехах в развитии основных разделов современной антропологии.

А. Г. Козинцев

¹ Ж. Иерно давно уже призывает к отказу от иерархических классификационных систем в антропологии. Его взгляды были подвергнуты глубокому анализу в посмертно опубликованной рецензии Г. Ф. Дебеца («Вопросы антропологии», вып. 43, 1973).

НАРОДЫ СССР

Л. Н. Семенова. Рабочие Петербурга в первой половине XVIII века. Л., 1974, 214 стр.

Особенности формирования предпролетариата в России в значительной степени были обусловлены длительным существованием крепостного права, тормозившего и деформировавшего процесс развития капитализма. Одна из главных особенностей состояла в том, что предшественниками будущих пролетариев были не вольнонаемные, а крепостные заводские рабочие, наиболее приближавшиеся к будущему рабочему классу по условиям труда и быта, по культурно-психологическим чертам. Это особенно характерно для горно-заводской промышленности Урала, долго остававшейся оплотом крепостничества. Тем не менее, явление это было общерусским, в частности, оно имело место и в Петербурге, о чем говорится в вышедшей недавно книге Л. Н. Семеновой о петербургских рабочих первой половины XVIII в.

Нам уже приходилось писать о наметившемся в последние годы сближении исторической и этнографической проблематики, особенно в области изучения рабочего класса. Монография Л. Н. Семеновой — новое тому свидетельство.

Монография основана на громадном архивном материале, выявленном автором¹, и отличается высоким уровнем источниковедческого анализа.

Переписи 1737 г. она посвящает отдельную статью². Во введении к рецензируемой книге содержится источниковедческий анализ важнейших документов, остальные анализируются и проверяются в ходе изложения. Вот несколько примеров. В 1716 г. Сенат предложил «для корабельного строения... нанять повольною ценою охочих плотников». На документе — пометка об исполнении указа: «Наемных плотников послано 2150 человек...» (стр. 66). В литературе эта цифра принималась как достоверная³, на ее основании был сделан вывод о наличии в то время в Петербурге значительного рынка рабочей силы⁴. Л. Н. Семенова приводит данные, позволяющие высказать предположение о том, что в приписке о найме суммированы данные за какой-то период. Этот и ряд других фактов позволили Л. Н. Семеновой прийти к важному в теоретическом отношении выводу об ограниченности рынка наемного труда в Петербурге (стр. 66—68). Исследователем проверяется буквально все. Так, праздничные дни, которыми пользовались рабочие арсенала, точно определены в «Регистре». Однако Л. Н. Семеновой этого недостаточно; она просматривает еженедельные рапорты и убеждается в том, что в эти дни рабочие действительно были свободны (стр. 112). Размер заработной платы, установленный в договорах, проверяется по ведомостям о выплате жалования (стр. 115). Тем более подвергаются проверке сохранившиеся в архивах сводные данные. Ведомость числа рабочих, занятых на строительстве Александро-Невского монастыря в 1717—1730 гг., Л. Н. Семенова сопоставляет с годовой документацией и обнаруживает неполноту приведенных в ней цифр (стр. 54). Обращение автора с источниками, анализ их доставляют при чтении книги истинное удовольствие. За каждым положением монографии всегда стоят проверенные, репрезентативные и по возможности многочисленные факты. По методам работы в авторе можно безошибочно узнать ученицу замечательного советского ученого С. Н. Валка.

Основное содержание книги сосредоточено в двух главах — «Формирование рабочей силы на строительстве и мануфактурах Петербурга» и «Положение рабочих и мастеровых людей Петербурга». Имеется еще одна, совсем небольшая, но также весьма интересная глава, в которой дана характеристика петербургского населения в целом.

На основе большого фактического материала автор показывает, что обеспечение Петербурга рабочей силой производилось крепостническими методами. Кадры постоянных квалифицированных мастеровых для строительства казенных мануфактур формировались за счет принудительных переселений из других губерний. Анализируя именные списки мастеровых с точки зрения их социального происхождения, Л. Н. Семенова устанавливает, что квалифицированные работники набирались в основном из посадского населения, а малоквалифицированные — из деревень (стр. 42). Она выясняет также, из каких губерний переселялись в столицу мастеровые. В качестве чернорабочих на строительстве использовались временные работники, присылавшиеся в порядке отбывания государственной повинности. Во второй четверти XVIII в. среди чернорабочих стали преобладать отходники, нанимавшиеся по договорам на несколько летних месяцев.

Неудовлетворительное состояние источников, касающихся частных мануфактур, заставляет автора довольно осторожно формулировать свои выводы: «По-видимому, — пишет Л. Н. Семенова, — в целом Петербург мог удовлетворить спрос частных фабрик на временных работников», однако имели место «большие трудности при комплектовании постоянной квалифицированной рабочей силы», потребность в которой «удовлетворялась обычно путем найма мастеров-иноземцев» (стр. 103).

В главе о положении рабочих и мастеровых людей Л. Н. Семенова наиболее детально останавливается на той стороне жизни рабочих, которую в последнее время в этнографии стали называть производственной. Мы узнаем о продолжительности рабочего дня на разных предприятиях и в разные времена года, о числе праздничных дней. В книге дается также описание рабочих помещений — так называемых мастерских изб. Для характеристики внутреннего заводского быта большой интерес представляют «Прозькы о должностях», содержащие «подробные сведения о внутреннем распорядке работ на предприятиях, о правилах поведения мастеровых на заводе и дома и т. п.» (стр. 13). «Прозькы» эти, хотя и были известны историкам, до Л. Н. Семеновой не использовались для изучения положения рабочих. Во всех казенных мануфактурах устанавливалась должностная иерархия. Во главе их стоял комиссар. Мастерские делились на мастеров

¹ Автором изучены фонды Центрального государственного исторического архива, Ленинградского государственного исторического архива, Центрального государственного архива древних актов, Центрального государственного архива Военно-Морского Флота СССР, Архива Военно-исторического музея артиллерии, инженерных войск и войск связи, Ленинградского отделения Архива АН СССР, Архива Ленинградского отделения Института истории СССР АН СССР.

² Л. Н. Семенова, Источники о первой в России переписи наличного городского населения (Переписные книги Петербурга 1737 года), в кн. «Вспомогательные исторические дисциплины», т. III, Л., 1970, стр. 268—280.

³ В. Г. Гейман, Мануфактурная промышленность Петербурга петровского времени, в кн. «Петр Великий», М.—Л., 1947, стр. 255.

⁴ В. А. Шарков, К вопросу о рынке рабочей силы в петровское время, «Вестник ЛГУ», № 8, Л., 1965, стр. 157.

первого, второго, третьего класса, подмастерьев и учеников. В «прозектах», по словам Л. Н. Семеновой, «отразилось стремление заводского начальства поддерживать существование социального неравенства между комиссаром, мастером, учениками, не допускать сближения между ними. Комиссару запрещалось вести себя „фамильярно“ с мастерами, „чтоб не потерять своего почтения у них, ниже б оне звали гордым“. Мастер должен был держать себя перед учениками так, чтобы вызвать у них почтение...» (стр. 119). На казенных мануфактурах были в ходу телесные наказания (батогами, кошками). Хотя «Уставы» пытались защитить работников от самоуправства мастеров, фактически те поступали с рабочими как им угодно.

Положение наемных работников значительно отличалось от положения казенных мастеровых. Л. Н. Семенова обнаружила в архиве Александров-Невской лавры интересные документы — публикационные листы, т. е. объявления о найме рабочих, «вероятно, первые дошедшие до нас документы подобного рода» (стр. 18), подлинные договоры о найме (стр. 19, 121—123) и челобитные, составленные наймавшимися на работу (стр. 20—21, 123—124). Значение последних трудно переоценить — таких документов еще не было в руках исследователей; легко представить, как редки, в особенности для столь давнего времени, а следовательно, и ценны документы, составленные самими работниками.

Особенно обстоятельно исследует Л. Н. Семенова заработную плату рабочих. Мастеровые как на строительстве, так и на казенных мануфактурах получали денежную заработную плату, размер которой зависел от должности и квалификации. В Петербурге у мастеровых было более высокое жалованье, чем в других городах. Особенно это характерно для мануфактур военного ведомства. Оклады постоянных мастеровых на строительстве были ниже; чтобы стимулировать более производительный труд, некоторых строителей переводили на подрядную форму оплаты (стр. 140). Это, по справедливому мнению автора, смягчало принудительный характер труда. Кроме денег мастеровые казенных мануфактур получали так называемое хлебное жалованье, что было вызвано, как полагает Л. Н. Семенова, чрезвычайно высокими ценами на хлеб в Петербурге (стр. 142). Вместе с тем автор справедливо полагает, что хлебное жалованье было не столько платой за работу, сколько платой «за обязанность жить в Петербурге и быть готовыми к работе» (стр. 145). Подобным образом — как плату за обязанность жить в Петербурге — рассматривает Л. Н. Семенова и земельное обеспечение некоторых категорий мастеровых (стр. 145). Земельные наделы получали главным образом жившие на окраинах и даже вне города мастеровые-строители. Размер надела был равен 6 десятинам, что составляло 25% обычного надела крестьян Ингерманландии (стр. 147, 148). Естественно, что продукты земледелия могли служить только подспорьем, основу составляло денежное жалованье.

Труд крестьян, присылавшихся для отбывания государственной повинности, был полностью подневольным и фактически даровым, так как даже деньги на их содержание собирали с тяглых дворов тех губерний, которые высылали работника (стр. 129). В дальнейшем на казенном строительстве стали использовать наемных работников. Их заработная плата вначале также была денежно-продуктовой (стр. 153). Наемные работники Александров-Невской лавры продуктов питания не получали (стр. 156).

Интересный вопрос о заработной плате на частных мануфактурах трудно решить из-за недостатка источников. Однако Л. Н. Семеновой удалось на основании разрозненных сведений сделать некоторые заключения — о существовании как повременной, так и сдельной оплаты, о низком ее уровне, о том, что «работники частных мануфактур, как правило, получали от хозяина еду, питье, одежду и обувь и жили на территории мануфактуры в домах, принадлежавших фабриканту» (стр. 157).

В рецензируемой книге содержатся также сведения о быте рабочих вне производства. Сюда относится прежде всего вопрос о расселении и жилищах. В массе своей мастеровые и рабочие люди жили в слободах на окраинах Петербурга. При Петре I были две рабочие слободы и в центре столицы, позднее они были ликвидированы. «Слободы представляли собой поселения типа деревень — избы, земельные наделы, выгоны для скота» (стр. 178). Избы для переведенцев строились за счет казны. Монастырские работники строили избы сами. Часть казенных мастеровых (не имевших семей) жила в казармах; когда казарм не хватало, мастеровых размещали постоем у тех, кто имел собственные избы. Временные работники, отбывавшие государственную повинность, находились в наихудших условиях. Хотя для них иногда и строили казармы, все же большинство жило в землянках и шалашах (стр. 169). Вольные временные работники нанимали квартиры у постоянных жителей столицы (стр. 175).

Кое-какие материалы удалось выявить Л. Н. Семеновой о питании рабочих. Мы узнаем о примерной стоимости питания, отчасти о его составе (набор продуктов) и очень мало — об употреблявшихся блюдах. Работники (несемейные) обычно питались артелью. Называлось это «быть в одной каше». «Подобный термин, — пишет Л. Н. Семенова, — также подчеркивает, что основной едой была каша» (стр. 166).

Семья и семейная жизнь мастеровых не были предметом специального исследования автора, но кое-какие сведения о них приведены. На основе анализа списков Л. Н. Семенова делает несколько любопытных выводов. Семьи заводских работников были многочисленны; семьи живших в слободах строительных мастеровых были многолюднее (стр. 183).

Довольно подробно рассказывается об обучении детей. Государство ощущало нужду в грамотных рабочих, поэтому обучение детей мастеровых рассматривалось как их служба; обучавшимся грамоте детям 5—10 лет выдавали хлебное и денежное жалование. Начальное образование получали почти все дети (мальчики), а некоторые из них учились даже в математической, латинской, артиллерийской школах (стр. 186—191).

Особенностью быта казенных мастеровых была его жесткая регламентация. Так, по «Проекту о должностях» порохового завода мастеровые «не имели права отлучаться из слободы, где они жили, ни в праздничные дни, ни вечером в рабочие дни» (стр. 182). В определенное время они должны были посещать церковь. Даже идти в кабак или играть в карты разрешалось лишь в урочные часы (стр. 182, 186). Не могли мастеровые по своему усмотрению распоряжаться жалованьем. Регламентировались отношения между разными категориями мастеровых. Так, мастеру запрещалось вместе с учениками ходить в шинок, играть в карты (стр. 121). Большой материал приведен в рецензируемой книге о состоянии здоровья и медицинском обслуживании рабочих (стр. 194—201). В целом книга Л. Н. Семеновой достоверно и ярко воссоздает особенности быта и положения рабочих Петербурга.

* * *

Историки, изучающие формирование и развитие рабочего класса, обычно более всего занимает конфронтация принудительного и наемного труда. Между тем проблема становления рабочего класса отнюдь не может быть исчерпана анализом замены зависимого, принудительного труда свободной капиталистической куплей-продажей рабочей силы. Не менее важными были и два других процесса — переход от сельскохозяйственного труда к промышленному, то есть постепенное превращение крестьян в рабочих и урбанизация, переход бывших сельских жителей на положение горожан. Исследование этих вопросов всегда было близко этнографической науке.

Автор рецензируемой монографии отдает дань традиционному для историков подходу, тем не менее в книге содержится богатейший материал для анализа и других сторон проблемы.

В составе петербургских рабочих XVIII в. явственно усматриваются группы, каждая из которых стоит на разных ступенях перехода от сельских жителей к городским, от крестьян — к мастеровым, от несвободных — к наемным рабочим.

Рабочих — постоянных жителей Петербурга можно разделить на две группы. Мастеровые казенных мануфактур наиболее продвинулись в своем развитии. Превращение в городских жителей завершено: нет никаких связей с деревней, нет там даже родственников, так как все они — потомственные горожане. Переход к промышленному труду также полный (земельные наделов нет, труд на производстве — единственное средство к существованию) и окончательный (об этом говорит высокий уровень квалификации и наследственность профессий). Однако мастеровые казенных мануфактур — зависимые, несвободные люди.

Мастеровые-строители еще не совсем горожане. Они по большей части живут на окраинах столицы в слободах, весь быт которых напоминает деревенский. Промышленный труд для них — не единственное, хотя для большинства и главное занятие (они имеют земельные наделы, которые хотя и меньше крестьянских, но все же являются в известной мере источником существования). Психологически они также не совсем еще рабочие. О двойственной природе этих групп мастеровых свидетельствует зафиксированное Л. Н. Семеновой обратное превращение некоторой их части в крестьян (стр. 148—149). По степени зависимости они не отличаются от первой группы, т. е. столь же несвободны, как и мастеровые казенных мануфактур.

Постоянное рабочее население Петербурга в основном состояло из этих двух групп. Остальные были временными работниками и уже в силу этого, не горожанами. Их семьи жили в деревне, они сами проводили там большую часть жизни. Основным их занятием был крестьянский труд. И все-таки по степени отрыва от крестьянского труда, а также по характеру найма можно выделить среди них различные друг от друга группы.

Отбывавшие государственную повинность на строительстве Петербурга в начале века крестьяне никакого отношения к формированию рабочего класса не имеют. Это были крестьяне и только крестьяне, насильственно оторванные от привычного дела и привычного быта. Но среди них уже встречались предшественники будущих отходников: иногда крестьяне, вместо того, чтобы самим отбывать повинность, нанимали за себя охотников, для которых это иногда становилось постоянным, на каждое лето, занятием.

Временные сезонные рабочие-отходники, нанимавшиеся на казенные и частные работы на несколько летних месяцев, приближаются к будущим пролетариям по способу найма (хотя у себя в деревне они остаются феодально-зависимыми). Но у них нет квалификации, они даже в городе заняты работой, которую никак не назовешь промышленной (копают, пилят, таскают тяжести).

Была еще одна группа, только зарождавшаяся в то время, а потому очень немногочисленная, но интересная тем, что наиболее близка по своему положению к рабочему классу. Речь идет о наемных рабочих, постоянно (или хотя бы подолгу) живших (вместе с семьями) в Петербурге. Они имели определенную профессию или хотя бы минимум квалификации, труд в промышленности являлся главным источником их существования.

Среди них встречались и крепостные, жившие в городе по паспорту, и свободные (подставные, отставные солдаты и т. п.). Группа эта, однако, для XVIII в. была не характерна.

Таким образом, на материалах рецензируемой книги прослеживается одна из особенностей формирования предпролетариата в России, обусловленная длительным существованием крепостного права и заключавшаяся в том, что становление городского образа жизни и переход от крестьянского к промышленному труду предшествовали смене принудительного труда наемным.

Н. В. Юхнева

Д. В. Сычев. Из истории калмыцкого костюма. Очерк с приложением материалов из документов, дневников и сочинений путешественников, ученых и служилых людей. Элиста, 1973, 168 стр. с илл.

Национальный костюм любого народа — очень трудное для анализа явление. Будучи оригинальным по своему покрою и декору, он вместе с тем включает в себя множество элементов, отражающих и социальную историю, и эстетические вкусы, и историко-культурные связи и взаимовлияния различных народов. Особенно трудна для изучения история национального костюма калмыков, монголоязычного народа, прикочевавшего в начале XVIII в. из далеких центральноазиатских в приволжские степи.

Теперь уже невозможно воссоздать калмыцкий национальный костюм того времени, когда калмыки добровольно вошли в состав Русского государства. В сохранившихся вариантах калмыцкого костюма XIX в. в значительной мере утрачено общемонгольское начало (особенно это касается мужского костюма) и легко прослеживается влияние новых соседей калмыков — горцев Кавказа, русских, народов Поволжья.

Культурные связи были и остаются одним из важных стимулов исторического прогресса. Однако, несмотря на тесные связи калмыков со своими новыми соседями, калмыцкие мастера сумели творчески переработать все, что проникло в их культуру. Талантливые руки калмычек нередко превращали национальный костюм в уникальное произведение самого высокого искусства.

К сожалению, история калмыцкого костюма никогда и никем до сих пор систематически не изучалась. Ценные сведения, оставленные нам такими замечательными исследователями калмыцкого быта, как Н. А. Нефедьев, П. И. Небольсин, И. А. Житецкий, Н. Н. Пальмов и др.¹, не дают еще полного представления о национальном костюме и украшениях к нему.

Необходима была сводная работа, в которой был бы собран и обобщен этнографический, литературный и изобразительный материал, относящийся к калмыцкой одежде.

Театральный художник Д. В. Сычев много лет занимался сбором и зарисовками лучших произведений калмыцкого народного искусства. В 1970 г. он издал красочный альбом «Хальмг улсин эрдм» («Калмыцкое народное искусство»), получивший высокую оценку научной общественности. А вскоре Д. В. Сычев опубликовал, наконец, первую книгу по истории калмыцкого костюма.

Рецензируемая работа содержит небольшое введение, три главы и обширные приложения, в которых особую ценность представляют 32 таблицы, выполненные самим автором.

В первой главе автор отмечает черты сходства и различия в калмыцкой и монгольской одежде, и умело используя для подкрепления своих выводов таблицы с рисунками костюмов монгольских и других народов, доказывает, что отдельные детали калмыцкого национального костюма имеют многовековую историю, что он не был заимствован ни у китайцев, ни у народов Кавказа (стр. 7—16).

Вторую главу Д. В. Сычев посвящает совершенно неисследованному вопросу — истории костюма калмыков XVIII в. Буквально по крупицам собирая и анализируя во многом противоречивый и зачастую неточный материал путешественников и исследователей XVIII столетия, автор делает попытку воссоздать общий вид костюма того времени. Попытка эта в целом оказалась, на наш взгляд, успешной, так как Д. В. Сычев подошел к решению неимоверно трудной задачи вдумчиво, терпеливо и исключительно добросовестно. Ему удалось путем сложных поисков и сопоставлений различных описаний и зарисовок современников реконструировать мужскую и женскую одежду, головные уборы и украшения калмыков XVIII в.

¹ См.: «Подробные сведения о волжских калмыках, собранные на месте Н. Нефедьевым», СПб., 1834; П. И. Небольсин, Очерки быта калмыков Хошоутовского улуса, СПб., 1852; И. Бентковский, Одежда калмыков Большедербетовского улуса, «Сборник статистических сведений о Ставропольской губернии», вып. 2, Ставрополь, 1869; И. А. Житецкий, Очерки быта астраханских калмыков. Этнографические наблюдения 1884—1886 гг., М., 1893; Н. Н. Пальмов, О калмыцких ремеслах, «Калмыцкая степь», № 4—6, Элиста, 1928.

В третьей главе, посвященной эволюции калмыцкого костюма в XIX в., Д. В. Сычев впервые дает полную классификацию национальной одежды калмыков и отмечает важную роль орнамента в ее украшении. Автор критикует тех этнографов, с легкой руки которых установился неверный взгляд на калмыцкий орнамент как на нечто «бедное по форме и по содержанию». Это ошибочное мнение, по мысли Д. В. Сычева, «сложилось прежде всего потому, что исследователи не придавали орнаменту того значения, которое он заслуживает и на какое имеет право» (стр. 34). Сравнивая калмыцкий орнамент с монгольским, автор отмечает, что последний «не имеет ничего общего с калмыцким, что само по себе удивительно, если вспомнить об общности истории монгольских племен, или бытовых вещей, тождественных по форме с монгольскими, как кожаная фляга бортха, деревянный кувшин для чигана, войлочные ковры ширдыг или известная нам безрукавка цэгдег, чехлы для кос шиверлиг» (стр. 36).

Д. В. Сычев безусловно прав, когда говорит о том, что калмыцкий орнамент отличается от современного монгольского. Думается, что известный фонд современной монгольской орнаментики явился результатом и отражением тех многовековых культурных связей и контактов, которые монголы имели с народами Тибета, Индии и других стран, исповадовавших буддизм или его разновидность ламаизм. Сравнительный анализ современного народного искусства монголов со средневековым показал, что до XVII в. (времени принятия монголами ламаизма) монгольский орнамент не отличался богатством мотивов и яркостью колорита.

Как известно, орнамент западных, прибайкальских бурят (ольхонских, эхирит-булагатских, аларских, тункинских, унгинских) сильно отличается от орнамента восточных, забайкальских (хоринских, селенгинских, агинских, боханских, цонгольских) своей суровой простотой, преобладанием геометрических мотивов, немногочветием, большим спокойствием, статичностью. И если бы Д. В. Сычев сравнил орнамент калмыков не с восточномонгольским, а с западнобурятским, то нашел бы немало аналогий, свидетельствующих в пользу тесных историко-культурных связей ойратов, этнических предков калмыцкого народа, с бурятами, жившими к северо-западу от озера Байкал. Кстати, об этих связях ойратов с западными бурятами говорят и данные древнемонгольского фольклора².

Как уже отмечалось, весьма ценная часть рецензируемой книги и самая большая по объему — раздел «Приложения» (стр. 43—96). Здесь исследователь почерпнет немало сведений о монгольской и калмыцкой одежде. Несомненная заслуга Д. В. Сычева — введение вновь в этот раздел в научный оборот таких источников, как, например, «Месясцеслов исторический и географический на 1788 год» или «Санкскрин — курэдэ. Священное калмыцкое изображение и сведения о донских казаках действительного члена Областного Войска Донского Статистического комитета Ф. Траилина», давно уже ставших библиографической редкостью.

Вместе с тем выписки из литературных источников, касающиеся костюма монгольских народов, страдают неполнотой. Явно недостает в «Приложениях» выписок из работ таких известных этнографов-монголоведов, как К. В. Вяткина³ (костюм монголов МНР и бурят), И. Е. Тугутов и А. В. Тумахани⁴ (костюм бурят), К. Торин и Х. Хансен⁵ (костюм монгольских народов Китая).

Известно, что ценность рецензируемой книги определяется не тем, чего в ней нет, а богатством научного материала и мысли, которые делают книгу нужной и полезной для читателя. Д. В. Сычеву несомненно удалось главное — написать такую книгу, которая явится ценным пособием для всех, кто интересуется уникальной материальной и духовной культурой, созданной монголоязычными народами.

Н. В. Кочешков

² К. В. Вяткина, Общие черты материальной и духовной культуры у западных монголов, бурят и южных алтайцев, М., 1964, стр. 2, 3.

³ К. В. Вяткина, Монголы Монгольской Народной Республики, «Востоочноазиатский этнографический сборник», «Труды Ин-та этнографии АН СССР», т. LX, М. — Л., 1960, стр. 189—201; е е же, Очерки культуры и быта бурят, Л., 1969, стр. 94—102.

⁴ И. Е. Тугутов, Материальная культура бурят. Этнографическое исследование, Улан-Удэ, 1958, стр. 117—144; А. В. Тумахани, Бурятское народное искусство, Улан-Удэ, 1970, стр. 6—23.

⁵ К. Торин, Восточная Монголия с этнографической точки зрения (на яп. яз.), Токио, 1927; Н. Н. Hansen, Mongol costumes, «National Museets Skrifter», Ethnografisk Raekke, III, København, 1950.

Богатейшие коллекции старейшего русского государственного академического музея—Музея антропологии и этнографии (МАЭ) имени Петра Великого заслуженно привлекают к себе внимание как советских, так и зарубежных издательств¹.

Среди осуществленных изданий одно из первых мест займет новейшая публикация, посвященная маскам народов Сибири, в которой использованы материалы и других музеев Ленинграда. Это издание подготовил и осуществил один из крупнейших советских сибиреведов-этнографов, ученый с мировым именем С. В. Иванов. Летом 1974 г. научная общественность тепло и сердечно отметила пятидесятилетие его работы в МАЭ и Институте этнографии.

Вклад С. В. Иванова в этнографическую науку огромен, его труды достаточно хорошо известны. С. В. Иванов получил не только этнографическое, но и историко-художественное образование, что позволило ему осуществить комплексный подход к изучению первобытного искусства. Им написано свыше 100 научных работ².

С. В. Иванов был зачислен на работу в МАЭ в качестве практиканта в ноябре 1925 г. Всего через четыре года после этого, в октябре 1929 г., директор МАЭ акад. Карский рекомендовал С. В. Иванова вниманию Президиума АН СССР «...как чрезвычайно даровитого, трудоспособного и знающего научного работника, специалиста (разряда моя.—А. Р.) в той области, которая в СССР почти совершенно не имеет представителей, а именно в области первобытного искусства». В этом отзыве, хранящемся в личном деле Сергея Васильевича, между прочим, также говорится об изучении им орнамента и охотничьих масок алеутов, имевших магико-производственное значение. Таким образом, можно говорить о стойком интересе С. В. Иванова к проблеме происхождения и развития масок у народов мира, особенно у народов Сибири.

Этой теме посвящено и рецензируемое издание. Оно представляет собой альбом, в котором помещены фотографии, всесторонне отражающие маски народов Сибири и Дальнего Востока. Альбом снабжен небольшим введением и очерком С. В. Иванова о масках рассматриваемого региона. Большой заслугой автора очерка является исторический подход к проблеме. Опираясь на работы археологов и этнографов, он показывает, что искусство маскировки существовало уже в эпоху палеолита, когда оно, как свидетельствуют наскальные изображения, носило реалистический характер. Позднее под влиянием возникавших религиозных представлений о природе и человеке формы изобразительного искусства усложнились. Это нашло отражение и в масках, которые использовались народами Сибири во время охоты, в различных обрядах, а также праздничных мистериях и пантомимах.

С. В. Иванов не случайно выбрал для своего исследования маски народов Сибири и Дальнего Востока: чукчей, эскимосов, коряков, хантов, манси, ненцев, эвенков, удэгейцев, кумандинцев, шорцев, тувинцев, бурят: если маскам народов Америки, Африки, Океании посвящена большая литература, то о масках народов Сибири и Дальнего Востока существует только фрагментарные сведения; опубликованы лишь отдельные экземпляры масок этих народов.

Классификация масок разработана советским этнографом и театроведом А. Д. Авдеевым³. Заслуга С. В. Иванова состоит в том, что на базе схемы А. Д. Авдеева он дал четкую обоснованную классификацию масок народов Сибири, выделив три основные группы: маски-личины, маскоиды и маски—головные уборы, в том числе наголовники. Дается также анализ маскированной деревянной скульптуры, в которой автор видит, в частности, изображения шаманов, когда-то камлавших в масках.

Говоря о назначении масок, С. В. Иванов делит их на две основные группы: 1) маски, применявшиеся во время охоты, обрядов и мистерий, 2) шаманские маски. Он справедливо считает, что маски первой группы являются более древними по отношению к маскам второй группы. Ценно то, что даже в этом кратком очерке показана спорность проблем, изложены точки зрения и мнения разных авторов. Хотя автор посвящает свою работу только маскам народов Сибири, он часто приводит материалы по маскам у других народов. Это дает ему возможность сделать важный вывод о том, что «мас-

¹ E. Siebert, W. Forman, *Indianerkunst der amerikanischen Nordwestküste*, Praha, 1967; «*Afrikanische Kunst. Aus der Afrika-Sammlungen des Museums für Anthropologie und Ethnographie*, Leningrad. Text D. Oldenroge. Photographien W. Forman», Praha, 1969; «Музей антропологии и этнографии. Авторы Г. Ганюшкина, Р. Разумовская, И. Шаврина. Фотографии В. Стукалова», Л., 1973.

² См. список основных работ С. В. Иванова в настоящем номере журнала, стр. 188.

³ А. Д. Авдеев, Маска. Опыт типологической классификации по этнографическим материалам, «Сб. МАЭ», М.—Л., статья первая—1957, т. 17, стр. 232—344; статья вторая—1960, т. 19, стр. 39—110; А. Д. Авдеев, Маска и ее роль в процессе возникновения театра, «VII Международный конгресс антропологических и этнографических наук», т. VI, М., 1969, стр. 80—86.

ки народов Сибири входили в широкий круг предметов этого рода и не представляли собой явления, ограниченного пределами Северной Азии» (стр. 22).

С. В. Иванов затрагивает и вопрос о причинах сходства масок самых разных по происхождению народов Сибири и Дальнего Востока — этой громадной историко-этнографической области. Он справедливо объясняет это сходство как близостью обрядов и религиозных представлений народов Сибири, стоявших в общем на одной ступени социально-экономического развития, так и общими историческими судьбами и этно-культурными связями. Бесспорны, например, родственные связи между разными группами эвенков, бурят и монголов. С. В. Иванов обращает внимание на значение масок как источника для изучения этнической истории народов Сибири.

Наконец, нельзя не отметить прекрасную работу В. А. Стукалова, продемонстрировавшего и на этот раз в своих фотографиях прекрасный художественный вкус и высокое мастерство.

Что касается замечаний к рецензируемой работе, то они настолько несущественны, что о них едва ли стоит упоминать.

В целом же это первоклассное издание, выход которого можно только приветствовать.

А. М. Решетов

«North/Nord». A special issue on the Soviet North. March/April 1973, 48 p. (Un numéro spécial sur le Nord Soviétique. Mars/Avril 1973) *

Рецензируемый номер журнала «Норд» посвящен успехам развития Севера СССР. Такая целенаправленность не случайна. Проблемы освоения природных богатств стран, территории которых входят в циркумполярную зону, развития в них транспорта и средств связи, перспективы жизни коренного населения теперь актуальны, как никогда. Поэтому в Америке, особенно в Канаде, внимательно изучают коренные преобразования, произошедшие на Севере СССР за годы советской власти. Особый интерес вызывает участие северных народов в работе местных органов управления, их адаптация к новым видам занятий, организация просвещения на Севере. Поскольку Советский Союз имеет значительно большие северные области, чем любая другая страна, к тому же плотность населения здесь выше и освоены они лучше чем, например, Север Канады, интерес к Советскому Северу особенно велик. Это и побудило издателей журнала «Норд» подготовить специальный номер, посвященный Северу СССР. Для участия в номере были приглашены ученые и специалисты, изучающие северные районы нашей страны — Р. Боун (Институт северных исследований Саскачеванского университета), Л.-Э. Амелин (Центр северных исследований университета Лаваль), Г. Раули (Департамент по делам индейцев и развития Севера), У. Слипченко (Исследовательский отдел североведения Департамента по делам индейцев и развития Севера) и другие.

Основная цель данного выпуска — познакомить читателей «с планами и свершениями русских в развитии и заселении Севера» (стр. 1). В этой связи, видимо для большей убедительности, в ряде статей сопоставляются факты, связанные с развитием Советского Севера и Севера Канады. К сожалению, не во всех статьях этот принцип выдерживается, иногда авторы приводят материалы, относящиеся лишь к Советскому Северу. Например, приводится динамика численности коренного населения Севера СССР, границы расселения отдельных народов, административное устройство, но подобные данные о Канаде отсутствуют.

В журнале много иллюстраций. Они существенно дополняют и облегчают понимание текста статей. Абсолютное большинство их взято из изданий Агентства печати Новости.

К журналу приложены четыре карты. Одна из них посвящена только Северу СССР (№ 3) и показывает его население, административное деление, города с числом жителей более пяти тыс. человек. На других картах приводятся данные как о Советском Севере, так и о Севере Канады: об их естественно-географических зонах (№ 1); заселении (№ 2); путях сообщений (№ 4). Все карты несут самостоятельную информацию и снабжены лаконичными, ясными легендами.

* Журнал «Норд» издается в Канаде Департаментом по делам индейцев и развития Севера. Он выходит шесть раз в год, статьи в нем публикуются на английском и французском языках.

Открывается журнал коллективной статьей Г. Раули, У. Слипченко, А. Р. Петча и Р. Богасиса «Введение к Советскому Северу». В ней определяются задачи данного номера, формулируется определение понятия Север (со ссылками на С. В. Славина), приводятся сведения о площади Советского Севера, о численности населения. На Севере СССР, по мнению авторов, проживает примерно шесть млн. человек, тогда как на Канадском Севере, к северу от 60° с. ш. — лишь около 50 тыс. Необходимо сказать, что авторы «Введения» неправоммерно отодвигают далеко на юг южные границы Советского Севера, что делает приводимые данные недостаточно сопоставимыми. В статье отмечается особенно быстрое развитие Советского Севера после окончания второй мировой войны. Приводится высказывание Министра по делам индейцев и развития Севера Ш. Кретьена: «Нет сомнения в том, что Сибирь находится в движении и что Ваша страна может справедливо гордиться своими достижениями» (стр. 3).

Самая большая статья выпуска «Канадские и русские северные районы: анализ контрастов» принадлежит Д. Гибсону. Подчеркивая успехи в развитии и освоении Советского Севера, автор отмечает отставание Севера Канады, что, по его мнению, объясняется особенностями развития этого региона и его естественно-историческими условиями. Важное значение, в частности, автор придает разным уровням заселенности Советского и Канадского Севера. В настоящее время аборигены на Севере Канады составляют половину населения, а на Советском Севере — одну шестую, что, как сказано в статье, отражает «решимость русских развивать и заселять Север». Если на Севере Канады только два города имеют население свыше 10 тыс. человек (в самом большом из них меньше 50 тыс.), то в СССР семь городов с населением более 100 тысяч человек, тридцать — более 50 тыс. человек, сто — более 10 тыс. человек. В СССР рассматриваемый регион отличается развитой горнодобывающей промышленностью и далеко продвинувшимся на север сельским хозяйством. В СССР более широко, чем в Канаде, поставлено исследование северных районов. Здесь больше исследовательских институтов, опытных станций, экспедиций, изучающих Север. В этой зоне имеются два университета (петрозаводский и якутский) и четыре отделения Академии наук СССР (на Колыском п-ве, в Карельской АССР, Коми АССР и Якутской АССР). Автор, очевидно, не знает о существовании академических институтов в Петропавловске-на-Камчатке и в Магадане.

Д. Гибсон объясняет отставание канадского Севера также физико-географическими особенностями последнего, затрудняющими его освоение (например, на Советском Севере много судоходных рек, в Канаде — только одна — Мекензи, в СССР — большие материковые площади, на Канадском Севере — архипелаги и т. п.). Еще одну из причин отставания автор видит в том, что Север Канады начал осваиваться поздно, лишь в XVIII в., в то время как русские появились на Мурманском побережье в XI в., а в середине XVII в. уже дошли до Беренгова пролива. Отсюда у русских большее знание Севера, большее понимание его проблем и возможностей. Так, например, по мнению автора, у русских огромный опыт в аккультурации коренного и акклиматизации пришлого населения; они владеют совершенной техникой строительства на вечной мерзлоте. Одно из преимуществ, способствующих развитию Советского Севера — это большое число (около 1 млн. чел.) коренных жителей, принадлежащих не менее чем к «доинным этническим группам», в то время как на Севере Канады всего лишь 25 тысяч аборигенов, принадлежащих к двум группам — индейской и эскимосской. «Это, — пишет Д. Гибсон, — дает Советскому Союзу преимущество, создавая больший фонд аборигенной рабочей силы, привыкшей к условиям Севера, а также сохраняя более богатое аборигенное культурное наследие». К причинам, способствующим быстрому развитию Советского Севера, автор правильно относит экономическую политику правительства СССР, в то время, как в Канаде не проводится «продуманной политики развития Севера» (стр. 2). Использование местных ресурсов основывалось здесь на частном предпринимательстве, учитывавшем высокую стоимость работ.

Во многом интересная и содержательная статья Д. Гибсона имеет довольно пессимистический конец. Автор выражает сомнение в возможности такого же широкого освоения природных богатств Канадского Севера и заселения его европейцами, как это осуществлено в СССР. Развитие Канадского Севера сдерживали и будут, по его мнению, сдерживать высокая стоимость труда, необходимость в специальном техническом оборудовании, трудности строительства, связанные с вечной мерзлотой, большие транспортные затраты. И даже в том случае, если современный подъем национальной экономики в Канаде приведет к развитию Севера, Советский Север все же сохранит преимущество природных и человеческих ресурсов над своим «канадским аналогом».

Не менее интересна для канадского читателя статья Роберта М. Боуна «Население и народности Советского Севера». В отличие от Д. Гибсона, Р. М. Боун совсем не приводит сравнительных данных по Канаде. Его статья начинается с краткой характеристики наиболее важной отрасли хозяйства аборигенов Советского Севера — оленеводства. В статье сообщаются данные об общем числе оленей, товарной продукции, лицах, занятых в оленеводстве, заработках пастухов. Р. Боун, особо подчеркивая, что в СССР животноводы получают «бесплатную одежду и мясо по себестоимости», однако, не упоминает о том, что народы Севера, как и все граждане СССР, пользуются всеми другими социальными привилегиями, как-то: бесплатной медицин-

ской помощью, правом бесплатного обучения во всех видах учебных заведений; на них распространяется законодательство о пенсионном обеспечении по старости и т. п. В статье не отмечены также и такие занятия народов Севера, как рыболовство (которое развивается на индустриальной основе), охота и звероловство, земледелие, обеспечивающие их участие в общем социальном и экономическом развитии народов Советского Союза и коренным образом меняющие социальную структуру современных аборигенов Севера.

Р. М. Боун характеризует численность и этнический состав населения Севера СССР и приводит данные о его движении с 1959 по 1970 гг. Автор считает, что увеличение числа жителей Севера СССР происходит не только за счет переселения с юга, но и за счет естественного прироста коренного населения. «Развитие промышленности, несомненно, будет вовлекать все больше коренного населения в промышленно-городской образ жизни» (стр. 30), — говорится в статье.

Статья удачно дополняется таблицами, составленными на основании данных переписи 1959 и 1970 гг., которые дают ясное представление о современном расселении и численности народов Советского Севера.

Выразительно, хотя и несколько лаконично, составлен фотоочерк «Современная Сибирь». Он состоит из нескольких разделов, позволяющих судить о состоянии современной культуры, образования, спорта, сельского хозяйства, охотничьего промысла (как профессии), жилищного строительства и средств передвижения. Главное назначение очерка — отобразить черты нового в жизни коренного населения Сибири. Подробные подписи под каждой фотографией составлены на английском и французском языках. Каждому разделу предпослано краткое введение. Например, во введении к разделу культуры читаем: «Красочные обрядовые танцы, старинные народные песни и ремесла — лишь одно из проявлений культуры якутов. Сохраняя народные виды искусства, в Якутии развивают также классические его формы — оперу, балет и литературу (письменность возникла в Якутии четыре-пять десятилетий тому назад). Советское правительство считает важной задачей сохранение культуры малых народов Севера. Северное телевидение и радио ведут передачи на родных языках местных народов. Выпускаются также газеты на языках народов Севера. Многие селения имеют дома культуры, а на Чукотке создана особая „школа эскимосского танца для детей“». Вот некоторые из подписей под фотографиями в этом разделе «Девушки из танцевальной группы Паланского дома культуры за подготовкой корякского балета „Кутх“. Эта группа девушек выступала в городах Советского Дальнего Востока и Севера и была на смотре в Москве» (стр. 32, № 2). «Представители северных народностей — студенты Педагогического института им. А. И. Герцена в Ленинграде на концерте в Ленинградской опере» (стр. 33, № 5).

Во введении к разделу «Образование» в основном справедливо оценивается состояние образования и показываются широкие возможности получения образования народами Севера и Сибири. В этот раздел включена серия фотографий на тему: «От оленьих нартов до снежного вездехода с мотором» (стр. 41).

У. Слипченко в краткой статье «Канадско-советское сотрудничество в исследовании Арктики» пишет о посещениях в 1971 г. СССР премьер-министром Канады П. Трюдо и министром по делам индейцев и развития Севера Ж. Кретьеном. В результате этого визита были созданы специальные комиссии, которые подготовили соглашение о совместном сотрудничестве в области исследования Севера. Члены комиссий, пишет У. Слипченко, единодушно считают, что «главной целью канадско-советского сотрудничества в исследовании Арктики является улучшение жизни аборигенного населения Арктики» (стр. 44). В этой связи представляются весьма актуальными связанные с этнографией пункты соглашения, такие как: «Проблемы медицины и питания в районах Арктики»; «Изучение этнографии и процесса приспособления народов Севера к новому образу жизни, связанному с развитием северных районов»; «Изучение опыта подготовки специалистов из числа аборигенов Севера».

Применительно к практике Советского Севера эти вопросы уже получили широкое освещение в нашей историко-этнографической литературе, так же как отчасти и в рецензируемой статье. К сожалению, канадский читатель не найдет в журнале сравнительных данных по индейцам и эскимосам Канады, которые помогли бы ему лучше уяснить значение и оценить размах, широту и глубину преобразований, происшедших у народов Сибири и Севера СССР в советское время.

Эти и другие замечания не умаляют в целом весьма положительной оценки статей рецензируемого номера журнала «Норд». Авторами и редакцией журнала проделана большая и полезная работа. Главная их заслуга в том, что довольно полно охарактеризованы коренные изменения, произошедшие на Советском Севере (в той мере, в какой это позволяли сделать размеры журнальных статей). Журнал познакомил своих читателей с развитием народов Сибири и Севера СССР в 60-х — начале 70-х гг. XX в. Думается, что такого рода специальные выпуски весьма полезны. Нам кажется, однако, в целях полноты представлений о жизни населения в циркумполярной зоне желательно было бы по всем проблемам параллельно приводить сведения об изменениях в жизни аборигенов Канады.

«Slovenské národné povstanie v ľudovej tvorbe. Kolektívnu prácu pripravil Národnopísny Ústav Slovenskej Akadémie Vied. Autori: dr. S. Burlasová CSc., dr. B. Filová CSc., dr. S. Kovačevičová CSc., dr. Ián Michálek CSc., plk. dr. J. Šolc. Zostavovateľ dr. B. Filová CSc., Bratislava, 1974, 256 str.

Антифашистская борьба словацкого народа оставила глубокий след в его культуре. Понятен интерес чехословацких этнографов и фольклористов к отражению этой борьбы в фольклоре и изобразительном искусстве. Начало исследованиям в данной области в первые послевоенные годы положил безвременно скончавшийся известный словацкий ученый А. Мелихерчик. Эта работа успешно продолжается его учениками и последователями поныне. К 20-летию Словацкого народного восстания был издан специальный номер журнала «Slovenský národopis» (1964, № 3)¹, а в 1971 г. состоялся семинар на тему «Отражение борьбы против фашизма в устном народном творчестве»². На семинаре была высказана рекомендация об издании специальной антологии на основе материалов, собранных словацкими учеными. Реализацией этого предложения является книга «Словацкое народное восстание в народном творчестве», изданная к 30-летию Словацкого народного восстания и освобождения Чехословакии Советской Армией. Однако рецензируемая книга по своему содержанию и жанру отличается от обычных антологий.

Книга открывается кратким предисловием составителя — директора Словацкого этнографического института Б. Филовой. В предисловии отмечена особенность публикуемого материала, принципиально важная для его понимания: «...устные воспоминания, песни и изобразительное творчество о Словацком народном восстании, а также о событиях, предшествующих ему и последующих за ним, не имеют значения конкретного исторического документа...». Не отождествляя произведений народного творчества с историческим документом, автор предисловия обращает внимание на то, что подлинную историческую ценность этот материал приобретает как эмоциональное, образное отражение событий в развивающейся устной народной традиции, обладающей своими закономерностями и особенностями.

Предоставляя самим читателям возможность соотнести народное художественное творчество с исторической действительностью, составитель, на наш взгляд, правомерно включил в состав книги специальный и весьма обстоятельный исторический очерк, принадлежащий перу директора Военно-исторического института полковника Я. Шольца «Словакия на войне и против войны». Автор на основе исторических документов, в частности архивных материалов, воссоздает сложный процесс возникновения движения сопротивления в оккупированной Словакии и перерастания его в массовое вооруженное восстание. В очерке раскрыта роль Коммунистической партии Чехословакии как вдохновителя и организатора освободительной борьбы, показано значение дружбы и сотрудничества словаков и чехов в совместном антифашистском сопротивлении, а также координация действий словацких партизан с операциями Украинского штаба партизанского движения и с наступательными действиями 4-го Украинского фронта. Не подвергая сомнению ценность и уместность статьи Я. Шольца, можно лишь выразить сожаление, что в книге не отражено выступление автора статьи на упоминавшемся выше семинаре, где он очень интересно говорил о значении антифашистского фольклора как исторического источника.

Раздел устной прозы в рецензируемой книге подготовил заведующий кафедрой этнографии и фольклористики при Братиславском университете Я. Михалец, с 1963 г. возглавлявший собирательскую работу в области антифашистского фольклора. Резюмируя собственные исследования и исследования своих коллег, Я. Михалец в небольшой вступительной статье к этому разделу характеризует широту тематики устных рассказов о восстании и их функции во время восстания (информативная и агитационная), а также те изменения, которые они претерпели в процессе устной передачи в последующие десятилетия. Восстание живет в сознании современных людей, замечает Я. Михалец, однако его идеалы и цели осознаются как бы заново — ретроспективно и в соответствии с современными интересами народа. В передаче одних и тех же событий проявляется вариантность. Я. Михалец выделяет три типа устных рассказов: документальный, информативный и трансформированный. Интересно наблюдение автора, что в процессе фольклоризации современные рассказы подвергаются воздействию традиционной устной прозы, в частности воздействию локальной традиции той местности, где живет рассказчик. Процесс типизации в духе народной традиции захватывает не только факты, но и героя повествования. Создается обобщенный идеали-

¹ См. нашу рецензию «Словацкое восстание и народная культура», «Сов. этнография», 1965, № 6.

² Материалы семинара опубликованы. См. «Slovenský národopis», 1971, č. 4, str. 523—624. О семинаре см. «Сов. этнография», 1971, № 6.

зированной образ партизана. Я. Михалек бегло касается также особенностей повествовательного стиля. В целом, делает вывод автор, устные рассказы о восстании становятся составной частью устной прозы словацкого народа.

Вошедшие в антологию 100 прозаических произведений записаны в разных областях Словакии преимущественно в 60-е годы и отбор из обширного материала, имевшегося в распоряжении составителя, произведен на основе принципов, изложенных в статье.

Особую исследовательскую и источниковедческую ценность представляет раздел песен, составленный старшим научным сотрудником Этнографического института Словацкой Академии наук С. Бурласовой. Ей принадлежит обширная статья, дающая обзор источников, предшествующих публикаций песен, анализ песенного репертуара периода восстания и характерных особенностей современного бытования партизанских песен. Сознвая трудность классификации материала, автор предлагает, по ее собственному выражению, «компромиссный подход» и выделяет следующие группы: боевые песни, социально-политические агитационные песни, сатирико-политические песни-пародии, частушки, переработки старых воинских песен, лирико-эпические песни, эпические песни-хроники, песни-реминисценции, или песни-воспоминания. Каждая из этих групп, а в некоторых случаях отдельные тексты охарактеризованы весьма обстоятельно и объективно со стороны их содержания и формы (поэтической и музыкальной), а также в их отношении к традиции. Избегая идеализации материала, отмечая его эстетическую неравноценность, автор убедительно раскрывает историческое значение партизанских песен, социально-психологические причины их популярности. С. Бурласова обращает внимание на отбор песен самим народом и на сравнительно долгую жизнь некоторых наиболее ярких образов. Теоретическое заключение статьи представляет большой интерес, поскольку выводы С. Бурласовой о жизни словацких партизанских песен подтверждают аналогичные наблюдения, сделанные фольклористами на материале партизанских песен других славянских народов. Автор обращает внимание на процесс сближения и взаимодействия фольклорных и литературных традиций в песенном творчестве партизан, на процесс типизации исторических фактов, на появление в партизанских песнях обобщенных образов, позволяющих адаптировать и актуализировать образцы традиционных песен. Возможно, с излишней категоричностью С. Бурласова противопоставляет в этом отношении песенное творчество прозаическому (в котором, как следует из вышеизложенного, также действует закон типизации событий), однако мысль о большей степени обобщенности образов партизанской песни вполне справедлива.

Чтобы оценить значение подготовленной С. Бурласовой публикации, достаточно сказать, что в рецензируемой книге в сущности впервые представлен весь сохранившийся песенный фонд, созданный словацкими партизанами.— свыше 60 текстов с нотами (многие в нескольких вариантах). До этого в 1956 г. был издан небольшой сборник, почти не доступный читателям (тираж 500 экземпляров), содержавший 16 песен. Из этого сборника С. Бурласова включила в книгу 11 песен, а большая часть записана и нотирована самой составительницей. Каждый текст тщательно прокомментирован.

Заключает рецензируемую книгу раздел о народном изобразительном искусстве, составленный С. Ковачевичевой. Лаконичная, но весьма содержательная статья составителя характеризует тематику, технику и художественное своеобразие произведений народных художников, отразивших в графике и живописи эпизоды и героев восстания. Приведены цветные репродукции наиболее ярких образов этого рода народного творчества. Читатель имеет также возможность познакомиться с народным изобразительным искусством благодаря оригинальному и смело решенному оформлению всей книги. На суперобложке, заставках и широких полях книги воспроизведены рисунки, фрагменты резьбы на музыкальных инструментах, роспись на тарелках, деревянные скульптуры и другие произведения народного прикладного искусства, содержащие мотивы героической борьбы словацкого народа. Это придает всей книге своеобразный облик и самостоятельную художественную значимость. Следует особо отметить большой труд С. Ковачевичевой по отбору и комментированию всего этого материала.

Книга, созданная словацкими фольклористами и этнографами,— замечательный подарок к славной годовщине. Изданная большим тиражом, она обращена к массовому современному читателю. Но высокий уровень исследовательской культуры составителя обеспечит ей долгую жизнь в науке.

В. Е. Гусев

Культура народов Зарубежной Азии. «Сборник Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого», т. XXIX, Л., 1973, 250 стр.

Настоящий сборник, третий за последние годы, составлен из статей, знакомящих читателя с коллекциями МАЭ по народам зарубежной Азии. Ответственный редактор, как и в предыдущих двух, — Р. Ф. Итс; сборник подготовлен сотрудниками Института этнографии АН СССР. Рисунки к статьям выполнены Т. Л. Юзепчук, фотографии — В. А. Балахновым.

Сборник открывается статьей Д. И. Тихонова, в которой на больших архивных материалах и публикациях по истории русского и советского востоковедения показано, как в XVIII в. по указу Петра I собирались восточные коллекции Кунсткамеры, а затем, с увеличением нумизматического и рукописного фонда, в XIX в. был создан специальный Азиатский музей. Позднее, в 1930 г., Азиатский музей, а также другие небольшие востоковедные центры (Коллегия востоковедов, Тюркологический кабинет и др.) были объединены в единый центр — Институт востоковедения Академии наук СССР, где разрабатываются вопросы языка, литературы, истории, экономики народов Востока. Ясность изложения, большой фактический материал делают эту статью ценным справочным пособием для историка науки.

Большинство последующих статей сборника построено на богатых материалах музейных коллекций. Так, статья В. С. Старикова «К вопросам происхождения и развития традиционных средств передвижения северных китайцев (по коллекциям МАЭ и полевым материалам)» рассматривает все виды средств передвижения и транспорта у этой части населения Китая. Автор во вводной части предлагает свою убедительную классификацию этой важной составной части материальной культуры китайцев. На основе этой классификации дается и дальнейшее, очень детальное описание средств передвижения и транспорта, дополненное хорошо подобранными иллюстрациями. В ряде случаев, где для этого есть возможность, автор стремится показать происхождение тех или иных видов транспортных средств. В статье есть отдельные небольшие погрешности. Так, на рис. 11 (колл. № 5956-10 Государственного музея искусств народов Востока) изображена тачка, которая определена автором, как «тачка для сыпучих грузов». То же сказано и в тексте (стр. 44). Однако либо неверна интерпретация автора, либо в модели не хватает какой-то важной детали, так как при движении такой тачки сыпучий груз неминуемо высыпается на землю. В целом же публикация хорошо систематизированных и классифицированных музейных коллекций — бесспорная удача автора.

К публикациям коллекций МАЭ по материальной культуре народов Востока принадлежит и статья Р. А. Ксенофонтовой, в которой детально рассмотрены пути собирания коллекций МАЭ по японской керамике и фарфору, прослежены основные тенденции развития керамической продукции Японии. Р. А. Ксенофонтова не ограничилась описанием соответствующих коллекций МАЭ. Проанализировав изделия, она по ряду признаков (технические и художественные особенности) выделила в этих коллекциях изделия из следующих фарфорово-керамических центров Японии: Арита-Сага, Хирадо, Сацума, Танатори (о. Кюсю), Сэто-Овари, Мино, Киото, Кутани, Бидзен, Банко, Акахата (о. Хонсю). В статье приводятся также (там, где они есть на изделиях) марки некоторых керамических мастерских. Иллюстративный материал подобран четко и дает представление об изделиях, наиболее типичных для этих мастерских. Все это делает статью Р. А. Ксенофонтовой незаменимым пособием для музейных работников, которым она окажет большую практическую помощь при определении японских керамических и фарфоровых изделий. Пока это единственная работа такого рода в нашей литературе.

В статье Н. Г. Краснодербской описана цейлонская коллекция МАЭ, собранная в 1914—1918 гг. экспедицией Академии наук в составе двух ученых — Л. А. и А. М. Мерварт. Экспедиция работала в Индии и на Цейлоне (совр. Шри Ланка). С Цейлона, где исследователи пробыли с 25 мая 1914 г. по конец января 1915 г., в МАЭ было привезено около 500 предметов. Они объединены в 20 коллекций, которые представляют различные стороны культуры и быта сингалов, а также знакомят с сельским хозяйством и ремеслом. Н. Г. Краснодербская не ограничивается перечислением и описанием предметов из коллекций, а на основании музейных вещей и описаний Л. А. Мерварт как бы воссоздает характерные черты жизни обитателей Цейлона в первые десятилетия нашего века.

Е. В. Иванова в статье «Таиландские вещи в МАЭ» (стр. 200—226) дает описание имеющихся в музее коллекций, распределив предметы по группам (рыболовные орудия, предметы быта, музыкальные инструменты, деньги, предметы вооружения война, книги, предметы культа). Однако, к сожалению, не указано общее количество вещей, да и описание коллекций носит формальный характер.

А. М. Решетов в статье «Тибетская коллекция МАЭ (Духовная культура)» завершил начатую в 1966 г. публикацию тибетского фонда МАЭ. Как известно, духовная культура населения Тибета теснейшим образом связана с ламаизмом — северной ветвью буддизма. Его сюжеты и представления буквально пронизывают все области духовной культуры, что очень конкретно показано в статье А. М. Решетова на примере скульптуры, живописи, музыкальных инструментов и т. п. К сожалению, эта конкретность в подаче материала выдержана не всегда. Так, известные специалистам очень общие сведения о мистерии «цам» не подкреплены материалами из коллекций МАЭ, хотя таковые имеются. Статья распадается на литературные данные и описания вещей. Лучше было бы выдержать единый принцип в подаче материала (стр. 238, 239). На стр. 231 «цаца» определяются как «глиняные рельефные фигурки божеств». Определение неполно, так как «цаца» не только рельефная фигурка божества, но часто модель субургана (они бывают различной формы, разной окраски).

Своеобразным явлениям духовной культуры корейцев, батаков и кхмеров посвящены статьи Ю. В. Ионовой, Е. В. Ревуненковой, И. Г. Косикова.

Ю. В. Ионов в статье «Погребальные обряды корейцев» на материалах коллекций МАЭ, данных письменных источников и литературы продолжает исследование религиозных верований, связанных с загробной жизнью. Сопоставление материалов позволяет автору классифицировать погребальный обряд по социальным группам, причем, как установлено Ю. В. Ионовой, у социально неравноправных в недавнем прошлом групп «ноби» (рабы, зависимые) погребальный обряд сохранил архаические черты, присущие ранним стадиям развития религиозных верований корейцев. Автор на примере погребального обряда раскрывает истоки сложных и очень древних представлений, связанных со смертью, загробной жизнью, культом предков и т. п. Она проводит широкие аналогии с соседними и территориально отдаленными народами для подтверждения стадиальности описанных явлений. Это делает статью шире и интереснее в теоретическом плане, хотя иногда отсутствие четких ссылок на источники сведений о монгольских народах снижает убедительность этих аналогий (стр. 82, 83).

Статья Е. В. Ревуненковой посвящена уникальной коллекции магических батакских жезлов, хранящихся в МАЭ. Не ограничиваясь описанием вещей и вырезанных на них многофигурных композиций, автор детально рассматривает легенды и мифы, этимологические толкования имен героев мифов, функции жезлов, систему художественных средств, применяемых при их изготовлении. Проанализировав все данные и сопоставив гипотезы различных исследователей, Е. В. Ревуненкова приходит к выводу, что магические батакские жезлы генетически связаны с культом предков, тотемическими культами, а по функции примыкают к фетишистскому культу, связанному с представлениями о вредоносной или предохранительной магии (стр. 199). Соглашаясь в целом с выводами автора статьи, хочется лишь заметить, что культ предков является дальнейшим развитием (в иной исторической ситуации) тотемических культов; только с переходом к позднему, генеалогическому роду культ предка-животного — тема — постепенно заменяется персонифицированными, реальными предками. А предохранительная и вредоносная магии составляют неразрывное, диалектическое единство, вытекающее из четкого деления на свои и чужие роды, «мы — они» (то, что предохраняет «нас», вредоносно для «них»). Досадной опиской является передача в русской транскрипции фамилии R. Heine-Geldern'a как Гейне-Хелдерна: более правильно Хайне-Гельдерн или привычно Гейне-Гельдерн (стр. 194).

С. А. Маретина опубликовала статью, посвященную резному деревянному панно с о. Бали. Эта работа завершает ее публикации, опирающиеся на коллекции МАЭ, по прикладному искусству резьбы по дереву у народов Индонезии (стр. 172—182).

Статья И. Г. Косикова касается малоизученной темы — кхмерского театра теней. Автор во время стажировки в Камбодже (1966—1968 гг.) приобрел коллекцию кожаных кукол для теневого театра (персонажи малого театра теней), которую подарил МАЭ; сделаны фотографии процесса изготовления кукол. И. Г. Косиков собрал у информаторов исчерпывающие сведения о теновом театре, сортах и обработке кожи, дубильных веществах, инструментах, употребляемых для изготовления кукол, музыкальных инструментах, сопровождающих зрелище. Весь этот материал, свежий и оригинальный, лег в основу статьи, рассматривающей два основных компонента театра теней: фигуры театра теней и музыкальные инструменты (стр. 133). Статья снабжена кхмерской терминологией, записанной у информаторов и сверенной со словарем. Театр теней автор справедливо считает одним из важных элементов традиционной национальной культуры Камбоджи (стр. 132). Высокий научный уровень статьи еще раз показывает, что одним из главных методов работы этнографа продолжает оставаться непосредственное наблюдение, полевая работа в изучаемой стране.

Н. Л. Жуковская в статье «Мандала как предмет ламаистского культа» (стр. 71—79) сделала попытку вскрыть полисемантизм важного ритуального предмета, представляющего собой зашифрованную диаграмму вселенной в ее буддийском понимании. С этой целью рассмотрены символика изображений на мандала, параллели между мандала и мегалитическими сооружениями астрономического назначения (типа Стоунхенджа в Англии), а также взаимосвязь структуры мандала как «жилища бога» с известной концепцией «жилище — модель вселенной», разработанной А. Леруа-Гу-

раном и прослеженной на материалах многих народов мира. В качестве иллюстрации приводится снимок одного мандала из коллекции МАЭ и дано его краткое описание.

В целом рецензируемый сборник представляет несомненный интерес как широкой постановкой важных проблем истории культуры народов зарубежного Востока, внесших своеобразный и весомый вклад в культуру человечества, так и анализом этих проблем.

Л. Л. Викторова

А. Д. Бурман. Бирманская драма середины XIX века. М., 1973, 143 стр.

Когда в книге, посвященной бирманской драме, тщательно анализируются сюжет, композиция и изобразительные средства пьес отдельных драматургов, то это вполне закономерно и естественно; по существу работы подобного рода могут ограничиваться только названным кругом вопросов. Но если автор попутно затрагивает проблемы происхождения бирманской драмы и театрального искусства Бирмы, исследует роль буддизма в формировании театральных жанров, а также анализирует взаимодействие различных культур (индийской, бирманской, сиамской) и религиозных представлений (буддизма и народных бирманских верований), то такая книга привлекает уже не только литературоведа, но и этнографа-религиоведа, и историка театра. Книга А. Д. Бурмана отличается своей двойкой литературно-этнографической направленностью; в ней прослеживается развитие бирманской драматургии от ее зарождения до становления национальной драмы; широко охвачены многие вопросы культуры средневековой Бирмы. Именно поэтому она в равной степени интересна и полезна как филологу, так и этнографу.

Много внимания в работе уделено исследованию творчества крупнейших бирманских драматургов — У Чин У и У Поун Ня. Читатель узнает содержание ряда бирманских драм, получает представление о сюжетных ходах, канонических ситуациях, о литературных источниках драмы, о сочетании в ней элементов фольклорно-эпической традиции с элементами книжности и придворной культуры. Автор иллюстрирует свои положения отрывками из бирманских литературных произведений в прекрасных переводах. Серьезный и вполне самостоятельный раздел представляет собой та часть, где разбирается стихотворная система пьес, затрагиваются вопросы бирманского стихосложения в целом и дается рифмовая схема драм. Такой анализ чрезвычайно важен, если учесть, что в нашем распоряжении имеется мало материалов по бирманской литературе.

Остановимся лишь на затронутых автором проблемах бирманской драматургии, которые вызывают ассоциации и типологические параллели со сходными явлениями в малайско-индонезийской литературе и во многом касаются общих проблем культуры Юго-Восточной Азии. К ним относится, например, проблема взаимодействия двух культур — индийской и соответственно бирманской, сиамской или малайской, нашедшая свое отражение в трансформации древнеиндийского эпоса «Рамаяна». Автор довольно подробно говорит о постановке сиамской версии «Рамаяны» — «Рамакиен» на бирманской сцене. Отмечаются и изменения, которые претерпела «Рамаяна» в Сиаме: Рама предстает более человечным и благоразумным, большую роль стал играть Хануман, он выдвинулся на одно из первых мест после Рамы. Кроме того, в книге подчеркивается, что в пьесе отразились магические обряды добуддийского происхождения (стр. 24—25). Сходным путем шла трансформация образа Рамаяны и в Малайе. Более того, некоторые конкретные изменения сюжетов и образов эпоса в этих двух странах совпадают до деталей. Главный герой в индонезийской «Рамаяне» («Сказании о сери Раме») — Лакшман (индонез. Лаксамана), брат царевича Рамы. Он истинный и бесстрашный воин, рыцарь и аскет. Образ Рамы в народном сознании с течением времени постепенно терял свои героические черты и в средневековом произведении «Малайская история» («Седжарах Мелау») приобрел уже совсем юмористическую окраску, во многом слившись с образом шута — персонажа малайского кукольно-теневого театра. Заметим, однако, что в собственно театральных пьесах по мотивам «Рамаяны», чрезвычайно популярных в Малайе, образ Рамы не трансформировался столь существенно, как в литературе. Изменилась также трактовка других образов эпоса. В малайском варианте «Рамаяны» отсутствует глубокое философское, религиозное и этическое содержание великого произведения Индии. В Малайе была воспринята лишь сюжетная канва «Рамаяны», которая постепенно, на протяжении веков, пропитывалась элементами малайского фольклора и насыщалась древнейшими представлениями малайцев (сюжеты о царе-рыбе Джанданге, о ядовитом слепом Бута Биса, о превращении Рамы и Ситы в обезьян и т. п.). Все «Сказание о сери Раме» изобилует этнографическими подробностями из жизни малайцев¹. Поскольку в книге А. Д. Бурмана затронут вопрос о постановке сиамской драмы в Бирме, хотелось бы знать, какие изменения претерпел вариант «Рамаяны» на бирманской сцене, если таковые были.

¹ «Сказание о сери Раме», М., 1961, стр. 5—13.

Тогда можно было бы одновременно рассмотреть трансформацию эпоса в Бирме и Сиаме и сравнить ее с малайской. Но даже и в том виде, в каком поставлена эта проблема в книге, она дает возможность сделать более широкие обобщения относительно взаимодействия индийской культуры с культурами народов Юго-Восточной Азии. Совершенно ясно, что древнеиндийский эпос «Рамаяна» не просто переводился, пересказывался или адаптировался в таких странах, как Сиа́м, Бирма и Мала́йя; здесь, в новых условиях, он начал самостоятельную жизнь, став в известной мере явлением местной культуры. Сохранилась весьма слабая связь с прототипом, главным образом только в основных сюжетных линиях.

Центральное место в книге А. Д. Бурман занимает глава «Отражение жизни бирманского общества в драматургии У Чин У и У Поун Ня» (стр. 68—90). Показывая, как проявляется в драме официальная идеология бирманского общества середины XIX в., какое преломление получают в ней буддийские идеи или конкретные события того времени, автор по существу воссоздает многофункциональный характер театрального представления. Жанр драмы, будучи отражением официальной идеологии, помимо литературных и эстетических обладает и внелитературными функциями. Использование действующих лиц пьесы для пропаганды буддийских идей, придворного этикета или проецирование традиционного сюжета на современную писателям жизнь Бирмы говорит о том, что не менее значимыми были и внеэстетические функции драмы: религиозная, церемониальная, символическиобличительная.

В этой же главе автор развивает мысль исследователя древнерусской литературы Д. С. Лихачева о переработке правил придворного этикета в особый литературный этикет. Одна из закономерностей развития культуры средневековья, открытая на материале древнерусской литературы, нашла аргументированное подтверждение и на бирманском материале. Поскольку эта закономерность распространяется и на малайскую культуру, можно говорить о том, что она имеет всеобщий характер. При описании жизни бирманского общества с ее иерархически построенной системой и четко установленными правами и обязанностями каждого человека, которые в драме проявляются в манере поведения, одежде и языке действующих лиц (стр. 68—75), автор особое внимание обращает на соблюдение придворного королевского этикета (обязательное упоминание о таком атрибуте королевской власти, как белый зонт или золотой зонт у принца-наследника, об особой одежде и т. д.). Чем объяснить, что в малайском историческом произведении XVI в., т. е. произведении иного жанра и времени, мы столь же часто встречаем почти дословно совпадающие ситуативные описания в тех же стереотипных выражениях? Очевидно, только действием общего для средневековой культуры закона, согласно которому обряд, этикет, церемониал в значительной мере подчиняет себе литературные процессы и требует специальных литературных трафаретов. В данном случае совпадения объясняются и тем, что реально существовавший придворный ритуал в средневековой Бирме и Малайе был очень сходен. Поэтому и переработка сходного придворного этикета в литературный привела к единству стиливых пластов в разных по жанру произведениях у разных народов и в сущности разных периодов одной эпохи — эпохи феодализма, культурные границы которой в названных странах простираются почти до конца XIX в.

Один и тот же литературный факт, отмеченный автором, может быть использован и рассмотрен с разных точек зрения. Ограничимся одним примером. Говоря об истоках бирманской драмы, А. Д. Бурман прослеживает процесс постепенного ее сложения, показывая, как драматургия впитывала и перерабатывала литературный, исторический, фольклорный материал. В частности, рассматривается видоизменение исходного сюжета джатак, их драматургическое воплощение. Такая интерпретация материала в первую очередь интересна литературоведу. Но драматургическое воплощение джатак можно интерпретировать и в ином ракурсе, который заинтересует фольклористов и этнографов, и в книге он обозначен. Конкретный сюжет джатаки, переработанный в драму, касается общего вопроса о соотношении литературы и фольклора в средневековой Бирме, с одной стороны, «ибо джатаки настолько прочно вошли в фольклор, что исследователю иногда трудно отделить их от буддийских преданий» (стр. 15), и соотношения буддизма и местных верований — с другой. Использование отдельных образов, стереотипных формул и других художественных приемов, входящих к фольклорно-эпической традиции, свидетельствует о том, что в бирманской литературе в исследуемый период еще не совершился переход от неосознанного авторства (что является одним из главных признаков фольклора)² к осознанному, от коллективного творчества к индивидуальному, несмотря на то что хорошо известны имена авторов-драматургов. Фольклор и литература в XIX в. еще находятся в неразрывном единстве, еще не образуют две самостоятельные жанровые системы. Этим и объясняется жанровый синкретизм бирманской драмы середины прошлого столетия.

Выше уже было сказано о роли короля и королевской власти в связи с придворным этикетом. Этот же вопрос интересен и с точки зрения религиозно-мировоззренческой. Король в бирманской драме выступает как представитель бога на земле, а если он не является таковым в данный момент, то в будущем существовании ему суждено стать богом или даже самим Буддой. Говоря о буддийском влиянии в драме, автор прихо-

² М. И. Стеблин-Каменский, Фольклор и литература, «Известия Академии наук СССР. Серия литературы и языка», т. XXXI, вып. 3, М., 1972, стр. 250.

к выводу: «...песни бирманских драматургов проникнуты единым религиозным мировоззрением... Почти все действующие лица драмы используются для пропаганды буддийских идей... Одна из функций пьес в какой-то степени совпадала с той, которую осуществляли летописи и исторические хроники, — освящение королевской власти и ее традиции, прославление мудрости монарха — хранителя религии и исполнителя законов, укрепление в подданных мысли о том, что правители превыше всего ставят государственные интересы и благо народа. В этом плане пьесы являлись отражением официальной идеологии бирманского общества» (стр. 90). Некоторые из приведенных в книге фактов об отношении к королю как к богу с первого взгляда противоречат буддийской доктрине. Король бирманской драмы — это не просто богоподобный правитель, он еще и обладатель золотого дворца на горе Меру. Он обладает и магической властью, обеспечивающей порядок в микрокосме и макрокосме, он составляет центр Вселенной (стр. 84). Это как бы одушевленный символ центра мира во всех трех его воплощениях, синонимичных друг другу: мирового дерева, мировой горы, дворца. Таким образом, почитание короля в Бирме восходит к древнейшему и универсальному представлению о Вселенной³. Иными словами, в бирманской драме XIX в. ясно проследивается образ короля того периода, «когда он был участником космологического действия, а не исторического процесса, его роль в обществе определялась его космологическими функциями, сходными с функцией других сакральных представителей „центра мира“ (мировое дерево, мировая гора, божество, трон)»⁴. Так в бирманской драме вскрывается слой местных космологических представлений, которые, слившись воедино с буддийскими представлениями, образовали тот своеобразный сплав, который обычно называют религиозным синкретизмом.

Можно указать и на некоторые недостатки этой очень интересной книги. Так, на наш взгляд, едва ли стоило расчленять исследование на отдельные части: содержание и композицию произведений, с одной стороны, и художественные особенности — с другой. В произведении, подобных бирманской драме, в которых многие композиционные, фабульные и технические приемы взяты авторами в готовом виде, где формулы, образы и метафоры превратились в привычные словесные ассоциации, не всегда воспринимавшиеся как тропы, а скорее как знаки-символы, разделение на содержательную и художественную главы вряд ли оправдано. Но это, конечно, вопрос не принципиальный, а скорее личных вкусов и склонностей к определенным методам исследования.

Отдельные формулировки в книге вызывают недоумение. Так, в самом начале лирика и эпос причисляются к чисто литературным жанрам, что едва ли справедливо. Лирика может быть и фольклорной и литературной, что же касается эпоса, то это прежде всего жанр фольклора. Иногда общие утверждения автора противоречат конкретным выводам. На стр. 7 говорится: «...даже когда драма и приобретает самостоятельную литературную форму в виде пьесы для чтения, она все-таки предназначена для театрального действия». А на стр. 28 автор приходит к такому выводу: «Особенностью Инауна и последующих пьес в жанре нандинза было то, что драма, вероятно, предназначалась для чтения, а не для постановки на сцене».

Эти небольшие неточности не умаляют достоинств целеустремленного и стройного исследования, проделанного А. Д. Бурман. Обилие историко-этнографических и фольклорных сведений, привлеченных автором, постоянное переплетение в книге литературных и этнографических данных открывает возможности для использования бирманской драматургии как этнографического источника.

Е. В. Ревуненкова

³ M. Eliade, *Images and symbols*, London, 1961, p. 40—45.

⁴ В. Топоров, *О космологических источниках раннеисторических описаний, «Труды по знаковым системам», VI, Тарту, 1973, стр. 115.*

НАРОДЫ АМЕРИКИ

S. Varese. *The forest Indians in the present political situation of Peru*. Copenhagen, 1972, 28 p., map, tabl.

Роль монтаньи — области тропического леса на восточном склоне Анд и в прилегающих районах Амазонии — в экономической и политической жизни Перу долго оставалась незначительной. В доиспанский период контакты между горной областью и джунглями отсутствовали. Во многих местах горы и джунгли разделяла даже полоса незаселенной земли — участка горного леса, особенно неблагоприятного для жизни человека. Испанское проникновение в XVI—XVIII вв. в значительной мере ограничивалось устройством здесь миссий — францисканских, иезуитских и, в меньшей

мере, доминиканских. Нарушение привычного уклада жизни индейцев и особенно эпидемии, а также нападения португальцев, переходивших бразильскую границу с целью захвата рабов, приводили к колоссальным людским потерям. Это вызывало озлобление людей — последовали убийства миссионеров. Попытка освоения во второй половине XVI в. области расселения хиваро с целью разработки золотых приисков закончилась восстанием индейцев и массовым истреблением испанцев.

Значительно интенсивнее, чем прочие земли, колонизировались берега крупных рек, в первую очередь Амазонки — Мараньона. В этой колонизации участвовали не только испанцы и метисы, но и кечуа. Часть их бежала на окраины, пытаясь спастись от каторжной работы на рудниках. Но и сами испанцы были заинтересованы в переселении горцев в монтанью и распространении языка кечуа в качестве *lingua franca*.

В 1870—1915 гг. в тропических лесах Южной Америки разразился так называемый каучуковый бум. Скупщики и сборщики каучука стали проникать в самые отдаленные уголки сельвы. С 1910 г. бум стал стихать, но его последствия для индейского населения оказались очень тяжелыми. Местные племена поставляли рабочую силу для сбора сока гевеи. Эпидемии и принудительный труд стали причиной высокой смертности среди индейцев.

Однако настоящее «открытие» монтаньи перуанцами произошло лишь в послевоенное время, и продолжается оно на наших глазах. Когда в странах Латинской Америки со всей остротой встал вопрос об аграрной реформе, правительства ряда государств увидели решение земельной проблемы и основу для ускоренного экономического развития вообще в колонизации сельвы. Край, которым прежде интересовались лишь этнографы и натуралисты, оказался в центре внимания экономистов и политиков; его проблемы дискутируются на страницах местной и мировой печати.

Каковы реальные земельные ресурсы в области тропических лесов, как отразилось освоение сельвы на судьбах аборигенов Амазонки, какое положение местные племена должны занять в новых условиях? — Этим вопросам посвящена небольшая, но богатая фактами и наблюдениями брошюра Стефано Варезе. «Индейцы лесов и современная политическая ситуация в Перу». В 1970—1972 гг. С. Варезе руководил деятельностью отделения министерства сельского хозяйства Перу в районах сельвы. Он же являлся одним из основателей созданной в 1968 г. Международной рабочей группы по делам туземцев (IWGIA), которая ставит своей целью защиту угнетенных национальных меньшинств в различных странах. До работы Варезе в серии, издаваемой IWGIA, вышли еще семь статей и монографий.

Варезе указывает, что правительства латиноамериканских государств долгое время были мало озабочены судьбой аборигенов. Определенную роль сыграли здесь некоторые неверные представления о ресурсах тропического леса, бытующие до сих пор.

Предполагается, что земельные ресурсы сельвы, во-первых, практически неисчерпаемы и, во-вторых, почти не освоены. И то и другое неверно. Согласно тщательным обследованиям 60-х — начала 70-х годов, только 13% территории тропического леса пригодны для постоянного использования в качестве сельскохозяйственных угодий, 28% могут использоваться ограниченно, 19% пригодны для ведения только лесного хозяйства, а 40% представляют бесполезные для человека болотистые пространства со скудными почвами. Все лучшие сельскохозяйственные земли расположены по берегам рек. Метисы, вытеснив индейские племена из этих плодородных районов, обрekli их на деградацию и культурную отсталость, а в отдельных случаях и на вымирание. Громадные, неосвоенные пространства сельвы — в значительной мере миф, так как только приречные земли способны прокормить достаточно густое население, но их и сейчас уже нельзя назвать пустующими. Так, в перуанской провинции Ламас, расположенной вдоль среднего течения реки Уальяга, плотность населения — около 9 человек на 1 км², тогда как в удаленных от крупных рек районах лесов — лишь 0,7 человек на 1 км². Новые земельные конфискации могут усугубить и без того бедственное положение аборигенов. Уже сейчас в Перу из 1,5 млн. жителей тропического леса на долю местных индейцев приходится только 221 тыс., а за вычетом кечуа — 206 тыс. человек (13,7%): Ассимиляция и аккультурация большинства племен Амазонки в обозримый период — в отличие от крупных индейских народов кечуа и аймара — представляется весьма вероятной. Однако она может проходить по-разному: добровольно, на основе уважения культурной и территориальной автономии лесных индейцев, или насильственно, путем геноцида их с землей. Будучи не подготовлены к жизни в обществе метисов, индейцы обречены занять в нем самое низкое социальное положение. Варезе приветствует мероприятия перуанского правительства, которое предоставило гарантии племенам в отношении неприкосновенности их земельных участков. Племена индейцев признаны полноправными в юридическом отношении. Согласно той части закона об аграрной реформе, которая касается районов сельвы, государство будет оказывать индейцам административную, финансовую и техническую помощь с целью повышения их жизненного и культурного уровня. Таким образом, появляется перспектива достижения индейцами в конечном счете экономического равенства с метисами.

Варезе критикует такой метод защиты индейских меньшинств, как организация национальных парков. Как известно, национальный парк, т. е. территория, закрытая для пришлого населения, был организован в начале 50-х годов в Бразилии, в области истоков реки Шингу, где проживало несколько сохранивших свою традиционную культуру племен. Выдающиеся гуманисты братья Виллас Боас, руководившие работой по

созданию парка, сделав все от них зависящее, чтобы предотвратить дальнейшее истощение аборигенов. Однако единственную альтернативу они видели в полной изоляции индейцев от внешнего мира. В 1973 г. они признали поставленную задачу невыполнимой и отошли от руководства парком.

Нельзя сказать, что работа братьев Виллас Боас осталась безрезультатной: от вымирания были спасены тысячи индейцев. Однако Варезе прав в том, что попытки любыми средствами сохранить традиционную культуру считает явно бесперспективными. Закрепление и признание нормальным нынешнего положения лишает индейцев возможности добиться улучшения жизни в будущем, когда культурный разрыв станет еще больше. Перу, где мероприятия, касающиеся индейцев, направлены в конечном счете на вовлечение коренного населения в жизнь страны, показывает пример более радикального решения проблемы. В связи с прогрессивным изменением социально-экономических условий отпадает и необходимость в изоляции.

В брошюре Варезе содержится ценный справочный материал, касающийся состава, численности, расселения, занятий и степени аккультурации индейского населения перуанской монтаньи. В значительной мере он составляет результат личных наблюдений. В целом рецензируемая работа способствует более глубокому пониманию процессов, происходящих сейчас в Перу. Благородные цели ее автора заслуживают самой высокой оценки.

Ю. Е. Березкин

НОВЫЕ КНИГИ ПО ИСТОРИИ КУЛЬТУРЫ ИНКОВ

V. Angles Vargas. P'isac. Metrópoli Inka. Lima, 1970; 168 p.; его же, Machupichu, enigmática ciudad inka. Lima, 1972, 434 p.¹

Инкское государство, особенно на последнем этапе существования, довольно хорошо известно исследователям по испанским хроникам XVI и XVII вв. Но основное внимание в них уделяется истории города Куско. Согласно хроникам, особенно тем, чьими информаторами были потомки инков, обитатели Куско обладали самой высокой культурой. Жители иных районов нередко трактуются как «варвары», цивилизованные кусканскими владыками — инками, которые построили города, провели дороги, создали развитую социальную организацию. Однако, на наш взгляд, маловероятно, что создание многочисленных городов в сердце инкской державы (в долинах рек Вильканота, Урубамба и Апуримак) можно связывать лишь с «цивилизаторской» деятельностью кусканских инков, тем более что, по мнению специалистов, период существования инкской империи Тауантинсуйю не был так длителен, как представлялось раньше.

Письменные источники редко содержат данные об индейских городах (кроме Куско), и инкские древности изучены археологами еще крайне слабо. Поэтому любая попытка сопоставить скудные упоминания об инкских городах с конкретными археологическими памятниками своевременна и плодотворна. Именно в этом русле проводит свои исследования Виктор Англес Варгас — историк и археолог, профессор университета в Куско. Он автор нескольких общих работ по истории Нового Света и Перу, в частности.

Рецензируемые книги В. Англеса Варгаса — монографические описания двух больших инкских городов: Мачу Пикчу и Писака. Автор не проводил самостоятельных раскопок, но scrupulously обследовал как городища, так и прилегающие районы. Когда читается эти великолепно иллюстрированные, с подробными картами и планами книги, создается впечатление, что вместе с автором побывал в этих городах и тщательно осмотрел все их сооружения. Благодаря такому подробному описанию археологического материала и достаточно оригинальным историческим построениям автора обе книги, задуманные как путеводители, могут рассматриваться как полноценные научные монографии. Очень показателен в этой связи очерк доинкской истории Центральных Анд («Мачу Пикчу», стр. 9—14). Он дает читателю ясное представление о том, что инкская культура сложилась на базе многовекового развития народов, населявших в древности территорию современного Перу.

В. Англес Варгас рассматривает изучаемые им монументальные памятники архитектуры с ясным пониманием причинной обусловленности их появления, стремится объяснить их постройку нуждами создавшего их населения («Писак», стр. 35). Такое стремление трактовать материал в историческом плане отражает в целом материалистический взгляд автора на археологический материал, резко контрастирующий с

¹ В дальнейшем ссылки на рецензируемые книги даются в тексте в русской транскрипции: «Писак» и «Мачу Пикчу».

псевдонаучными гипотезами о везном происхождении древних циклопических сооружений; гипотезами, часто включающими в свою «аргументацию» и инкские древности, в том числе знаменитый Мачу Пикчу.

Из описываемых В. Англесом Варгасом городов только Мачу Пикчу и его окружение исследованы археологически. В 1911 г. на городище вел раскопки открывший его американский археолог Х. Бингхем². Позднее он же, а затем и другие исследователи изучали памятники, окружавшие этот город³.

Писак же до работ автора рецензируемых книг оставался практически неизученным. В литературе появлялись только сведения о его центральной части — квартале Интиуатана, и то главным образом в виде фотографий циклопической кладки стен. Книга В. Англеса Варгаса, основанная на личных исследованиях автора, дает полное представление обо всем городе с его кварталами, разбросанными по крутым горным склонам.

Автор справедливо критикует традиционный метод изучения древнеперуанских городов, когда изучаются только дворцы, храмы и т. п., а скромным жилым кварталам достаточно внимания не уделяется («Писак», стр. 29—31). В. Англес Варгас пишет: «Города — это не только храмы, дворцы и мавзолеи. Существует группа построек, занимающая по своему качеству промежуточное положение, и, наконец, есть много грубых, недолговечных, легко разрушающихся построек, которые давали приют низшим слоям населения» («Писак», стр. 29). Такой подход не только расширяет наше представление о планировке инкских городов, но и (что гораздо важнее) открывает путь к изучению социальной дифференциации в них. Сам автор не делает каких-нибудь выводов в этом плане, так как ставит перед собой лишь задачу индивидуального описания каждого архитектурного комплекса.

Важным представляется также утверждение автора о связи небольших населенных пунктов в окрестностях Писака и Мачу Пикчу между собой, а также с этими крупными городами. В отличие от исследователей, приписывающих индейской общине самодовлеющую роль, самообеспечиваемость, замкнутость хозяйства и потому отсутствие стимула к контактам между поселениями, В. Англес Варгас предполагает, что поселки, первоначально, может быть, и не связанные друг с другом, постепенно поддаются под влияние, а затем и под власть города — центра данной местности. Этот процесс он рассматривает исторически, в развитии, кладя в основу принцип материальной потребности в таких связях. Автор прослеживает, например, следующую картину комплекса Кенте — Торонтой в долине р. Урубамбы: а) гипотетический этап чисто местного значения обоих поселков, «политически независимых, но имевших одинаковые... язык, обычаи, технические приемы, с неперенной культурной взаимозависимостью и сильными экономическими связями» («Мачу Пикчу», стр. 301); б) союз Кенте с Торонтоем; в) вхождение того и другого в региональное объединение с центром в Мачу Пикчу и г) включение в инкское государство — Тауантинсую («Мачу Пикчу», стр. 281). Подобная интерпретация распределения археологических памятников позволила В. Англесу Варгасу выдвинуть интересную гипотезу о том, что Писак, Мачу Пикчу, Ольянтайтамбо, Куско и другие известные инкские города первоначально представляли собой центры небольших «государств» («Писак», стр. 143—149; «Мачу Пикчу», стр. 163, 174, 175).

Гипотеза В. Англеса Варгаса кажется чрезвычайно перспективной, так как позволяет предположить в независимых инкских «государствах» (estados — термин автора) племенные объединения, вошедшие затем в союз во главе с Куско, — союз, превратившийся впоследствии в настоящее государство. Основываясь на этой гипотезе, можно представить следующую схему сложения Тауантинсую.

Какая-то кечуанская (или пришлая, но быстро кечуанизированная) группа обосновалась в небольшом поселке Акамама, в дальнейшем переименованном в Куско⁴. Постепенно Куско стал главным административным и ритуальным центром долины. Аналогичные процессы происходили в это время в поселениях соседних долин, чья культура (местная по происхождению) была идентична той, что знакома нам в Куско. В. Англес Варгас называет ее то инкской, то кечуанской; второй термин нам представляется более правильным, так как речь идет, вероятнее всего, не о заимствовании у инков, а о сходстве культурных характеристик. Основные черты этой культуры были впервые и наиболее детально исследованы в Куско. Поэтому, встречая в других районах сходную керамику, архитектуру и т. п., ученые, естественно, предполагали, что инки после покорения жителей этих районов навязывали им свои формы культуры. Немалую роль в создании такого мнения сыграла и упоминавшаяся выше информация большинства хронистов о «цивилизаторской миссии» инков и «дикости» прочих индейцев. В рецензии термины «инкский стиль», «инкский этап» и т. п. употребляются не

² H. Bingham, Machu Picchu, a Citadel of the Incas, New Haven, 1930.

³ H. Bingham, Further Explorations in the Land of Incas, «National Geographic Magazine», vol. 29, Washington, 1916; P. Fejos, Archaeological Explorations in the Cordillera Nuevabamba, Southeastern Perú, «Viking Fund Publications in Anthropology», № 3, N. Y., 1944.

⁴ F. G. Poma de Ayala, Nueva crónica y buen gobierno, Paris, 1936, f. 89.

для утверждения принадлежности того или иного памятника кусканским инкам, а для обозначения его принадлежности к определенному типу.

Складывание инкского государства в центральном горном районе началось, вероятно, в конце XIV — начале XV в. Оно, по-видимому, возникло из союза равноправных кечуанских племен, о которых пишет автор. Подчинив эти племена и использовав их силы, военные вожди (так переводится титул «инка»), правившие в Куско, покорили затем индейцев колья, лупака, кичуа, чапка, анти и др., заложив таким образом основу инкской империи — Тауантинсуйю. Однако, насколько можно судить по хроникам, возвышение Куско вызывало сопротивление правителей соседних долин. Конфликт был разрешен окончательно при инке Виракоче (середина XV в.), который, используя несомненное военное превосходство Куско, разбил непокорных правителей и покончил с пережитками племенного союза. Другие центры, как Ольянтайтамбо, либо подчинились Куско, либо, как Писак, пришли в упадок, либо, как Мачу Пикчу, были оставлены населением.

У соседней инки переняли сходные, но более разнообразные культурные достижения. Богатство инкского культурного комплекса, таким образом, создано не только за счет развития первоначальных элементов во времени, но и в большой степени за счет включения развивавшихся параллельно (а потому приобретших иные формы) элементов типологически единой кечуанской культуры. Такое первоначальное единство, в свою очередь, облегчило восприятие кусканцами чужих достижений и экспансию инкских норм. В результате раннекечуанская культура перешла на новую стадию единства, скрепившего союзы между племенами долин; впоследствии, на этапе государственного подчинения правителям Куско, она была окрещена «инкской».

Наиболее существенными характеристиками культуры кечуанских племен Центрального горного района (условно называемой «инкская») представляются следующие: 1) одинаковый тип социального устройства с кровнородственной общиной *айлью* как основой. В XV—XVI вв., на этапе сложения государства, происходит постепенный переход к соседскому типу общины; процесс этот, однако, завершился только при испанцах; 2) подчиненность сельских общин городу, который был политическим и ритуальным центром округа; при этом мелкие, зависимые поселения выглядели как бы уменьшенными его копиями: такие же храмы, административные здания (но местного значения); одинаковая планировка; жители города (центра) также в большинстве своем были земледельцами; 3) полигональная кладка в архитектуре; 4) культ воды с обязательным наличием при храме ряда ритуальных источников и «ванн»; 5) культ светил — отсюда повсеместные храмы-обсерватории (Интиуатана) с одинаковым устройством в каждом городе, а иногда и в меньших поселениях («Писак», стр. 59; «Мачу Пикчу», стр. 330); 6) вероятно, единый язык кечуа (руна-сими), с диалектальными различиями.

Гипотеза о существовании независимых и равнозначных центров кечуанской культуры может быть подтверждена примером Мачу Пикчу. Хотя этот район был завоеван инками, судя по всему, поздно, к приходу испанцев о Мачу Пикчу в Куско не знали. Доказательству последнего В. Англес Варгас посвящает целую главу («Мачу Пикчу», стр. 160—172). Если бы комплекс Мачу Пикчу — Уайна Пикчу был построен после прихода инков (а на строительство ушел бы не один год), то вряд ли за несколько десятилетий он был бы забыт так, что ни жрецы, ни инки, ни кичукамайок и келькакамайок («историки», умевшие читать узелковое письмо кипу и идеограммы), ни простые общинники не помнили о великом городе. Более вероятным представляется местное возникновение Мачу Пикчу (не исключено, что он был оставлен жителями до распространения инкской власти на этот район и инки вообще не знали о нем).

Это положение связано и с другой смелой гипотезой автора. Со времен первооткрывателя Мачу Пикчу Х. Бингхема утвердилось мнение, что зона Мачу Пикчу соответствует области Вилькакамба, куда ушли после испанского завоевания последние инки и где остатки инкского государства просуществовали до 1572 г. Мачу Пикчу при этом объявлялся столицей последних инков, известной по испанским источникам как Старая Вилькакамба. Такой взгляд получил отражение и в советской историографии⁵. В. Англес Варгас предполагает (и убедительно доказывает), что речь идет о двух разных районах. Он специально рассматривает возможность идентификации Мачу Пикчу с поселками Вилькакамбы — Старой Вилькакамбой, Виткосом, Тампутоко — и демонстрирует несомненное различие этих поселений («Мачу Пикчу», стр. 77—160).

Автор детально анализирует данные письменных источников, скрупулезно прослеживая путь, который вел из Куско к Старой Вилькакамбе. При этом он идентифицирует ряд топонимов хроник с реально существующими в этом районе археологическими памятниками. В результате В. Англес Варгас приходит к выводу, что Старая Вилькакамба должна находиться где-то близ р. Апуримак, а не на берегу р. Урубамба, как Мачу Пикчу. Убедительно показано, что пути, ведущие в столицу последних инков, проходили в стороне от Мачу Пикчу. Это лишний раз подтверждает предположения автора, что инки не знали о существовании этого города. По его мнению, Старой Вилькакамбе должны скорее соответствовать либо руины инкского города близ дерев

⁵ Я. М. Свет, Трагедия в Вилькакамбе. 400-летие последней цитадели инков, «Латинская Америка», 1972, № 4.

ни Консебидайюк, либо остатки поселения в зоне Чокекирау, как предполагал еще А. Раймонди («Мачу Пикчу», стр. 84—91).

Помимо вышеизложенных положений, затрагивающих кардинальные проблемы инкской истории, В. Англес Варгас высказывает ряд интересных соображений по частным вопросам, связанным непосредственно с изучаемыми им памятниками. Таково, например, его предположение об использовании башен в Писаке не только как оборонительных сооружений, но и как пунктов связи для передачи голосом сообщений по всему городу («Писак», стр. 38—39).

Очень важной представляется мысль автора о том, что выделяемые кварталы Интиуатана в Писаке и в Мачу Пикчу были обсерваториями. Этот вывод базируется на повторяемости ряда элементов, планировке и деталях, характерных для обсерваторий, с одной стороны, и на сопоставлении с описанием Кориканчи — «Храма Солнца» в Куско — у Гарсиласо де ла Веги — с другой. Однако такую интерпретацию описываемых сооружений нельзя все же считать окончательно доказанной, хотя приводимые автором аргументы достаточно убедительны.

К недостаткам исследования В. Англеса Варгаса следует отнести некоторую нечеткость его хронологических представлений. Так, говоря о возрасте Мачу Пикчу, он предполагает, что период наивысшего расцвета этого города относится к инкской эпохе («Мачу Пикчу», стр. 173). Однако мы не располагаем никакими данными, свидетельствующими о его большей древности, а однородность архитектурного комплекса города скорее указывает на более или менее одновременную его застройку. Конечно, это не столько вина, сколько беда автора, потому что периодизация и хронология инкских материалов до сих пор остаются совсем неразработанными в перуанской археологии.

В ряде случаев положения, высказываемые автором, звучат несколько абстрактно. Упомянув о различиях в облике и планировке разных кварталов Писака («Писак», стр. 29—31), он утверждает, что эти различия имеют не хронологический, а функциональный характер. Но утверждать это столь категорически можно, лишь обладая точными археологическими данными. А таких данных пока нет. Столь же необоснованно предположение о том, что двухэтажный дом в Писаке служил резиденцией администратора («Писак», стр. 59—65) и безоговорочное отнесение городища Пикильякта к инкским памятникам («Писак», стр. 147).

Однако эти замечания по частным вопросам не могут умалить ценность работ В. Англеса Варгаса. Основное достоинство рецензируемых книг, на наш взгляд, в пристальном внимании автора к материальной стороне процесса развития кечуанской культуры, при оперировании исключительно конкретными, проверенными фактами. Он заранее отказывается от многочисленных идеалистических толкований истории инкского общества, объясняющих возникновение и развитие Тауантинсуйю «предопределением», «особой государственной мудростью инков» и т. п. Виктор Англес Варгас принадлежит к национальной школе перуанских историков и археологов, видящих особую важность в историческом толковании археологического материала и утверждающих идею самобытности и богатства культуры перуанских индейцев. Его книги, содержащие интересные, оригинальные положения по важнейшим проблемам инкской истории, несомненно, вносят много нового в перуанистику.

В. А. Башилов, С. Я. Серов

СПИСОК ОСНОВНЫХ ТРУДОВ

ДОКТОРА ИСТОРИЧЕСКИХ НАУК С. В. ИВАНОВА

(К 50-ЛЕТИЮ НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)

- Л. Я. Штернберг и примитивное искусство. Сб. «Памяти Л. Я. Штернберга», Л., 1930, стр. 159—172.
- «Aleut hunting headgear and its ornamentation». «Proceedings of the 23 International Congress of Americanists, September, 1928», N. Y., 1930.
- Искусство в родовом обществе. Сб. «Первобытное общество», М., 1932, стр. 216—234.
- Изучение национального изобразительного искусства в СССР. «Труды I Всесоюзного Географического съезда», Л., 1934, № 4, стр. 11—17.
- Сибирские параллели к магическим изображениям из эпохи палеолита. «Сов. этнография» (далее — СЭ), 1934, № 4, стр. 91—101.
- Орнаментика, религиозные представления и обряды, связанные с амурской лодкой. СЭ, 1935, № 4—5, стр. 62—84.
- Орнаментированные куклы у ульчей. СЭ, 1936, № 6, стр. 50—69.
- Медведь в религиозном и декоративном искусстве народностей Амура. В кн.: «Памяти В. Г. Богораза (1865—1936)». Сб. статей, М.—Л., 1937, стр. 1—45.
- Первобытные формы письма у народов Сибири. «Наука и жизнь», 1940, № 8—9, стр. 23—26.
- К вопросу об изучении стенных росписей горных таджиков. Краткие сообщения Института этнографии АН СССР (далее — КСИЭ), вып. 2, М., 1947, стр. 80—83.
- Мамонт в искусстве народов Сибири. «Сб. МАЭ», т. XI, М.—Л., 1949, стр. 133—170.
- О значении двух уникальных женских статуэток американских эскимосов. Там же, стр. 162—170.
- Развитие изобразительного искусства якутов в XVIII—XX вв. «Труды II Всесоюзного Географического съезда», Л., 1949, стр. 372—381.
- Реалистические основы искусства тунгусо-маньчжуров. КСИЭ, вып. 5, М., 1949, стр. 86—90.
- Сидячие человеческие фигурки в скульптуре алеутов. «Сб. МАЭ», т. XII, М.—Л., 1949, стр. 195—212.
- Чукотско-эскимосская гравюра на кости. СЭ, 1949, № 4, стр. 107—124.
- Происхождение бурятских онгонов с изображениями женщин. Сб. «Родовое общество», М.—Л., 1951, стр. 119—131.
- Старинное зимнее жилище ульчей. «Сб. МАЭ», т. XIII, М.—Л., 1951, стр. 60—124.
- Материалы орнамента к проблеме культурно-исторических связей хантов и манси. СЭ, 1952, № 3, стр. 85—99.
- О находках в замке на горе Муг (Керамика, плетеные и кожаные изделия, ткань). «Изв. Отделения обществ. наук АН Тадж.ССР», вып. 2, 1952, стр. 37—52.
- Орнамент народов Сибири как исторический источник. КСИЭ, вып. 15, М., 1952, стр. 8—18.
- Архитектурный орнамент народов Нижнего Амура. «Сб. МАЭ», т. XV, М.—Л., 1953, стр. 234—290.
- Материалы по изобразительному искусству народов Сибири XIX—нач. XX века. «Труды Ин-та этнографии АН СССР» (далее — ТИЭ), т. XXII, 1954, стр. 839.
- Изобразительное искусство народов Дальнего Востока. «Дальний Восток», 1955, № 6 (в соавторстве с М. А. Сергеевым), стр. 160—169.
- К вопросу о значении изображений на старинных предметах культа у народов Саяно-Алтайского нагорья. «Сб. МАЭ», т. XVI, М.—Л., 1955, стр. 165—264.
- Изобразительное искусство народов Сибири. «Сибирские огни», 1956, № 4 (в соавторстве с М. А. Сергеевым), стр. 155—158.
- Народное изобразительное искусство русских Сибири. Раздел в ст. «Историко-этнографический очерк русского населения Сибири в дореволюционный период». Народы Сибири, М.—Л., 1956, стр. 115—214.
- Негидальцы. Нанайцы. Ульчи. Удэгейцы. Орочи. Ороки. Там же (в соавторстве с М. Г. Левиным и А. В. Смоляк), стр. 776—884.
- К семантике изображений на старинных бурятских онгонах. «Сб. МАЭ», т. XVII, М.—Л., 1957, стр. 95—150.

- Некоторые вопросы первобытного искусства в освещении Г. В. Плеханова. СЭ, 1957, № 1, стр. 17—24.
- Народный орнамент как исторический источник (к методике изучения). СЭ, 1958, № 2, стр. 3—23.
- Успехи народов Севера в области изобразительных искусств. Сб. «Просвещение на Советском Крайнем Севере». Л., 1958, стр. 341—344.
- Киргизский орнамент как этногенетический источник. «Труды Киргизской археолого-этнографической экспедиции», т. III, Фрунзе, 1959, стр. 59—73.
- О некоторых традициях согдийского декоративного искусства в орнаменте таджиков и узбеков. «Материалы второго совещания археологов и этнографов Средней Азии», М.—Л., 1959, стр. 217—225.
- Religiöse Vorwürfe in der Kunst der Völker Nord-Asiens vor der Revolution. «Opuscula ethnologica memoriae Ludovici Biro Sacra», Budapest, 1959.
- Декоративно-прикладное искусство киргизского народа. «XXV Международный конгресс востоковедов. Доклады делегации СССР», М., 1960 (в соавторстве с Е. И. Маховой); на русском и англ. языках, стр. 108—117.
- Орнамент. «Историко-этнографический атлас Сибири», М.—Л., 1961, стр. 369—435.
- Современное искусство народов Сибири (Скульптура). СЭ, 1961, № 6, стр. 9—28.
- Орнамент народов Сибири как исторический источник. «Труды конференции по истории Сибири и Дальнего Востока», Новосибирск, 1961, стр. 345—350.
- Культурно-исторические связи энцев и иганасан по данным их орнамента. КСИЭ, вып. 37, М.—Л., 1962, стр. 57—66.
- Орнамент народов Сибири как исторический источник (по материалам XIX—начала XX вв.). Народы Севера и Дальнего Востока, М.—Л., 1963, 500 стр.
- Древний андронидный комплекс в современном орнаменте народов Сибири. «Труды VII Международного конгресса антропологических и этнографических наук» (далее «Труды VII МКАЭН»), т. 10, М., 1970, стр. 320—324.
- К вопросу о методике собирания и изучения произведений народного изобразительного искусства. СЭ, 1964, № 4, стр. 136—146.
- Старинные культовые изображения медведей у сахалинских айнов. «Сб. МАЭ», т. XXII, М.—Л., 1964 (в соавторстве с М. Г. Левиным), стр. 200—222.
- Siberian cultures (Очерк традиционного искусства народов Сибири). В издании «Encyclopaedia of world art», vol. XIII, N. Y., Toronto, London, 1967. Пер. с итальянского издания — «Encyclopaedia universale dell arte», Venezia — Roma, 1964.
- Художественная обработка металла. В кн.: «Народное декоративно-прикладное искусство киргизов». «Труды Киргизской археолого-этнографической экспедиции», т. V, М., 1968 (в соавторстве с М. Айтбаевым), стр. 96—122.
- Тиснение на коже. Там же, стр. 123—131.
- Скульптура народов севера Сибири XIX — первой половины XX в., Л., 1970, 296 стр.
- Старинные трубчатые игольники у народов Сибири. Сб. «Одежда народов Сибири», Л., 1970, стр. 196—207.
- Элементы военной (защитной) одежды в шаманских костюмах народов Сибири. В кн.: «Краткое содержание докладов годичной сессии Ин-та этнографии АН СССР», Л., 1970, стр. 47—48.
- Старинный якутский обряд, связанный с рождением ребенка. «Сб. МАЭ», т. XXV, Л., 1971, стр. 142—149.
- Маски народов Сибири. Альбом и вступительный текст на английском и русском языках. Л., 1975, 31 стр.+50 илл.

СОДЕРЖАНИЕ

30 лет Великой победы

Л. И. Лавров (Ленинград). В осажденном Ленинграде	3
М. Г. Рабинович, С. А. Токарев (Москва). Институт этнографии в период Великой Отечественной войны и в первые послевоенные годы	7
С. И. Брук, М. Н. Губогло (Москва). Двуязычие и сближение наций в СССР (по материалам переписи населения 1970 г.)	18
Б. В. Андрианов, Н. Н. Чебоксаров (Москва). Опыт историко-этнографического районирования некоторых регионов Африки и зарубежной Азии	33
Г. Н. Грачева (Ленинград). К методике изучения ранних представлений о человеке (на нганасанском материале)	51
Б. Н. Путилов (Ленинград). О современной фольклористике Югославии	60

Сообщения

Н. А. Брегадзе (Тбилиси). К вопросу о локализации ареала первичных очагов земледелия в Грузии	72
И. Мухиддинов (Душанбе). Традиционная ирригация памирских таджиков в XIX—начале XX века (к историко-этнографическому атласу Средней Азии и Казахстана)	77
Н. Н. Ершов (Душанбе). Собрание этнографических коллекций Института истории им. А. Дониша Академии наук Таджикской ССР	89
Э. Киуру (Петрозаводск). Отражение матрилинейного счета родства в ижорских причитаниях	103
Э. В. Шавкунов (Владивосток). Антропоморфные подвесные фигурки из бронзы и культ предков у чжурчженей	110
И. П. Ладария (Сухуми). К изучению дерматоглифики населения Западного Кавказа	121
К. Никкуль (Тапиола). Некоторые особенности оленеводства у саамов (по материалам района Суеньеля)	131

Поиски, факты, гипотезы

В. А. Вельгус (Ленинград). Александрийские фокусники в древнем Китае (из истории культурных связей народов Средиземноморья и Восточной Азии)	138
--	-----

Научная жизнь

П. Н. Старостин, Р. К. Уразманова (Казань). Первое Поволжское археолого-этнографическое совещание	145
М. В. Крюков (Москва). Симпозиум по этнической истории китайцев	148
Коротко об экспедициях	151

Критика и библиография

Критические статьи и обзоры

Ю. И. Семенов (Москва). Марксизм и первобытность (о книге Э. Террея «Марксизм и примитивные общества»)	154
--	-----

Общая этнография

Л. Е. Куббель (Москва). В. Б. Мириманов. Первобытное и традиционное искусство	163
А. Г. Козинцев (Ленинград). A. Basu, A. K. Ghosh, S. K. Biswas, R. Ghosh (eds). Physical anthropology and its extending horizons	165

Народы СССР

- Н. В. Юхнева (Ленинград). *Л. Н. Семенова. Рабочие Петербурга в первой половине XVIII века* 166
- Н. В. Кочешков (Владивосток). *Д. В. Сычев. Из истории калмыцкого костюма* 170
- А. М. Решётов (Ленинград). *Маски народов Сибири* 172
- И. С. Вдовин (Ленинград). «North/Nord». *A special issue on the Soviet North. March/April, 1973 (Un numéro spécial sur le Nord Soviétique. Mars/Avril, 1973)* 173

Народы зарубежной Европы

- В. Е. Гусев (Ленинград). *Slovenské národné povstanie v ľudovej tvorbe. Kolektívnu prácu pripravil Národopisný Ústav Slovenskej Akadémie Vied* . . . 176

Народы зарубежной Азии

- Л. Л. Викторова (Ленинград). *Культура народов зарубежной Азии* . . . 178
- Е. В. Ревуненкова (Ленинград). *А. Д. Бурман. Бирманская драма середины XIX века* 180

Народы Америки

- Ю. Е. Березкин (Ленинград). *S. Varese. The forest Indians in the present political situation of Peru* 182
- В. А. Башилов, С. Я. Серов (Москва). *Новые книги по истории культуры инков* 184

Personalia

- Список основных трудов доктора исторических наук С. В. Иванова (к 50-летию научной деятельности) 188

На первой странице обложки: Фрагмент шкатулки «Салют Победы» (Резьба по кости). Художник М. Д. Раков, 1947 г. Музей народного искусства

SOMMAIRE

30 Années de la grande victoire

- L. I. Lavrov (Léningrad). *A Léningrad assiégé* 3
- M. G. Rabinovitch, S. A. Tokariev (Moscou). *Institut d'Ethnographie à l'époque de la Grande Guerre Patriotique et aux premières années d'après-guerre* . . . 7
- S. I. Brouk, M. N. Gouboglo (Moscou). *Le bilinguisme et le rapprochement des nationalités en U. R. S. S. (d'après les matériaux du recensement de 1970)* . . . 18
- B. V. Andrianov, N. N. Tchéboksarov (Moscou). *Essai d'une régionalisation historico-ethnographique de quelques régions de l'Afrique et de l'Asie hors l'U. R. S. S.* 33
- G. N. Gratchiova (Léningrad). *Contribution à la méthode d'étude des idées primaires de l'Homme (d'après le matériel des Nganassan)* 51
- B. N. Poutilov (Léningrad). *Sur les études folkloriques contemporaines en Yougoslavie* 60

Communications

- N. A. Brégradzé (Tbilissi). *Contribution à une localisation de l'aréal géographique des foyers primaires de l'agriculture en Géorgie* 72
- I. Moukhiddinov (Douchanbé). *Irrigation traditionnelle des Tadjik de Pamir aux XIXe—début XXe siècles (pour un Atlas historico-ethnographique de l'Asie Centrale et du Kazakhstan)* 77
- N. N. Yerchov (Douchanbé). *Collections ethnographiques de l'Institut d'Histoire Ahmad Donich, Académie des Sciences de la R.S.S. de Tadjik* 89
- E. Kiuru (Pétrozavodsk). *Reffets du compte matrilineaire de la parenté dans les lamentations des Ijora* 103
- E. V. Chavkounov (Vladivostok). *Figurations anthropomorphes en bronze suspendues et le culte des ancêtres chez les Chourchjen* 110
- I. P. Ladariya (Soukhoumi). *Contribution à l'étude de la dermatoglyphie des populations du Caucase Occidental* 121
- K. Nickul (Tapiola). *Quelques traits spécifiques de l'élevage de renne chez les Saami (d'après les matériaux du Suenjel)* 131
- 191